

ГЛИНЯНЫЙ ПАПУАС

ГЕННАДИЙ ГОР

Научная
Фантастика

ГЕННАДИЙ ГОР

Глиняный
папуас



ГЕННАДИЙ ГОР

ГИНЯННЫЙ



папуас

Научно-фантастические
повести и рассказы

Издательство «Знание»
Москва 1966

ГЕННАДИЙ САМОЙЛОВИЧ ГОР опубликовал свой первый рассказ еще в 1925 г., в комсомольском журнале «Юный пролетарий».

В тридцатых годах появились его книги о народах Крайнего Севера: «Ланжеро», «Песи меня, река», «Большие пихтовые леса».

В послевоенные годы писателя привлекла большая и сложная тема: он стал писать о научном познании мира, о жизни и творчестве советских ученых. Роман «Университетская набережная», повести «Однофамилец» и «Ошибка профессора Орочева» раскрывают мир научных интересов, ставят моральные и интеллектуальные проблемы, характерные для нашей эпохи. Свою первую научно-фантастическую повесть «Докушливый собеседник» Геннадий Гор опубликовал в 1961 г. Она переведена на многие иностранные языки и вызвала отклики в советской и зарубежной печати. Затем вышли в свет несколько научно-фантастических повестей и рассказов на темы, связанные не только с освоением космоса, с научно-технической революцией, но и с революцией в сознании современного человека, вызванной социальным и научным прогрессом.

В предлагаемой вниманию читателей книге научно-фантастических повестей и рассказов автор ставит перед собой и новые задачи. Его интересуют не только наука и техника, но в первую очередь эмоциональный внутренний мир современного человека, держащего экзамен на гражданина будущего. В рассказах и повестях этого сборника ставятся философские проблемы, актуальные для нашего времени, когда человек быстро изменяет мир, изменяет и самого себя.



МАЛЬЧИК

1

Герман Иванович принес в класс стопку наших тетрадей. Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим, усталым голосом:
— Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания.

И он начал читать. Читал он здорово, и мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и

необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся. Для него все началось там, в пути, в беспрерывном движении, и он сам тоже там начался. Начался? Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как, в сущности, нет и конца.

Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем за десять лет не могли свыкнуться взрослые — его мать и отец, и спутники, было для него родным и привычным, как для нас школьный двор: космический корабль; повторяющий в миниатюре оставленную планету.

Где-то в бесконечности вселенной остались густые, пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было?

Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю-музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь не похожего на жизнь корабля, но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, все равно не дотянуться было до лесов и рек, домов и дорог — так далеко все это было.

Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экран и подтверждали знания: ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле, он еще и учился.

С мальчиком занимались все — и родители и остальные взрослые, в том числе всегда занятый, всегда чем-то озабоченный командир. Приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом. Но мальчику порой казалось, что можно отдать все знания за один только час в лесу на берегу стремительной речки. О береге и о лесе рассказывала музыка. Музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть своей тоски. Он имел на то право, он был музыкант, мечтатель, его грусть не мешала, а даже помогла жить и работать спутникам.

Мальчик учился. У него не было сверстников, он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом — забавной игрушкой,

придуманной специально для него, но робот был слишком серьезен и деловит. И однообразен.

Иногда мальчик принимался бегать по кораблю (он мог бегать, потому что на башмаках у него были гравитационные подошвы), ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или «пятнашки», и тогда робот обеспокоенно ковылял за ним следом, растопырив руки,— он боялся, бедняга, что мальчик невзначай налетит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется.

Мальчик спрашивал себя: какие они, дети? Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика.

Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и внимательных взрослых и у всезнающих машин, но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые. Ни машины. Ни экран. Ни даже музыка. Дети были слишком далеко, там же, где реки, и деревья, и отраженные в воде облака. Взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто не хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло не на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну.

Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром, и в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет.

Вырастет? Это слово и пугало и радовало мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос, все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как приметку неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. Да, мальчик менялся, и ему еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать взрослым.

Куда двигался корабль, зачем? Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы

выяснить, есть ли там разумные существа. И вот часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в этом сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть, потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит. У отца было нервное, дергающееся от тика лицо. Но и лицо его, несмотря на тик, нравилось мальчику.

В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец, в отличие от многих, не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорей достичь планеты в окрестностях Большой Звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геолог, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле, где он никак не мог применить свои знания и свой труд. Уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика, по специальности знаток лесов и деревьев, тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с незнакомыми деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали название и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ.

Было просто удивительно, что почти все уже названо и, чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его называли «вакуум», «пустота». Звучно называли! И от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной.

Да, мальчик жил среди всего названного. Но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все называли его просто мальчиком, даже мать и отец.

— Мальчик! — окликали его спутники.

— Мальчик! — обращался к нему робот-игрушка.

Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов, робот не был хозяином своих слов, слова произносились роботом только согласно программе.

— Мальчик, — говорили взрослые, — ну, как ты провел день?

И их лица, он не мог этого не заметить, светлели и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает? Может, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала.

Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам. А мальчик оставался там, где его настигал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно чем-нибудь интересовался и, в сущности, был все время чем-нибудь занят.

— Мальчик! — окликали его спутники.

Вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые не умели ни говорить, ни думать.

И мальчик отзывался.

2

В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь.

— А дальше? — спросил кто-то из учеников.

— Дальше, — ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения: обыкновенным старым, уставшим учителем, — дальше нет ничего и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца.

Учитель снова стал самим собой, а ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика.

Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов.

И все вспомнили о Громе, хотя во время чтения все о нем забыли. Громова и все остальное заслонил мальчик, голосом Германа Ивановича захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами сидел Громов, делавший вид, что он не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было настороженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но, честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу.

Зачем он это сделал? Я не знал, не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты.

И вот, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича. Громов сидел в своем углу у окна, но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас, со своим необыкновенным мальчиком.

Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сын известного ученого-археолога, и это все знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал крупное открытие, нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось. И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось: и пришельцы и даже снежный человек. А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко с ним расставаться.

Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громе мы старались

не говорить на археологические темы, понимая, что Громов не виноват. И отец Громова тоже был не виноват, что какой-то нетерпеливый журналист поторопился развозить об этих спорных предметах, вместо того чтобы благо-разумно обождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение.

Громов, конечно, страдал, держался он отчужденно, домой всегда возвращался один и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня и от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было просто неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло — это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине.

Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный, не знакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, а на стене висел деревянный божок, тарасивший на всех светлые жестокие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана — вулканического стекла.

В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже предметы, вызвавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и



не стали больше писать об этих находках. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолюбие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это неправда, я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного: чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин и без того слишком много на свете.

А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело (спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами), Громов ответил:

— У нас, понимаете, ремонт.

— А долго он будет продолжаться, ваш ремонт?

Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне и даже тихоне Власову очень не понравился его ответ.

— Долго,— ответил Громов.— Ремонт почти капитальный.

Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего.

Я подумал, что все это из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение.

— Это, наверное, не Громов,— сказал он,— а его отец. В квартире таятся загадочные ценности.

— А мы что, украдем эти ценности?

— Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина. Он работает. И, наверное, есть еще какие-нибудь веские причины.

Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека. Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца.

Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз речь идет о предметах, вызвавших сомнение специалистов. Мне даже стала нравиться эта мысль.

Короче говоря, я тоже почти стал на точку зрения Власова, забыл о когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоняли мяч, я спросил Громова:

— Ну, как ремонт?

И Громов ответил:

— Еще продолжается.

В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прошло с тех пор, как я последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога. И мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать.

Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники любили поговорить об истине. И один из них, Мишка Дровделов, часто повторял где-то вычитанные слова:

— Платон,— говорил он, подходя ко мне или к Власову с важным видом.— Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.

Это у Дровделова неплохо получалось. Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела. Если бы он так дорожил истиной, то не получал бы двойки.

Но я истиной дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились с ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства.

Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему рассказу о мальчике.

Класс сидел тихо под впечатлением рассказа. А Громов молчал. И тишина была какая-то необычная. Она томила нас, как ожидание несбывшегося. Ведь рассказ о мальчике оборвался на самом интересном месте...

Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дровделов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос:

— Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!

И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дровделов. И действительно, конца у рассказа не было, но продолжение мне все-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.

В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарово, в пионерский лагерь Академии наук, а я в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться, Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме Дроведлова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью во флигеле для обслуживающего персонала, но встречались мы каждый день.

В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил:

— Платон, ты мне друг, но истина...

Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил:

— Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу!

Он, видно, забыл, какое впечатление произвели его слова на Громова и на всех нас после чтения рассказа.

Дроведлов очень обиделся, у него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне:

— Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу. А он был мыслитель. А во-вторых... Отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере.

— На этот раз ладно, — согласился я, — отпущу. Только чтоб об истине я больше ничего не слышал.

И он действительно образумился, перестал говорить об истине и о Платоне. Но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы всякий раз, когда с ней встречался. На ее лице было написано все: и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал воротник у ее сына. Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, полное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств.

Нет, Дроведлов больше уже не упоминал об истине. И на том спасибо. Я давно заметил, что когда не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит? Не знаю. Но хватит о Дро-

воделове. В лагере он всем надоел, вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне в роли болельщика. Вместо того, чтобы упрекать в этом себя, он сразу же обвинил меня.

— А еще одноклассник,— нудил он,— разве это товарищески?

Эти слова почему-то растрогали меня, и я стал просить ребят не выгонять его на мусор.

Не хочется мне рассказывать о Дроводелове, честное слово, не хочется, не очень-то это интересный человек. Но так получалось, что без него никак нельзя обойтись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил:

— Я вчера с матерью в город ездил.

— Ну, ездил и что из того?

— Новостишки есть!

— Какие?

— Громов переводится в другую школу.

— Это почему?

— Квартиру им новую дают, уже ордер выписали. Не будет же он с Черной Речки ездить на Васильевский остров.

— Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса,— сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов.

Дроводелов посмотрел на меня, и вдруг его лицо стало похоже на лицо его матери.

— По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире?

— Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом.

— Выходит, ты мне не веришь?

— Не верю.

— Разве тебе не известно, что я всегда говорю одну только правду?

Дроводелов и в самом деле считал себя правдолюбом. В позапрошлом году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать самый крупный в Ленинграде инженер и работает на Металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях. Мы узнали об этом, но, что-

бы не конфузить Дроводелова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А тихоня Власов даже высказал предположение, будто мать Дроводелова когда-то работала инженером, но дисквалифицировалась и переменяла профессию.

Но хватит о матери Дроводелова! Довольно!

Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность.

Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Поседел Громов сразу, как появился на свет, еще до того, как научился переживать и огорчаться. Седая прядка и очки в зеленоватой оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят назвал его Академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало: ни грязь, ни пыль, ни завистливые и недобрые слова. Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представлял себе мальчика с седой прядкой над левым ухом, как у Громова, хотя о прядке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание: когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал знаменитую поэму Пушкина, я сразу догадался, на кого похож Евгений Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе «Север». Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете и он не знает, чем бы заняться.

Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прядке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов. Но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал, и совершенно точно, какой

мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра. Этого не знал даже сам Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя, за исключением Германа Ивановича, эти знания не очень-то ценили. Глупо было бы думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и программу. Просто у них был житейский опыт, и они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу. Вряд ли ему или нам, или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром.

Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем некстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления вытаращили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезиозавр.

На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу, и он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал:

— Это ничего не прибавляет.

И затем добавил, подумав:

— И не убавляет.

Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра.

Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна. И однажды на уроке химии он сказал, что лед вовсе не твердое тело, как думают многие.

— А что же он такое? — заинтересовались мы.

— Твердыми телами называются те вещества, частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку.

Я вспомнил про стекло, вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом, и задал Громову коварный вопрос.

— А стекло, — спросил я, — твердое тело или нет?

— Нет, — ответил Громов. — Стекло — это переохлажденная жидкость высокой вязкости.

Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре. Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно.

Первые ученики тоже много знали, они посещали разные кружки при Дворце пионеров и следили за новинками. Но, употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли и ничего от них не убавляли. Громов — другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я этим хочу сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как он становился совершенно другим. Он делался много умнее и больше обыкновенного ученика, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это.

Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя.

Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока. Вот когда он переедет на Черную Речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше. Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком, и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом по доске, или читает новый номер «Знания — силы», трудно сказать о нем что-либо интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную Речку, и Дровделов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостешкой?

4

Когда начались занятия и я пришел в класс, я не очень-то рассчитывал увидеть Громова. Но он спокойненько сидел на своем месте у окна и, чтобы не терять времени, читал какую-то книжку.

Я поздоровался с ним, а потом, словно потеряв над собой контроль, вдруг спросил:

— Ну, а как мальчик? Будет о нем продолжение?

Я думал, что Громов пропустит мой вопрос мимо ушей, но он ответил и, кажется, охотно:

— Тетрадка у Германа Ивановича. Летом мне удалось найти кое-какой материал о нем.

— Но он же придуманный, этот мальчик, ты же писал фантазию или там сказку...

Громов посмотрел на меня и ответил вопросом:

— Ты в этом уверен?

— А ты? Ты разве не уверен?

Он усмехнулся и произнес слова, истинный смысл которых я, сколько ни старался, никак не мог понять.

— Дело не в том, уверен кто-то или не уверен. Все гораздо сложнее.

Я хотел переспросить, но не успел. Появился Дроводелов и сел рядом. А при Дроводелове мне не хотелось говорить о мальчике. Дроводелов обязательно бы вмешался и стал бы расспрашивать, он всегда любил совать нос в чужие дела.

— Есть одна новостихка, — тихо сказал Дроводелов, наклоняясь ко мне, чтобы не слышал Громов. — После уроков Герман Иванович будет читать продолжение про мальчика. Муть, правда? Выдумка. Неужели придется слушать эту муть?

Он говорил очень тихо, но я все-таки боялся, как бы не услышал Громов. Он в это время уже снова читал свою книжку.

Дроводелов не ошибся. Уроки кончились, и Герман Иванович прочел продолжение рассказа. В этот раз он читал намного хуже.

Космический корабль продолжал свой путь. Мальчик успешно сдал экзамены и проводил каникулы тут же, на корабле. Летние каникулы? Или зимние? Это не существенно. В космическом корабле не было ни лета, ни зимы. Кто экзаменовал мальчика? Все, кому не лень, начиная от командира корабля и кончая поваром-фармацевтом. А самыми придирчивыми и строгими экзаменаторами были памятьные машины. Одна машина задала мальчику каверзный вопрос.

— Скажи, мальчик, — спросила она красивым мужским голосом, — в каком году изобрели колесо?

Мальчик смутился. Он мысленно перебрал все даты значительных открытий и изобретений, но про колесо не вспомнил ничего.

Машина долго ждала ответа, а потом сказала, почему-то переменяя голос на женский:

— Не трудись. Этого никто не знает, даже я. В ту эпоху жители нашей планеты не имели представления о датах.

Машине, наверное, не следовало задавать мальчику вопрос, на который не существует ответа. И при этом еще менять свой голос. Ведь мальчик и без того волновался и переживал. На все остальные вопросы он отвечал без запинки.

Наступили каникулы, и мальчик сразу забыл о каверзном вопросе. Он был счастливее всех на корабле, потому что он здесь родился и обо всем остальном знал только от других. В отличие от других на далекой планете у него не было знакомой или знакомого, по ком он мог бы скучать. Все его знакомые были здесь, рядом с ним, на корабле. Здесь было не только его настоящее, но и прошлое, а что касается будущего, то о нем приходилось только гадать. Будущее зависело от теории вероятностей и от той неизвестной планеты, на которую они летели. Об этой планете много говорили на корабле. Каждый, по-видимому, представлял ее по своему вкусу. Одни считали, что там живут высокоразумные и цивилизованные существа, другие полагали, будто для разумных существ там еще не наступил черед и обитают там пока только ящеры. У мальчика тоже была своя гипотеза. Он был уверен, что планета населена детьми. В глубине души он понимал, что это невозможно. Но ему очень хотелось увидеть детей еще до того, как он станет взрослым и состарится. Мальчик никому не высказывал своей гипотезы, он боялся холодной и беспощадной логики взрослых, которые докажут ему, как доказывают теорему, что его мечта несбыточна.

На корабле за много лет непрерывного, безостановочного движения создался совсем особый ритм жизни. И этот ритм облегчал существование всем членам экспедиции и команде, так что они почти не чувствовали, что лишь стены корабля отделяют их от холодной и страшной пустоты без дна.

Для этого ритма, как узнал мальчик, существовало

свое название. Этот ритм назывался обыденностью. Сколько ни вдумывался мальчик, он никак не мог понять истинный смысл этого слова, хотя другие слова и названия понимал сразу и без труда. Он чувствовал, что это слово скрывало в себе нечто необычайно важное и даже таинственное. Может быть, взрослые сразу сговорились между собой, едва сели на корабль, совсем не думая о бездонной пустоте, а потом возник этот ритм, который отвлек их от тревожных дум, как отвлекает сон или работа.

На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.

Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.

Философ ласково улыбнулся мальчику.

— Обыденность, — ответил он, — это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежды, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз...

Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не со взрослым, а с мальчиком.

Он улыбнулся еще раз и ушел. Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.

Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изобретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории субмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли связь с окружающим миром, и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом.

Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина. Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что, хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом,

все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносилась уже не за пределы корабля в просторы вселенной, а в бесконечное малое. И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.

В свободные от исследований часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход. Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал — и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышами, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.

Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.

Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это цела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.

И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода цела удивительную песню.

И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ... Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.

А звуки лились и лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.

Потом наступила тишина. Молчали оба — и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.

— Расскажи, пожалуйста, — попросил он музыканта.

— О чем?

— Все о том же, — сказал тихо мальчик.

И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хороший музыкант, но рассказчик неважный, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.

Он родился в лесу под горой, на вершине которой было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.

Но кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и с озером, которое было на самой верхушке возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на верхушке. Жизнь отобрала у будущего музыканта эту гору и это озеро. Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретений, но и утрат.

— Что же ты приобрел? — спросил мальчик.

— Я приобрел опыт, — ответил музыкант.

— Но ведь ты за него отдал гору с озером.

— Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, — сказал задумчиво композитор.

— Когда?

— Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка...

Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек. Но сейчас он стал похож на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно... Годы уходят, и если даже музыканту удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.

Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:

— Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.

Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба — и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. самого главного он не сказал, и это хорошо. Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не попра-

вить — композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.

На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распорядившийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.

Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.

Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:

— Откуда ты взялся, мальчик?

Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти у машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.

Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной машиной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другое, не такое, как в памяти информационных приборов. Машины помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.

Странно, что именно о старике мальчик вспомнил в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше, о бездне, о корабле и о мальчике.

— Пока все, — сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. — Будем ждать продолжения.

Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, лю-

бывшие задавать вопросы. Только Дроводелов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал:

— Муть. Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на верхушке горы? Зачем оно там? К чему?

Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.

5

Конечно, Дроводелов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике — муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие, впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно — неизвестно. Выходило, что кое в чем Дроводелов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дроводелове. Тем более, что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в Лугу.

Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:

— Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.

К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.

Громов ответил:

— Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?

— Я родился на Васильевском острове в больнице имени Отто.

— А как ты думаешь, — спросил Громов, — есть какая-нибудь разница между больницей имени Отто и той точкой пространства, где родился мальчик?

Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на нас всех свысока.

Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того, как перестали писать, Громов немножко свик. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка, и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было.

Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дровделову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:

— Тебе что, мешала эта трубка?

— Нет, помогала, — сказал он.

— А сколько людей из-за тебя потеряли время?

— Мне на это наплевать, — сказал он, — время для того и существует, чтобы его теряли.

Возвратившись из Луги, куда он ездил с матерью, Дровделов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчике нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить так много лет, летя неизвестно куда.

И ему отвечали:

— Как гипотеза это возможно.

— Хорошо, это я еще могу допустить, — соглашался он, — но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?

И мы отвечали:

— Конечно, можно обойтись и без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.

— Отлично, — не успокаивался Дровделов. — Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находился в пути много лет.

— Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем...

— Нет, давайте подсчитаем.

И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дровделову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.

Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль — фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль, с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?

О нуль-пространстве у нас были большие споры. Никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.

Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дровделов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь — не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли; соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке вселенной.

Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, полё-пси, физическая сущность которого еще не известна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально дихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдель-

ную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассовав по карманам, и, щурясь близорукими глазами, рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про автоматическую родовую память птиц, и про разумных животных дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых — пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.

Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнять свои знания.

Однажды я спросил Староверцева:

— А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?

— Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.

— Это почему же? — спросил я.

— Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.

Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытиях Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда наука решит спорный вопрос.

6

Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную Речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку или оказалась слишком неопкладистой комиссия и не захотела принять дом, обнаружив трещину на потолке и забраковав заодно и покраску. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.

Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном внизу улица, и деревья, и люди на тротуарах. А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, и ест сливы, и вы-

плевывает косточки прямо из окна на тротуар. И, глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.

И, глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?), и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно — прекрасная вещь, стены словно и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.

Староверцева немножко смутил мой вопрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.

— Почему? — поинтересовался я.

— Потому что окно — это изобретение далеких эпох, — ответил он. — А я заночу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.

— А разве в будущем не будет окон?

— Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок вселенной. Вот какие, наверное, будут окна.

Громов прислушался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.

Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громову, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там

ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память.

В памяти ли тут было дело или в чем-то другом — не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с атомом, с дном океана, с интеллектом муравья или пчел, с самим Наполеоном или Аристотелем. И Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, Луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.

Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не высказывал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:

— Сколько же миллионов лет он существует?

У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Короче говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.

Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить

информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим. А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там; эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?

Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую мои мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании.

— Ты мог этим заняться дома или в библиотеке,— сказал я.

— Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.

— Согласен с тобой,— сказал я,— но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть минутку?

— Я очень ценю свое время.

— Ну и цени,— сказал я.— Это твое дело.

— Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.

— Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ценишь свое время...

— Для Дроводелова? Нет,— ответил рассеянно Староверцев.— Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес в класс...

— Опять телефонную трубку?

— Нет, лисий хвост. Говорит, в Зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином...

— И это все новости? — спросил я.

Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол.

— Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!

— Почему же презираешь? За что?

— Презираю! Новости — это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано.

Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.

Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про Собор Парижской богородицы, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, а в третьей — я не поверил своим глазам — про информационную копию мальчика.

Первый ученик Дорофеев оказался прав.

В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времён юрского периода.

Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка — слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.

Голоса спорили, приводя сотни доводов «за» и «против». Потом один голос стал побеждать, тот голос, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.

Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.

«Предположим, — говорил он, обращаясь ко всем и к каждому, — предположим, что существование копии мальчика не известно, и обозначим ее через $икс$. Тогда спросим себя, зачем игрек, то есть Староверцев, поспешил

заполнить карточку, которую столько времени хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев...»

Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.

Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.

— Сегодня понедельник, — сказала мать, — газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку.

7

Я набрал номер телефона и, услышав густой и низкий мужской голос, сказал:

— Мне нужно Староверцева.

— Староверцев слушает вас, — ответил голос.

От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.

— Староверцев слушает вас, — раздраженно повторил голос.

— Мне не вас. А вашего сына.

— Его вчера увезли в больницу, — ответил голос. — Приступ аппендицита.

Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.

Все на свете сговорились, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.

Потом пришел врач — старая обиженная женщина и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, боясь потерять время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть

рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, и ушла.

Два дня... Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.

Мне захотелось узнать побольше об юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне «Палеонтологию позвоночных».

И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние ноги с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.

И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.

И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой.

Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.

Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.

Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дроведова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.

Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.

Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:

— Ну и что? Что тебя тут удивило?

— Как что? — ответил я. — Разве с копией мальчика подтвердилось?

— Подтвердилось.

— Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?

— Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось сослаться на частное лицо. А я — частное лицо.

Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.

Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого ворюшки произошли все млекопитающие, а значит, и люди, меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.

Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.

При одной мысли о том, что копия мальчика существует и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачаха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.

Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сяжу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.

Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но

возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты, сколько мальчик съел, выпил и выдышал, находясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.

Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал.

Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится.

Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие и в том числе даже я сам.

Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собой. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.

Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.

— Кто там? — спросил я.

— Я, — ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача.

— Мы ведь больше не вызывали, — сказал я ей. — Я выздоровел.

— Я шла не к вам, а на четвертый этаж. По срочному вызову к Новотеловым.

— Ладно, — сказал я, — немножко потерпите. Я сейчас поднимусь к себе, и мы вызовем ремонтника.

И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчишке, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я,

моя мать и все жильцы и их знакомые, но стоит туда войти врачу, как лифт принимается за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятности, и о теории игр. И потом снова вспомнил про мальчика.

8

Дроводелову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громова с этой позорной бумажкой в руке. А Дроводелов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дроводелов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову.

— А нельзя ли,— спросил я,— повидаться с кошкой мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос.

Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из того контекста, который протекал в моей душе.

— А что это за вопрос? — спросил Громов спокойно и как бы даже безучастно.

И я рассказал о динозавре, и его передних конечностях с хватательной функцией, и о млекопитающих, которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их происхождение с этим сомнительным животным.

— И что же,— спросил Громов,— ты хочешь задать этот вопрос кошке мальчика?

— Хочу,— ответил я.

— Тогда тебе придется немножко обождать.

— Почему?

— Потому что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже давно бьются над тем, чтобы дешифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик.

Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок. Я ждал перемены, а урок тянулся и тянулся... Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова:

— А нельзя ли все-таки с ним повидаться?

— С кем?

— С кошкой.

— Это невозможно. Она находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории.

— А ты сам ее видел?

— Разреши оставить твой вопрос без ответа.

Я обиделся — как в тот раз, когда он намекнул насчет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие.

По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил:

— Что же ты не заходишь?

— Но у вас в квартире ремонт...

— Ремонт давно кончился. Заходи хотя бы завтра вечером. Я буду дома.

Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно, никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает.

Раскрыв классный журнал, она вызвала первую попавшуюся фамилию:

— Громов!

Громов встал, и она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем.

Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний.

А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может, и на всем Васильевском острове. И казалось нам, отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху, отвечает сама древняя эпоха, все факты и события, сами, не очень громким размышляющим голосом Громова.

И я подумал, что, наверное, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык.

Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорило ее лицо.

Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию.

— Молниев? — обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дроводелов. Такой напряженной была эта минута.

— Нет, я не Молниев, а Громов, — спокойно сказал Громов.

— Благодарю, — сказала учительница. Она почему-то

сказала это очень тихо, так тихо, что слышали не все.

А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вошла в класс. По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, с которым учителю легче продолжать урок. Спрашивать она больше никого не стала. А стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось.

Рассказывала она о далеком прошлом. Но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов. В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было никакого дела до нас. И я подумал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как в учебнике, и даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок, чтобы мы могли его лучше усвоить.

Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал. А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверное, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, евшью сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни этого окна, ни тротуара с прохожими, ни этой старухи, евщей то вишни, то яблоки, а то щелкавшей утюгом орехи на подоконнике. И оттого, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более странным, и неудобным, и не совсем убедительным, таким, какое оно было в рассказе учительницы.

9

Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящичком для газет и писем.

Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома?

Я еще раз звоню. Открывает сам Громов, не отец, конечно, а сын.

— Проходи,— говорит он и ведет меня в переднюю.

— Я у вас давно не был,— говорю я.— А родители дома?

— Мать дома, отец в институте. А почему это тебя так интересует?

— Да нет, я это так просто. А божок с обсидиановыми глазами все еще висит?

— Висит. Сейчас ты его увидишь, вот вешай пальто сюда. Староверцева видел?

— Откуда? У него аппендицит на днях вырезали.

— Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже поправляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник... А ты что остановился? Проходи.

Мы пошли в бывшую детскую, где жил Громов. Прошли через столовую, и я увидел прозрачные глаза деревянного божка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками.

— Ну, а что за вопросник? — спросил я.

— Чудак он, этот Староверцев. Задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно, пока он еще не ходит в школу.

— И ты ответишь?

Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Тогда я спросил:

— У тебя есть продолжение про мальчика?

— Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что?

— Почитай.

— Нет,— сказал Громов,— не хочется. Извини, настроения нет. И потом я не люблю читать вслух.

— Да нет, почитай! — стал просить я.— Почитай, пожалуйста...

Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а Дроводелов, но я все-таки продолжал канючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дешифруют его код. Ведь это будет не скоро.

— Почитай, что тебе стоит, ну, почитай...

— Нет,— сказал решительно Громов.— Читать я не буду. А если хочешь, включу проигрыватель, и мы послушаем мелодию, которую сочинил композитор, который... У отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому...

Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку, а потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор

за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на Земле.

Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это билась где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечьи билось нечеловеческое сердце музыканта, который вопреки законам времени и пространства сейчас, казалось, был рядом с нами.

Звуки лились, объединяя необъединимое, они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас.

Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось.

Мальчиком называли его на корабле. И он тоже так называл себя.

И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал.

Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать:

— Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией?

— Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил. Член Союза композиторов. По моей просьбе.

Я глядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова, и он спросил:

— А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?

— Хотелось бы, — ответил я тихо.

— Но музыка же хорошая. Она тебе понравилась!

— Да. Но она понравилась бы мне больше, если бы ее сочинил тот и тогда...

— Когда еще не было разума и человеческого уха? — спросил Громов.

— Да.

— А ты представляешь себе, какой была тогда Земля?

— Раньше не представлял. А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. А ты представляешь?

— Зачем мне представлять? — сказал тихо Громов.—
Я не только представляю, но и знаю.

— Откуда?

— Разреши мне не отвечать на твой вопрос.

10

И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос.

Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше канючить, выпрашивать, подлизываться.

Но, наверное, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истину. Какой-нибудь исследователь и крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался.

А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь.

На другой день в классе случилось неприятное дело. Не знаю, почему я назвал это дело неприятным. Впрочем, пускай. Вот что случилось.

Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло. Того ничем нельзя было удивить.

Этот новый задал Громову вопрос. И Громов, понимает-ся, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде, ни в кино, ни в театре. Казалось, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все: восторг и ужас, недоумение и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов.

Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас.

Минут пять прошло, а он все ходит и ходит.

Потом он подошел к Громову.

Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь.

Речь шла о животных, вымерших миллионы лет назад. И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко,

которое ему ни в коем случае не следовало произносить, если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал:

— Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню...

И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать — на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это выражение: «я помню»... Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить.

Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова. И я крикнул:

— Да он просто оговорился!

Учитель ухватился за мои слова, как хватаются за соломинку. И ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился.

Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения.

Но тут выскочил Дровделов. Лицо его ухмылялось.

— Платон! — крикнул он на весь класс. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!

11

Я очень сердился на Дровделова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата.

А новый преподаватель заболел. Подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из куйбышевской больницы прислал Громову письмо. Содержание письма никому в классе было не известно, даже Дровделову. Но конверт видел на столе у Громова Староверцев. И по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову.

Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине.

А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить.

Прошел слух, что он переезжает, и не на Черную Речку, а в академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его отца выбрали членом-корреспондентом в Сибирский филиал академии.

А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, ехать надо. Так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в члены-корреспонденты, но не выбрали.

Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко, и мне так и не удастся ничего узнать о мальчишке, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе и ждал, когда отец сдаст дела.

Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно и время от времени бросал свой взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие.

Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно. А за окном была улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике.

Но учитель видел там другое, об этом говорили его глаза. Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней Земли, Земли еще до человека и до млекопитающих, о которой рассказывал тогда Громов.

Когда я возвращался домой, позади меня застучали каблуки, и я догадался, что кто-то меня догоняет. Я оглянулся. Это был новый учитель.

Он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом. Мы оба молчали. Потом учитель спросил:

— Что вы думаете о Громове?

— Громов пересезжает в Новосибирск,— сказал я.— Он будет жить в академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит.

— А вы думаете, ему нужна эта школа?

— Туда все стремятся попасть,— ответил я,— но не всех принимают. Только талантливых. Уж кого-кого, а Громова примут сразу.

— Я тоже не сомневаюсь, что его примут,— сказал учитель.— Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает.

— Да,— согласился я.— Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика.

Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня:

— А откуда он все это знает?

— Очень просто,— ответил я,— у его отца хорошая библиотека.

— Вы думаете? — сказал учитель. По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж он много хочет.

Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал:

— Всего хорошего.

И свернул на Пятую линию.

Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал: а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания.

Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась «Хочу все знать». Название мне понравилось, хотя и показалось немножко неточным. Разве можно знать все? Нет, все, наверное, знать нельзя. А так в общем книжка была ничего. Познавательная. Вроде тех карточек, которые заполнял Староверцев.

Прочитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему, мне стало вдруг хорошо, хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, давно не отремонтированном доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской, на которой нарисован вкусный крендель, и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато спитом костюме в витрине, и телефонную будку, ту самую, где Дровделов отрезал трубку. Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начнется праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой

взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радость и уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир, мир, полный неожиданностей и тайн. И я стоял у окна и думал, какой из этих миров лучше: этот, с булочной и пошивочной мастерской и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона-автомата летают метеориты?

И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишен выбора. За него все выбрала судьба. Он родился на корабле в пути. А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а нечто, именуемое вакуумом.

Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с делым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто. И ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей.

Я стоял, все не решаясь поднять палец к кнопке звонка. В тот момент, когда я решился, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто.

— Дома, — сказал он мне. — Заходите.

И я сделал шаг. В то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях.

Громов мне как будто даже обрадовался.

— Заходи, — сказал он. — Раздевайся. У нас уже и вещи связаны.

Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, не знаю.

Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену. Но божка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки.

Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел божка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался.

Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил:

— Ты так или по делу?

— По делу, — сказал я.

Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел.

— И черепа тоже везете? — спросил я.

— Везем.

— И божка?

— Божка тоже.

— А мальчика?

Это слово само вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Громова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора.

— А зачем тебе мальчик? — тихо спросил Громов.

— Я ему вопрос хочу задать.

— Так задавай, — так же тихо сказал Громов. — Я отвечаю.

— Я хочу, чтобы сам мальчик ответил.

— Я и есть мальчик.

— Ты?

— Да, я. Разве ты об этом не догадался?

Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар. На лбу выступил пот.

— Ну, что же ты не задаешь вопросы?

— Я лучше потом, — сказал я.

— Когда же потом?

— В следующий раз.

— Мы завтра уезжаем в Новосибирск.

— Когда?

— В девять вечера.

— Тогда я после обеда забегу, можно?

— Забегай.

Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему? Я сам не знаю. Может быть, потому, что я не знал, о чем его спрашивать. Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко. А более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался.

12

Я долго переживал и волновался. Дней пять или шесть. А потом перестал переживать и больше уже не волновался. И как только перестал волноваться, в моей голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в академическом городке под Новосибирском.

А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трехтонка с вещами. Но то были обыкновенные вещи, столы, кровати, стулья, диваны. И конечно, среди этих вещей не могло быть деревянного божка с поджатыми ножками и нумерованных черепов. Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал, вот была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов, а сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики Дмитрий Спиридонович.

Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу.

— Что нос-то повесил? — спросили меня.

— Громов уехал, — сказал я.

— Ну, и что? Подумаешь! Вместо него другой уже сидит ученик. Новый. Он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького. Говорит на трех языках.

И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова. Такое же задумчивое выражение лица. И волосы жесткие, прямые, ежиком.

И как Громов, он то и дело смотрел в окно. Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. И я подумал, что он это, наверное, старухе в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял. Он ко всем относился с уважением, и к этой старухе тоже.

Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову.

Уроки тянулись долго. А когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того, новенького, который сидел на месте Громова.

— Ты далеко живешь? — спросил он меня.

Я назвал улицу и номер дома. Он удивился.

— Значит, ты живешь напротив, — сказал он.

И я догадался, что это он поселился в квартире Громова. Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему относиться: хорошо или плохо? Два голоса спорили во мне. Один голос говорил: он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы

в академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал: разумеется, он не виноват. Но все равно что-то в нем есть. И, наверное, задается.

И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову.

— Почему,— спросил я его,— существует мир?

— Потому что существует,— ответил он.

— А что было бы,— спросил я,— если бы мира не было?

— Не было бы и нас,— ответил он.

— Ну, это не ответ,— сказал я.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.

— Потому что хочу знать.

— Мало ли что ты хочешь.

— А почему я должен хотеть мало? Я хочу много.

— Но ты задаешь глупые вопросы.

— Вовсе они не глупые. Ты ничего не понимаешь.

— Глупые. А главное, неконкретные. Разве можно спрашивать о том, почему существует мир?

— Можно.

— Нет, нельзя.

— Громов так бы не сказал.

— Громов? Это тот, что жил в нашей квартире?

— Не он в вашей, а вы живете в его квартире.

— Мы въехали по ордеру. А он выбыл.

— Не выбыл, а уехал в Новосибирск.

— Ну, уехал. Это все равно. А ты в пинг-понг играешь?

— Играю.

— Так заходи. После обеда заходи. У нас есть. Сыграем.

— Может, и приду,— сказал я.— А как тебя зовут?

— Игорь,— ответил он важно.— Игорь Динаев.

Два голоса спорили во мне: идти или не идти? И все-таки я пошел. Больше из любопытства.

В столовой вместо божка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартиру я не узнал. Везде мебель, вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля. Вещей почти не было. А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогающая воду в реке длинной ногой, мне

как-то стало не по себе. И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно преодолевают жажду. И я тоже превозмог.

— Что ты молчишь? — спросил Игорь.

— Думаю, — ответил я.

— А о чем ты думаешь?

— Мало ли о чем я могу думать!

— Ну, а все-таки? — спросил он.

— Я думаю о пустыне Гоби.

— А ты там бывал?

— Нет, не бывал.

— А почему же ты тогда о ней думаешь?

— Я всегда думаю о тех местах, где не бывал.

— Значит, ты псих. У вас все в классе какие-то не такие. Я сразу заметил. А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят?

— Громов.

— А что в нем особенного? Почему про него так много говорят?

Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель. Потом сказал:

— У них не было столько мебели.

— У кого?

— У Громовых.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего.

Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне с ним говорить о Громове, да еще в этой самой квартире.

Потом я встал.

— Ну, пока. Уроки учить надо. Сегодня много задано.

А задано было совсем немного.

Что еще осталось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли. И постепенно стали забывать о Громове. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, в том числе ту, которая называется «Хочу все знать».

И голос (один из двух спорящих во мне голосов) говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громове, и утверждал, что можно.

Из академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думать, что Громов просто шутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик.

Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную Речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом футляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было, как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:

«Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются... Исследовать возможности восприятия человеком психологии и знаний инопланетного мальчика помогал коллективу пятнадцатилетний сын ученого... Резервы памяти оказались огромны...»

Слова прыгали. И мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно.

— Что с тобой? — спросила мать.

Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям.

— Газету! — кричал я на весь трамвай. — Дайте, пожалуйста, газету!





ГЛИНЯНЫЙ ПАПУАС

1

Вы читали научно-фантастическую повесть про мальчика? Нет? Не читали? Ну, ладно, об этой повести я скажу потом, в конце. А сейчас я расскажу о не менее важном происшествии, которое недавно случилось.

Мой двоюродный брат Володя утверждает, что такие происшествия случаются не чаще, чем раз в десять тысяч лет. Но я все-таки хочу рассказать про этот случай. Я ведь

был его свидетелем. Случай произошел в музее. Еще когда мы поднимались по лестнице, я обратил внимание на чудовище с тремя руками. Я показал на него Витьке Коровину, но Витька усмехнулся, как всегда, когда он хотел кого-нибудь осадить или поставить на свое место:

— Самый обыкновенный южно-восточный бог,

Витька все на свете считал обыкновенным.

— А почему у него три руки?

— А почему у тебя две? — спросил Витька.

Мы прошли зал, потом еще два зала. Поднялись, потом снова спустились. Там, куда мы пришли, была тишина — особая, самая тихая, какая бывает только в музеях.

У стены стояли голые папуасы, чуть наклонившись, словно кого-то преследуя. Но даже издали было видно, что они не настоящие и сделаны довольно грубо из глины. Каждый из них держал в руках натянутый лук со стрелой. Стрела и лук были настоящие, в этом даже Витька не сомневался.

Марья Александровна, наша географичка, показывая на папуасов, объясняла бодрым и радостным голосом:

— За это мы должны быть благодарны Миклухе-Маклаю. Великий русский путешественник... Морозов! Перестань жевать! Эдесь музей!

Мы стоим, слушаем, рассматриваем туземцев, утварь и стрелы. Переглядываемся. Перепелкин, спрятавшись за широкую спину Сидорова, показывает нам рожки.

И вдруг тишину нарушил громкий крик. Мы оглянулись и видим: в грудь Витьки Коровина вонзилась стрела и дрожит.

Марья Александровна кинулась и скорей стала вытаскивать стрелу, но стрела, как нарочно, не вытаскивалась.

— Кто это сделал? — голос у Марьи Александровны был уже не радостный. — Кто? Лучше сознайтесь!

Она подумала, что это кто-то из нас. Но оказалось, что это глиняный папуас выстрелил. Сам, без всякой помощи. Произошло редкое, почти невозможное явление, однако же физически вполне объяснимое. У папуаса отломился палец, тот, которым он держал и натягивал тетиву лука. И стрела вылетела, согласно законам механики. Все это произошло внезапно.

Прибежала низенькая толстая администраторша. Она тотчас же набрала номер и вызвала «скорую помощь». А затем раненного стрелой Коровина отвезли в Куйбы-

шевскую больницу, в палату несчастных случаев и травм.

Марье Александровне стало плохо. Ей подали стакан с водой. Она отпила глоток, упала в кресло и сказала, как говорят только на сцене, не то сама себе, не то публике:

— Что я скажу родителям Коровина? Как объясню этот несчастный случай?

Я подумал, что действительно объяснить этот случай будет нелегко, особенно родителям. Мне приходилось читать, как стреляли из лука индейцы, защищая свою жизнь и свободу. А тут совсем другое дело, стрелял экспонат, хотя никто из нас не угрожал ни его жизни, ни свободе. Допустим, что папуас был из глины, но стрела-то все-таки оказалась настоящей.

— Что я скажу родителям Коровина? — спрашивала не то себя, не то нас Марья Александровна. — Как объясню им этот ужасный случай?

Но мы молчали и смотрели на папуаса, у которого отломился палец. И мне показалось даже, что папуас усмехнулся, как живой. Это, разумеется, был обман чувств. Папуас был все-таки из глины и усмехаться не мог даже в такую необыкновенную минуту.

Возвратились мы из музея очень взволнованные и все обсуждали происшествие. Кто-то из ребят сказал, что у Марьи Александровны, наверное, будут неприятности: как никак, Витька Коровин все-таки пострадал. И все наперебой стали говорить, что Марья Александровна здесь ни при чем — не могла же она знать, что у папуаса отломится палец и как раз в тот момент, когда мы придем в зал. За это должна нести ответственность администрация музея. Несчастный случай мог произойти оттого, что давно не осматривали пальцы у папуасов.

Перепелкин, как всегда, ляпнул:

— А по-моему, путешественник виноват, сам Миклухо-Маклай. Больше никто!

— Почему? — спросили мы.

— Должен же он был быть предусмотрительным, когда вез стрелы. Еще хорошо, что они не отравленные.

У всех несчастных и счастливых случаев есть одна особенность: слухи о них летят со скоростью света. Прихожу я домой, а там уж все знают и беспокоятся. Все меня трогают, ощупывают, словно я тоже пострадал. Мать заявляет категорически:

— Теперь — кончено! Больше тебе, Александр, не бывать никогда в музеях.

Отец тоже что-то бормочет насчет халатности администрации и безответственности музейных работников.

И только двоюродный брат Володя, он кончает математический факультет, говорит спокойно:

— Виновата не администрация, а теория вероятности. Теперь можно не беспокоиться, а спокойно посещать все музеи. Подобный маловероятный случай, согласно законам статистики и больших чисел, может произойти только через десять тысяч лет.

Слова Володи меня огорчили. Ведь я надеялся, что со мной тоже когда-нибудь произойдет подобный случай и в меня попадет стрела, долго томившаяся в обыденной скуке музейной жизни.

И все время вбегают разные люди: родственники, соседи и просто знакомые, они трогают меня, сочувствуют и возбужденно расспрашивают о происшествии, свидетелем которого я был сегодня утром.

В пятый, в шестой, в десятый раз я повторяю то, что уже говорил. И странно, происшествие отдалается от меня, и мне начинает казаться, что это было не сегодня утром, а в прошлом году и что я даже не был свидетелем, а только от кого-то о нем слышал.

Взрослые, выслушав меня, начинают гадать, кто же виноват: учительница, администрация, великий русский путешественник Миклухо-Маклай или тот скульптор, который вылепил паууса из недостаточно прочного и недоброкачественного матерпала, доверив экспонату лук и стрелу, настоящую пауасскую стрелу с очень острым и слишком опасным наконечником.

Ночью мне приснился пауас. Палец у него уже был на месте. Кто-то его аккуратно приклеил. И пауас сказал мне на чистом русском языке, без всякого акцента:

— Ладно, не сердись. И Коровин тоже пусть не сердится. Это случилось не по моей вине и не по халатности администрации, а по законам больших чисел.

Мне очень понравилось, что пауас не стал жаловаться на администрацию и свалил все на большие числа. На его месте я поступил бы точно так же.

Потом папуас исчез. Я проснулся и стал думать о Витьке и о больших числах, которым, по мнению моего двоюродного брата Володи, мы обязаны всем — и плохим и хорошим.

2

Теперь я хочу рассказать о Витьке Коровине и его жизни еще до того случая, когда у папуаса отломился палец.

Витька Коровин старался походить на взрослого, и это даже ему удавалось. Иногда мне казалось, что он имел право отпустить себе бородку и усы, если, конечно, они стали бы у него расти. Но усы и бородка, как известно, растут только у тех, кто достиг положенного для них возраста. А Витька еще не достиг. Наружность у него была детская: вздернутый нос, оттопыренные уши, веснушки на подбородке и на пальцах, насыпанные, как манная крупа.

Характер у него был не детский — в этом все дело.

На лице Витьки появлялась усмешка, когда кто-нибудь из нас, увлекшись, делился своим желанием совершить что-нибудь выдающееся — какое-нибудь путешествие, подвиг или большое научное и техническое открытие. Не то чтобы Витька был против научных открытий и подвигов, но он, совсем как взрослый, не верил, что эти выдающиеся открытия и подвиги совершит кто-нибудь из нас. При взгляде на Витьку и на его усмешку возникала нелепая мысль, что приключения, подвиги и разные великие открытия случаются только в интересных книжках, а в жизни все наоборот и почти нет подвигов и всяких открытий. Домашние хозяйки идут с сумками и авоськами на Дербинский рынок, в окно парикмахерской видно, как парикмахерша стрижет и бреет красивого молодого интеллигента, на перекрестке скучает милиционер, газетчица в кюссете продает газеты, и, кроме этого, пока нет ничего, все остальное только в книжках. Все это можно было подумать, глядя на Витькину усмешку и вообще на недоверчивое выражение его лица. Уж очень любил Коровин все привычное и доступное, все, что рядом с ним на Петроградской стороне или на Васильевском острове, а то, что далеко, в прошлом или будущем, то он не ценил.

И еще он ценил тишину. Да, тишину. Терпеть он не мог шума. В этом мне пришлось убедиться, когда меня посадили с ним рядом, за одну парту, желая, чтобы я научился от него вести себя тихо, примерно.

Я много думал о том, что за человек Витька Коровин и почему он все делает медленно, осмотрительно, не спеша, обдуманно и спокойно.

Однажды я спросил его:

— А верно, что ты любишь тишину?

— Верно.

— А за что ты ее любишь?

Витька удивленно посмотрел на меня.

— Как за что? За то, что она никому не мешает.

И вообще я люблю всякий порядок.

— Нет ничего скучнее порядка, — сказал я.

— А ты докажи, — сказал Витька.

— Как я могу это доказать, — сказал я, — это же не теорема, для которой Эвклид или Пифагор придумали доказательства еще две тысячи лет тому назад.

— Значит, не можешь доказать! — сказал Витька торжествующим голосом.

— Не могу. А ты можешь доказать, что тишина — это хорошо?

— Могу, — сказал Витька. И стал перечислять, почему тишина и порядок лучше шума и беспорядка.

Я долго искал убедительный аргумент против тишины. Потом сказал:

— А тишину любят только старухи.

— А старухи разве не люди? — возразил Витька. — Ты тоже когда-нибудь состаришься.

— Но старухой я никогда не буду.

— Докажи! — сказал Витька.

И он насмешливо посмотрел на меня, очевидно, думая, что я стану доказывать.

На другой день после этого спора я принес в класс интересный научно-фантастический роман и показал его Витьке.

— Где происходит действие? — тотчас же осведомился Витька.

— На Луне, на Марсе и в одной из далеких малодоступных галактик.

— Хорошо, — сказал Витька и усмехнулся. — А кто написал эту книжонку?

— Кто? Один известный писатель. Кто еще мог ее написать?

— Отлично,— согласился Витька зловещим голосом.— А он хоть раз побывал на Луне, на Марсе и в одной из далеких малодоступных галактик?

— Пока еще не бывал, но со временем...

— Ну, вот,— оборвал меня Витька.— Значит, он написал о том, чего не знает. Нет, я таких книжек не читаю.

— А что ты читаешь?

— Справочники, энциклопедии и разные исторические документы.

Документы... Я почему-то не люблю этого слова. Оно мне всегда казалось каким-то неприветливым, чужим и созданным для тех, кто не доверяет и сомневается. А Витька это слово любил. Не знаю, любил ли он слово «посторонний»; я терпеть не могу этого слова, и, когда читаю «Посторонним вход запрещен», во мне все кипит. Я вообще считаю, что посторонних не должно быть.

А Витька, действительно, любил словари и разные документы. И однажды он мне показал документ, в котором удостоверялось, что он, вышепоименованный Виктор Викторович Коровин, член общества друзей природы и обязан ее защищать, и что-то еще в этом роде.

Я его спросил:

— Что, это сама природа тебе выдала такое удостоверение?

— Природа,— ответил Витька.— А тебе что, завидно?

— А какие у тебя обязанности? — спросил я.

— Повсюду защищать растения и посадки, деревья и траву, а также животных.

— Я и без удостоверения их защищаю,— сказал я.

Над столом на стене Витькиной комнаты висело расписание, составленное им самим,— столько-то часов на физкультуру и защиту природы, столько-то на занятия английским языком, столько-то на шахматы, столько-то на прогулку и наблюдение за всем окружающим.

Свои наблюдения Коровин записывал в толстую тетрадь с клеенчатой обложкой. Однажды он меня спросил:

— Ты знаешь, что такое афоризм?

— Приблизительно знаю.

- Афоризм, — сказал Витька, — это сгусток мысли.
- Вроде сгущенного молока? — вырвалось у меня.
- Обыватель!
- Кто?

— Ты, Фарисей. И вообще мне не о чем с тобой разговаривать.

Два дня мы после того не говорили, так обиделся Витька за то, что я афоризм сравнил с молочной сгущенкой. Потом мы помирились, и разговор зашел о времени. Витька сказал мне, что он так хочет использовать свое время, чтобы не потерять ни одной секунды. Я стал ему возражать и говорить о том, что время идет быстро, когда не думаешь о пользе, и, наоборот, оно течет медленно, когда принимаешь лекарство, учишь урок или слушаешь правоучение. И Витька стал уверять меня, что он нашел способ, благодаря которому он сможет использовать каждую минуту, но что этот способ он пока держит в секрете.

- А когда ты его рассекретишь? — спросил.
- Может, и никогда.
- Хочешь унести тайну с собой в могилу?
- Попытаюсь, — сказал Витька.

3

И вот случилось никем не предвиденное событие. В Витьку попала стрела. А тот, кто ее пустил, уже снова стоял на своем месте у стены и снова держал в руках лук. И посетителям и экскурсантам было немножко не по себе. Они старались не задерживаться возле этого экспоната, забывая о том, что подобный несчастный случай может повториться только через десять тысяч лет.

Я пришел один и долго-долго стоял возле экспоната, смотря на приклеенный палец и на стрелу с острым наконечником, потом пошел туда, где стояло чудовище с тремя руками. И я думал: правильно ли поступила природа, дав человеку не три руки, а только две? Допустим даже, что правильно, но третья рука все равно могла бы пригодиться. А возвращаясь из музея, я все время думал о том, что бы я делал, если бы имел третью руку. И когда глядел на прохожих, мне казалось, что у них чего-то не хватает. Но довольно о третьей руке, тем более, я читал

недавно, что эволюционный процесс ничего не делает зря и двух рук нам вполне достаточно. Теперь пора вернуться к Витьке. В школе рассказывали, что хирург, старик с серебряными усами и в генеральских лампадах, вытащив стрелу из Витькиной груди, сказал:

— Ее нужно вернуть туда, откуда она прилетела,— в прошлое.

Слова главного хирурга очень смутили остальной медицинский персонал. Смутили и озадачили. И поэтому стрелу пока оставили лежать на столе, рядом с хирургическими инструментами. И только один из ассистентов притронулся к ней рукой в резиновой перчатке, очевидно, не доверяя своим глазам, а потом нервно отдернул руку, точно в стреле был электрический ток.

На другой день, придя в себя, Коровин попросил, чтобы ему немедленно принесли стрелу. Но дежурная сестра наотрез отказала ему. Дело в том, что за стрелой приходила сотрудница из музея и унесла стрелу с собой. Стрела имеет большую научную и историческую ценность, и, кроме того, она зарегистрирована в специальной ведомости как государственное имущество и за ее сохранность отвечает определенное лицо.

— И все-таки зря вы отдали,— сказал Витька.

— Иначе я не имела права поступить,— возразила сестра.

— А вы докажите!

Это было любимое Витькино слово. Но дежурная сестра этого не знала.

— Что доказать? — спросила сестра.

— Докажите, что ваш поступок правильный.

Дежурная сестра обиделась. У неё был нервный, издерганный больными и травматиками характер.

— Пусть,— сказала она,— тебе лучше доказывает тот, кто по ошибке пустил в тебя стрелу.

— Он не по ошибке,— в свою очередь обиделся Витька.

Коровин не мог допустить, что произошла ошибка. Он был гордый. Но ни дежурная сестра, ни больные и травматик не могли этого понять.

— Несчастный случай,— сказал кто-то из травматиков,— всегда бывает в результате чьей-то ошибки.

— Во-первых, он не несчастный, а, наоборот, счастливый,— сказал Витька,— а во-вторых...

— Если счастливый,— перебил Витьку травматик,—

то ты бы не лежал здесь в палате травм и несчастных случаев.

— А вы докажите! — потребовал Витька.

Тут больные и травматик все хором начали доказывать Коровину, что случай, вне всякого сомнения, был несчастный. Но Витька без большого труда опроверг все их доказательства. В этом отношении он был мастер.

— Случай, — сказал им Витька, — ждал много тысяч лет.

Коровин тоже был силен в теории вероятности.

— Ну и дождался, — рассмеялся кто-то из больных. — Радуйся...

Но Витьке, действительно, радоваться было еще рано. Он испытывал сильное неудобство и даже боль. И от боли он стал метаться, стонать и требовать, чтобы ему вернули его стрелу. И оттого, что он стал метаться и нервничать, ему стало хуже, а главврачу пришлось послать нянечку в музей с запиской, где было сказано, что от этой стрелы зависит самочувствие тяжело больного Коровина.

Стрелу доставили обратно в больницу. Но еще неизвестно — была ли это та самая стрела. Возможно, опытный музейный реставратор ловко сделал копию стрелы, а оригинал вернул на место, снова доверив ее глиняному экспонату, у которого уже был реставрирован и аккуратно подклеен отлетевший палец. Но Коровин, несмотря на свою чрезвычайную недоверчивость и трезвость, поверил, что это была та самая стрела и держал ее в больничном шкафчике вместе с продуктами, которые ему приносила из дому мать.

Время от времени, когда поблизости никого не было, а сосед травматик, присмирив на койке, мирно спал, Витька доставал стрелу и смотрел на нее, словно она действительно прилетела из прошлого, чтобы доказать еще раз, что для больших чисел и теории вероятности нет ничего невозможного.

Рана постепенно начала заживать. И Витькино самочувствие позволило ему видеть нас, его одноклассников. Мы приходили в больницу, надевали длинные халаты, но старались не шуметь, чтобы не огорчать дежурную сестру и тех больных, которые нуждались в тишине и покое.

Витька говорил мало, больше усмехался и молчал. Но однажды он вспомнил про экспонат, нанесший ему рану.

— Жаль мне его, — сказал Коровин. — Теперь, пожалуй, его лишат доверия и не дадут лук со стрелой.

Тут черт меня дернул сказать то, о чем следовало бы молчать.

— Уже доверили, — сказал я. — Палец приклеен. Я видел. И он опять натягивает тетиву со стрелой.

— Как же так? — спросил Витька. — Стрела же здесь у меня, в шкафчике.

— Может, ему дали другую, не настоящую, с тупым наконечником во избежание несчастных случаев, — сказали ребята.

Но сомнение уже запало в голову Витьки. Он был не из легковверных и отлично понимал, что скорей обманут его, чем папуаса. Ведь папуас стоит не где-нибудь на периферии, в области вечной мерзлоты, а в одном из ленинградских музеев, где могут храниться только уникамы и подлинники. Витькино лицо сразу осунулось и побледнело, и наступило безмолвие, и тишина, вовсе не предвиденная Коровиным или нами, а пришедшая сама собой от овладевших всеми сомнений.

Мы стояли, и безмолвие продолжалось. Потом мы стали прощаться и пошли. Только вышли из палаты, ребята мне говорят:

— Неужели ты не мог соврать и сказать, что палец еще не приклеен?

— Не догадался, — сказал я. — А теперь очень жалею.

— В следующий раз ты что-нибудь придумай.

— Что?

— Скажи, что папуаса убрали за недопустимое поведение, и на его месте теперь стоит каменная баба с толстыми ногами или шаман с бубном.

4

Два месяца пустовало место, где обычно сидел Коровин. Потом на это место сел Сидоров. Он верил в счастливые приметы и думал, что с ним тоже случится какое-нибудь необыкновенное происшествие, какой-нибудь случай, согласно законам больших чисел специально ожидавший тысячу или даже сотню тысяч лет. Но большим числам, видно, не очень нравился Сидоров. Ничего с ним не слу-

чилось, только схватил двѳйку по математике, а потом еще две. А потом пришлось место освободить. Вернулся из больницы Витька Коровин. И он ни за что не хотел расставаться со своим местом возле географической карты, что висела на стене.

Выглядел Витька замечательно. Он стал уже знаменитым человеком. Как и следовало ожидать, Коровин молчал. Ему не хотелось хвастаться и рассказывать, как к нему в больницу приходил журналист из пионерской газеты и старая детская писательница, приносявшая с собой то яблоки, то апельсины. И журналист, молодой паренек, интересовался больше папуасом и теорией вероятности, чем Витькой, но зато седая писательница интересовалась исключительно Витькой и его семьей, которая его воспитала, как будто, родился Витька в другой семье и будь плохо воспитан, у папуаса не отломился бы случайно палец.

Витька словно воды в рот набрал. Он не рассказывал, что детская писательница заходила к нему в больницу еще три раза, папуасом интересовалась мало, а все больше витькиной семьей и его воспитанием. Я узнал об этом от Витьки, когда ходил его навещать. Но он просил никому не говорить, может из скромности, а скорей всего из-за того, что семья здесь ни при чем, и не семью выбрала папуасская стрела, а его, Витьку. Папуас мог вообще ничего не знать о семье и воспитанием совсем не интересоваться.

Витькину семью я знал хорошо, особенно мать и младшую сестренку Верочку. Верочка ничего собой не представляла, а только мешала нам с Витькой играть в шахматы. А мать была солидная женщина очень большого роста и носила пенсне, хотя уже полвека пенсне никто не носит. Я очень интересовался, где она их достает, ведь теперь продают исключительно очки, а пенсне можно увидеть только на старинных фотографиях. Что я еще могу сказать о Витькиной матери? Почти ничего. Дома она ходила в старых шлепанцах, работала на табачной фабрике помощницей главного бухгалтера и Витькиному воспитанию уделяла не так уж много времени. Ведь, кроме фабрики, ей нужно было еще заниматься домашней работой. Отца у Витьки не было, вернее, он был, но где-то отсутствовал, и по уважительной причине, а потом завел на стороне еще одну семью.

И вот детская писательница повадилась ходить к Витькиной матери и расспрашивать о ее методах воспитания и дарить свои книжки, разумеется, с автографом. Потом она сказала Витькиной матери по секрету, что собирается написать о ней толстую книжку, именно о ней, а не о Витьке, потому что в Витьке она пока ничего особенного не видит. Об этом я узнал не от Витьки, а от его сестренки Верочки. Я не стал огорчать Витьку и не сказал ему, что детская писательница собирается писать не о нем, а только о его матери и ее воспитательном таланте.

А теперь хватит о Витькиной семье. Я лучше расскажу о самом Витьке. Случай со стрелой не прошел для него бесследно. На Витькиной груди остался заметный шрам, веское доказательство необычайного происшествия. Но к Витькиной чести нужно сказать, что он этим доказательством пользовался крайне редко, никому, кроме меня, свой шрам не предъявлял, даже старшекласникам, которые выражали сомнение. Среди сомневающихся особенно выделялся Валерий Девяткин из десятого класса, длинный такой, с довольно заметными рыжими усиками.

— Утка,— утверждал он,— и обывательские слухи. Музейная стрела не может никого ранить. Натяжение тетины не то...

— То! — стал возражать я.

— Нет, не то! — настаивал Девяткин.

Меня это возмутило до глубины души. Ведь я своими глазами видел, как стрела вонзилась в Витькину грудь. И вылетела она не откуда-нибудь, а из рук глиняного пауаса. Но попробуй спорить с десятиклассником!

Я сказал Витьке тихо, чтобы никто, кроме него, не слышал:

— Предъяви ему доказательство.

— Какое?

— Шрам.

— Дурак,— сказал Витька.

— Кто дурак?

— Не он, конечно, а ты. Разве на шраме написано, что от стрелы?

— А ты стрелу покажи. Она у тебя с собой?

— Хватит,— сказал Витька.— Не смейся. Мне даже нравится, что Девяткин сомневается. Ни в чем не сомневаются только хвастуны и недалекые люди.

Я обиделся, но виду не показал, а только подумал про

себя: неужели Витька считает не Девяткина, а меня хвастуном и недалеким человеком?

Но будет о Девяткине, тем более, что в десятом «А», кроме Девяткина, есть еще и Десяткин тоже.

Как-то я прихожу к Коровину и на столе у него вижу толстую книгу в позолоченной обложке, явно научно-фантастический роман.

— Кто же это читает? — спросил я Витьку. — Верочка?

— Да, будет Верочка читать!

— А кто?

Витька оставил мой вопрос без ответа. Ясно, что он читал. Я хотел ему напомнить о научных фантастах, которые подробно описывают далекие миры, ни разу там не побывав, но раздумал.

Однако же книга в позолоченной обложке дразнила мое любопытство.

— Интересная? — спросил я у Коровина.

— Ничего, — ответил Витька. — Читать можно. Но необыкновенного маловато. Действие происходит на другой планете, а описано все, как на Земле. Даже в телевизор по вечерам смотрят.

— А откуда ты знаешь, что там нет телевизоров?

— Знаю.

В Витькином голосе прозвучало нечто таинственное и загадочное, словно он действительно что-то знал о далекой планете.

5

В десятом классе двое было сомневающихся: Девяткин и Десяткин. Десяткин не имел никакого отношения к Девяткину. Он, кажется, даже не был однофамильцем. Просто у них была очень похожая фамилия, и учителя их часто путали, хотя один был очень длинный и рыжеватый, а другой наоборот. А сейчас они оказались единомышленниками, и оба сомневались, что Витька получил травму в музее от стрелы по неосторожности и легкомыслию стоявшего там глиняного экспоната.

— Такое явление противоречит фактам, — приставали к Витьке Девяткин и Десяткин.

— Хорошо, — кивал им Витька. — А такое явление, что в одном и том же десятом «А» учатся сразу Девяткин и Десяткин, разве не противоречит фактам?

Это было здорово подмечено, так здорово, что Девяткин и Десяткин уже больше не приставали. Странно только, что Витька подружился с ними и стал даже обмениваться марками и вести споры насчет разумных существ на других планетах и галактиках. Раньше Коровин считал, что на других планетах высокоразумных существ нет никаких, но теперь он стал придерживаться другого мнения.

Я часто стал встречать Витьку вместе с Девяткиным и Десяткиным. Однажды я встретил их возле памятника Добролюбову в скверике, где на скамейке обычно сидят старухи и о чем-то размышляют.

Витька и его новые приятели вели беседу о высокоразумных существах на других планетах и галактиках. Мы остановились возле памятника и от нечего делать стали его рассматривать.

Девяткин и Десяткин стали хвалить памятник и особенно работу скульптора, вытесавшего такую выразительную фигуру. Но я вспомнил про другого скульптора, доверившего глиняному экспонату настоящий лук с острой стрелой и не догадавшемуся, что это опасно, и стал возражать.

— Уверен, Добролюбов не был такого высокого роста и стройного сложения, — сказал я, — скульптор немножко преувеличил. И вообще, великий русский критик был куда проще, скромнее и добрее этого монумента. Если бы он в жизни был такой, как этот памятник, все бы его боялись. И никто не решился бы с ним поздороваться за руку.

Я думал, что Девяткин и Десяткин или Витька станут возражать, но они забыли о памятнике и стали опять продолжать разговор о внеземных цивилизациях. И Десяткин сказал:

— Насчет разума я вовсе не уверен. Может, он водится только у нас на Земле.

Девяткин стал поддерживать Десяткина и сказал:

— Если бы этот разум там был, он бы поддерживал связь с Землей.

— А откуда ты знаешь, что он не поддерживает? — спросил Витька.

— Ученые не стали бы замалчивать такой факт, — сказал Девяткин. — О нем написали бы в газетах.

— Ладно, — сказал Витька. — Скоро напишут. А пока...

— Что означает твое «пока»? — спросил я.

Сколько я ни бился, так и не мог добиться от Витьки ответа. Он мне напомнил одного докладчика, читавшего лекцию в ЖАКТе, и тоже о других планетах. На конкретные вопросы домашних хозяек и управхоза докладчик отвечал: «Это еще не известно науке» или совсем уклонился от ответа. Витька тоже уклонился, хотя на науку сваливать не стал. Витька всегда очень уважал науку и знания. Он просто пропустил мой вопрос мимо ушей.

На углу возле кинотеатра «Молния» мы расстались с Девяткиным и Десяткиным. Однофамильцы сели в троллейбус, а мы с Витькой пошли пешком.

Погода стояла отличная, солнце грело всюду. Какой-то тип в женском мятом берете шел под руку с толстоносой девушкой, тарасившей на всех зеленые кошачьи глаза. Обстановка располагала к откровенности. И всю дорогу молчавший Витька вдруг стал изливать мне душу. Коровин стал рассказывать о своих переживаниях в те дни, когда он вернулся из больницы домой. Короче говоря, Витька был очень разочарован. Он понял, что случай с папуасом больше не повторится, его, Витьку, примет в свои объятия обыкновенная жизнь, и ему больше нечего ожидать от теории вероятности и больших чисел. Он ходил по комнате и видел обыкновенные предметы — шлепанцы матери, шкаф, утюг и этажерку с собранием сочинений Элизы Ожешко. Потом он взглянул в окно и увидел тысячу раз виденную картину: продуктовый магазин, мастерскую, в которой ремонтировали обувь, и толпу домашних хозяек, возвращавшихся с Ситного и Дерябкинского рынка. И Коровину страшно захотелось обратно в больницу, где все его очень уважали за травму, которую он получил в музее. И Витьке стало грустно. На другой стороне улицы он увидел краснощекого пенсионера Агафоньчева, хорошего знакомого матери. Старик Агафоньчев иногда заходил к ним на квартиру и рассказывал Витиной матери, как хорошо он прожил свою жизнь, ни разу не был ранен и контужен, никогда не болел и благополучно дожил до пенсии. И Витька подумал, что его тоже ждет благополучие, покой и пенсия. Так Витька провел остаток дня, а поздно вечером вышел на улицу; ночь была ясная, и на небе светили звезды. И Витька стал смотреть на эти далекие звезды. И ему стало еще грустнее от сознания, что между звездами и им, Витькой Коровиным, нет никакого контакта. Звезды сами по себе,

а он, Коровин, сам по себе. А вот в Куйбышевской больнице у него такого чувства не было. Скорей наоборот, ему казалось все возможным и доступным, даже звезды. И Витька стал сильно тосковать о необыкновенном и загадочном. И вот спустя несколько дней большие числа вспомнили о Коровине, и с ним, с Коровиным, снова произошел случай, в тысячу раз более удивительный, чем даже поступок экспоната, спустившего невзначай тетиву туго натянутого лука.

— Что же это был за случай?

Витька хмыкнул и заявил, что этот случай он пока не вправе разглашать.

6

А буквально на другой день после нашей беседы астрономы зарегистрировали какие-то сигналы, идущие из далекой галактики к нам. В газетах появились заметки и статьи, написанные крупными специалистами. Одни утверждали, что эти сигналы были искусственного происхождения и шли от разумных существ, а другие настаивали, что это недостойная шутка или обмолвка самой природы.

Я сидел у Коровиных и поджидал Витьку, который ушел к Десяткину за какой-то интересной книгой, как вдруг входит Агафонычев с газетами. На лице его удовлетворение, словно не только специалисты, но и он тоже получил телеграмму с далекой звезды.

— Да,— сказал он задумчиво,— прошло много миллионов лет, пока мы получили долгожданную весточку. Плохо же там работают почта и телеграф.

Мне хотелось заступиться за жителей далекой галактики и в то же время я не хотел обидеть Агафонычева, уважая его старость.

— Нет, не так уж плохо,— сказал я неуверенным голосом.

К моему удивлению, Агафонычев согласился:

— Может, мы и сами виноваты, поздно заметили их сигналы. Тогда они ни при чем.

Агафонычев замолчал и углубился в чтение газет. Лицо его становилось все грустнее и печальнее. Потом он тяжело вздохнул и сказал:

— Коротка жизнь человеческая.

Я кивнул головой:

— Да, коротка. Особенно по сравнению с этими сигналами.

— Твоими устами говорит со мной истина, — похвалил меня Агафонычев. При этом он пристально посмотрел в мою сторону, а я оглянулся и тоже пристально посмотрел — не стоит ли тут рядом истина, которая говорит моими устами. Но рядом ничего не было, кроме столика с проигрывателем и электрического полотера в углу. Агафонычев еще раз посмотрел пристально на полотер, и я тоже.

— Да, — задумчиво сказал Агафонычев, — полезная вещь, особенно если у кого старые и больные ноги. — И снова посмотрел сначала на полотер, потом на меня. И я подумал, что между мной, истиной и электрическим полотером есть какая-то не понятная мне связь, но спросить не решился.

Потом Агафонычев надел очки и стал читать журнал «Крокодил». И это тоже было непонятно и странно — что он надел очки. Ведь газеты он читал без очков, натурально, одними глазами.

Я долго ждал Витьку, наконец мне надоело, и я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Только я спустился и вышел за ворота, как увидел его. Витька был не один, а с каким-то незнакомым мальчиком.

Увидев меня, Коровин растерялся и прошел мимо своего дома, делая вид, что меня не замечает. Потом он что-то сказал незнакомому мальчику, и тот сразу же скрылся за углом. Витька долго стоял в задумчивости, потом оглянулся.

— А, это ты? — заметил наконец-то он меня.

— Нет, это не я, — ответил я сердито. — А мой однофамилец.

— У тебя нет и не может быть однофамильца.

— Почему?

— Фамилия редкая.

— Не такая уж редкая. А кто был с тобой?

— Где? Когда? Со мной никого не было. Тебе показалось.

— Ну, знаешь, — сказал я. — Показалось... Я ведь отлично его видел. Ты что-то ему сказал, а он сразу за угол.

Не понимаю. Разве я сделал ему что-нибудь плохое? Зачем ему от меня прятаться?

Витька замолчал. Он нередко прибегал к этому недозволенному приему. Замолчит, и все, как в пантомиме.

— Хочешь, чтобы я переменял тему?

— Угу,— кивнул Витька.

— Я этого не сделаю.

— Сделаешь.

— Хочу знать, кто это был?

— Слишком много хочешь знать.

— А кто же он?

— Невидимка.

— Глупости.

— Невидимка,— упрямылся Витька.— Я же его не видел.

— Ладно,— сказал я.— Черт с тобой... Сейчас такие события. У вас Агафонычев сидит. Принес газеты с известием о сигналах из другой галактики.

— А какое дело Агафонычеву до этих сигналов?

Меня удивил этот вопрос.

— Сигналы же посланы человечеству,— сказал я,— а Агафонычев один из его представителей.

— А откуда вы с Агафонычевым знаете, что эти сигналы адресованы человечеству? Ведь когда оттуда стали сигнальть, на Земле, возможно, не было еще никакого человечества.

— Но они могли предполагать, что человечество появится!

— Ерунда! Эти сигналы адресованы не вам с Агафонычевым и не человечеству.

— А кому?



Витька смерил меня насмешливым взглядом.

— Кому? Конечно, не тебе или мне и даже не тем ученым, которые сейчас спорят.

— А кому же?

— А может, тому, кого ты сейчас видел и кто скрылся за углом.

— Какая чепуха! Чем же он лучше тебя, меня и этих крупных ученых?

— Лучше, хуже... Не в этом дело.

— А в чем?

— В том, что это был необыкновенный парнишка. Таких парнишек никогда не было и не будет.

Витька сказал это, и больше мне не удалось вырвать у него ни одного слова.

7

На другой день, встретившись со мной в классе, Коровин спросил:

— Ну, как вы там с Агафонычевым, все еще думаете, что сигналы посланы человечеству?

И спросил он это таким тоном, словно хуже нас с Агафонычевым не было никого во всей солнечной системе.

Теперь несколько слов не об Агафонычеве и не обо мне, а о самой солнечной системе. Насчет солнечной системы вскоре произошел спор между Витькой и преподавателем физики Осипом Соломоновичем. И как выяснилось из спора, Витька оказался большим знатоком Солнца и солнечной системы.

Вовсе не желая подлизаться к Витьке, а от всего сердца я сказал:

— Здорово ты знаешь солнечную систему.

А Витька хмыкнул носом:

— Да, знаю. Наверно, не хуже вас с Агафонычевым.

Мне стало очень обидно не за солнечную систему и не за себя, а за Агафонычева. Слушая Коровина, можно было подумать, что я, солнечная система и Агафонычев составляли одно целое. И поэтому я очень обрадовался, когда румяный пенсионер не стал больше появляться в Витькиной квартире. Правда, он исчез не совсем, а только пере-

ехал куда-то к Средней рогатке, в новый пригород, получив там отдельную квартиру с мусоропроводом и ванной. Появился он лишь через месяц.

— Воздух,— сообщил он Витькиной матери.— Два дерева под окном. Ванна. Лифт. И другие удобства.

На Витьку, видно, его слова произвели не очень благоприятное впечатление. Когда Агафонычев ушел, Витька сказал мне:

— У вас с Агафонычевым большое сходство.

— Какое? — спросил я с испугом.

— Оба вы очень удобства любите.

Это было зря сказано. Удобства я вовсе не люблю. И обычно сплю на раскладушке, хотя у нас свободная кровать и диван. Просто Коровин не хотел отделять меня от Агафонычева и воспользовался случаем.

Я стерпел и ничего не ответил. Стерпел я ради того, чтобы узнать о сигналах. Короче говоря, принес в жертву самолюбие ради истины.

И вот когда наступил подходящий момент, я спросил Коровина:

— Так что же предполагают ученые?

— Одни ученые предполагают,— ответил Витька,— что это естественная радиация, а другие, что это сигналы далекой цивилизации.

— А ты сам что думаешь?

— Я не думаю, я точно знаю.

— Откуда ты можешь точно знать?

Я весь дрожал от нетерпения и тревоги, ожидая ответа.

— От одного знакомого,— спокойно ответил Витька.

— А кто этот знакомый?

— Один мальчик.

— Из нашей школы?

— Нет, из 207-й.

— А где эта 207-я?

— Ну, скажем, на Васильевском острове.

— А как его фамилия?

— А тебе зачем?

— Зачем? Ни зачем. А просто для достоверности.

— Ну, хотя бы Громов. Тебе не все равно?

Я сделал вид, что мне все равно, и больше не стал спрашивать, отложил до следующего раза. И зря. Всегда надо ковать железо, пока оно горячо.

В газетах вдруг перестали писать о сигналах из другой галактики. Это иногда бывает. Ведь о плезиозавре, которого будто бы нашли в каком-то озере, тоже писали-писали, а потом вдруг замолчали, словно вовсе не было этого плезиозавра или он исчез вместе с озером.

Об Агафонычеве и о солнечной системе мне Витька больше не напоминал, но и о сигналах тоже говорил редко. И все же о Громове, об этом «невидимке», мне кое-что удалось узнать. Оказывается, Громов тоже интересовался теорией вероятности и даже ходил знакомиться с Витькой в Куйбышевскую больницу.

Жил Громов на Васильевском острове, кажется, в очень обыкновенном доме, рядом с парикмахерской, но дальше все было необыкновенное. Отец Громова был археолог и сделал какое-то крупное научное открытие, но с опубликованием не спешил, чтобы не рассердить других специалистов, которые могли потребовать неоспоримых доказательств. Может быть, доказательств у него было маловато, не знаю. Когда я стал слишком подробно расспрашивать об этом Витьку, он хмыкнул носом:

— У вас с Агафонычевым есть эта привычка: хвататься немытыми руками за чужую тайну.

Я сразу замолчал, огорчившись, что для Витьки я опять перестал быть самим собой, а превратился в придаток Агафонычева.

— Ты хотел рассказать об отце Громова и об его открытии, — напомнил я немного спустя.

— Отец Громова, — сказал Витька, — действительно совершил открытие. Его находки говорят, что на Земле задолго до человека и всех млекопитающих жило высоко-разумное существо.

— Ясно, — догадался я, — значит, этому существу и сигналият сейчас из другой галактики?

— Точно, — сказал Витька.

Тут мне пришла в голову мысль, от которой у меня закружилась голова и стало не по себе.

— Значит, это разумное существо находится в квартире Громова?

— Скорей всего так, — сказал Витька тихо и поблелел.

Такой бледности на его лице я не видел, кажется, никогда, даже когда в него попала стрела. Мне даже показалось, что Витьку зазнобило.

— А ты бывал в этой квартире?

— Нет, не бывал. Но скоро попаду. Дело в том, что к ним дальняя родственница приехала. И заболела. И посторонних пока не приглашают.

Слово «посторонний» меня страшно огорчило. Если уж Витька Коровин там посторонний, то я буду совсем чужим и лишним.

— А пригласят, как ты думаешь, скоро?

— Если не скоро, я и без приглашения пойду. Мне хочется выяснить истину.

— А адрес помнишь?

— Еще чего не хватало! Я Громова много раз до дома провожал и, хотя далековато, езжу в их дом в парикмахерскую подстригаться.

— А он тебя ни разу не пригласил?

— Родственница приехала. Как ты не понимаешь?

— Понимаю. Все понимаю отлично, но ведь не всегда же она приехала! Уедет. Дело, наверное, не в ней. Витька посмотрел на меня и усмехнулся.

— А ты думаешь, это существо живое?

— Не знаю. Предполагать все можно. Мертвому не станут сигналить.

— А ты слышал когда-нибудь, — спросил меня Витька, — чтобы археологи нашли что-нибудь живое? Они всегда находят мертвые предметы, которые пролежали в земле много столетий и лет.

— А что Громов говорит?

— Громов хороший математик. Он занят тем, что вычисляет. А знает много. Мне ребята из его школы рассказывали, что педагоги не решаются его спрашивать.

— Наверное, знает не меньше, чем в учебниках? — перебил я Коровина.

— В учебниках! — засмеялся Витька. — Он знает, чего не знал ни Дарвин, ни Эйнштейн.

— А откуда?

— Откуда... Ясно, ему тот рассказывает, которому сигналят из других миров.

— Так это же мертвый предмет, археологическая находка, — сказал я.

— И Агафонычев так думает? — спросил Витька.

— А при чем тут Агафоничев?

— Отстальные вы с ним люди. О теории информации слышали? Можно не только содержание книги записать, но и тебя вместе со всей твоей информацией клеточной, молекулярной, мозговой.

— Теперь я понял, — сказал я.

9

Хоть я и сказал Коровину, что понял, ничего я не понял. Ведь до других миров миллионы световых лет, как же могут оттуда сигнальть какому-то таинственному субъекту, находящемуся в квартире Громовых на Васильевском острове? Мысль эта не давала мне покоя. Из-за нее я получил двойку по русскому языку и по истории. Не приготовил уроки.

Во время перемены я сказал Витьке, что мне необходимо побывать в квартире Громовых. Витька от удивления даже вытаращил глаза.

— То есть как это необходимо? — спросил он.

— Необходимо. И все.

— Кто тебя такого туда пустит?

— А что, там милиционер стоит, что ли, и пропуска спрашивает? Наверное, там звонок есть. А если нет звонка, постучу.

— А как же ты объяснишь, зачем пришел? — хмыкнул Витька.

— Неотложным интересом к истине. Я недавно читал в одном журнале, как ученые ради истины жертвовали даже жизнью.

— Уж не хочешь ли ты пожертвовать жизнью? — спросил Витька.

— Хочу, — ответил я не совсем уверенно и тихо.

— Ну и дурак же ты!

— А что?

— Нужна истине твоя жизнь!

— Нужна! Ты не читал статью в одном интересном научном журнале. Там про это написано, и про жизнь, и про здоровье.

— Так ты что, чудило, вообразил, — сказал Витька, — что за дверью квартиры Громовых от тебя потребуют здоровье и даже жизнь? За кого ты их принимаешь?

Я понял, что сказал глупость, но признаваться мне не хотелось, особенно перед Витькой. Еще недавно он мучил меня Агафонычевым, а сейчас будет смеяться над тем, что я хочу пожертвовать здоровьем и даже жизнью. Насчет жизни я, может, и сказал лишнее, но своим здоровьем я пожертвовал бы вне всякого сомнения, только чтобы узнать о таинственном существе, получавшем сигналы.

Кстати, я спросил Витьку:

— До другой галактики миллион световых лет и даже в сто раз больше, как же могут оттуда сигналить этому, который прячется в громовской квартире?

Витька нахмурился. Видно, ему не совсем понравился мой вопрос. Я думал, что он поступит, как некоторые докладчики, соплется на то, что это неизвестно науке. Но Коровин любил смотреть в глаза правде. Он сказал:

— По мнению Громова...

— Сына или отца? — перебил я.

— Сына... По его мнению, ученые ошиблись, и те сигналят не из далекой галактики, а с планеты, назовем ее икс или игрек, находящейся не так далеко от нас.

— Это по мнению Громова... А по твоему собственному мнению?

Витька перестал хмуриться. Этот мой вопрос ему очень понравился.

— Видишь ли, — сказал он, — я резервирую свое мнение до того момента, когда войду в контакт с археологической находкой.

Я был просто ошеломлен его ответом. Особенно мне понравилось слово «резервирую». Оно точно и сильно выражало то, что рано или поздно случится. Коровин любил точность. Но мне не совсем понравилось слово «находка». В этом слове было что-то непочтительное и неуважительное. Находкой можно назвать какой-нибудь предмет, вещь. А тут речь шла о существе необыкновенном и загадочном.

Прозвенел звонок. Урок начался. Но я слушал учителя невнимательно. Моя мысль была там, на Васильевском острове, возле дверей квартиры Громовых. Пусть Коровин резервирует, думал я, а мне хочется, чтобы все это выяснилось поскорей. Витька пугает меня родственницей. Подумаешь, родственница... Сейчас мне просто нужно узнать от Витьки точный адрес Громовых, хотя бы номер дома... А на их родственницу мне наплевать.

Я написал Витьке записку, хотя сидел с ним рядом: «Напиши на этой бумажке адрес Громова. Мне необходимо его знать». Витька порвал записку, а ответа не дал.

Из школы мы вышли вместе с Витькой и Сидоровым. Витька, видно, был немножко смущен, что порвал в ключья мою записку. Когда Сидоров отделился от нас и свернул за угол, Коровин спросил:

— Ты куда?

— В парикмахерскую надо,— ответил я.— Но тут поблизости плохо стригут, и очередища огромная. Ты, кажется, на Васильевском подстригаешься, скажи, на какой линии? Я туда сейчас съезжу.

Витька взглянул на меня с таким видом, словно поймал за руку карманного воришку.

— Ишь, чего захотел! Та парикмахерская в одном доме с Громовыми. Подстригайся лучше здесь.

— Нет, мне бы лучше там. Здесь очередища и стригут плохо.

— Хочешь с Громовым познакомиться? Придется потерпеть, пока родственница не уедет.

— А ты меня познакомишь?

— Это будет видно,— сказал Витька.— Большой вопрос, еще захочет ли он с тобой знакомиться.

10

Вскоре случилось необыкновенное событие, изумившее весь мир. Люди вступили в контакт, но не с разумными существами другой галактики, а с жившими здесь же рядом с нами на Земле. Одному крупному нейрофизиологу почти удалось расшифровать звуковой и ультразвуковой язык дельфинов и почти вступить в сношения с этими загадочными животными.

Ничего не подозревая, я возвратился из школы и вдруг вижу возле газетного киоска необыкновенно длинную очередь. Впереди всех стоит старик с толстыми, похожими на лисий хвост, усами, за ним две домашние хозяйки и Агафонычев, а за Агафонычевым весь проспект. Агафонычеву я не удивился. У него здесь были старые и налаженные отношения с газетчицами, а там, возле Средней рогатки, он еще не акклиматизировался и очень страдал без дефицитных изданий.

Я поздоровался с Агафонычевым и спросил:

— Тиражную таблицу опубликовали?

— Нет,— ответил не без важности пенсионер,— передавали утром, дельфин по-человечьи заговорил. Ждем подробностей.

Меня охватило сильное волнение. Волнение и обида на преподавателя биологии. Он, наверное, понятия не имел о дельфинах и, отстав от науки, считал самыми умными животными слона и обезьяну.

Я решил место в очереди не занимать, рассчитывая, что Агафонычев даст прочесть заметку. В ожидании газет рыжеусый старик и Агафонычев затеяли научный спор. Меня больше всего поразило, что оба спорящих старались не употреблять слова «дельфин», а почтительно и вполголоса называли этих животных в третьем лице — «они».

— Они,— сказал рыжеусый,— проводят все время в воде, в жидкой стихии, с твердыми предметами имеют дело редко. Значит, у них понятие о твердом другое. Сомневаюсь, есть ли в их грамматике имена существительные.

— На одних глаголах,— возразил Агафонычев,— не проживешь даже в воде.

Мне возражение Агафонычева показалось не очень убедительным, но я промолчал, боясь обидеть Агафонычева и взять сторону рыжеусого, который и без этого побеждал в споре, будучи более осведомленным в науках.

Рыжеусый высказал несколько глубоких мыслей, по-прежнему избегая произносить слово «дельфин».

— Через его посредство,— сказал старик,— с нами заговорила, возможно, сама природа.

— Позвольте,— перебил его молодой интеллигент, чем-то немножко похожий на Лермонтова и даже на Гоголя.— А мы с вами кто такие? Разве мы не природа?

— Нет, не природа! — сказал старик строго.

Привезли газеты. Все очень заволновались, боясь, что для них не хватит, и даже те, кто стоял впереди. Агафонычев протянул рубль, получил сдачу, пересчитал ее. А я ждал, от нетерпения поглядывая в киоск — много ли там газет.

Потом Агафонычев положил кошелек в карман, пожал руку рыжеусому и развернул газету. И в тот миг я узнал о межвидовых контактах и о двух представителях дельфинов по имени Джек и Марта. Это были супруги, жившие

в океанариуме под наблюдением исследователя, американского физиолога Даунса.

Заметка разочаровала нас. В ней было сказано, что исследования продолжаются и код с большим трудом поддается расшифровке. Опечалены были не мы одни. Молодой интеллигент сказал:

— Боюсь, чтобы не получилось то же, что с плезнозавром, якобы найденным в одном из шотландских озер.

— А что с ним?

— Немножко поспешили.

И все же я был очень взволнован сообщением. Контакты начались, а это главное. Скоро супруги Джек и Марта с помощью нейрофизиолога Даунса и сложной аппаратуры передадут человечеству привет.

Побежал я, разумеется, не домой, а к Витьке Коровину сообщить ему о межвидовых контактах. Рассказал я ему и о споре между стариком и молодым интеллигентом.

Коровин внимательно выслушал и сказал:

— Я об этих межвидовых связях знаю немножко больше твоего старика и молодого интеллигента.

— Откуда?

— Откуда? — Витька хмыкнул носом. — От Громова.

— А откуда Громов знает? Не может же он знать все!

— Попал пальцем в небо. Громов как раз и есть тот человек, который все знает. У него налажен контакт, знаешь, с кем?

— С другими видами?

— Обыватель! — выругался Витька. — Нужны ему межвидовые связи, когда он пользуется межпланетными. Он использует археологическое открытие своего отца. Об этом открытии я пока не имею права говорить.

— Кто тебе запрещает?

— Совесть.

— Понятно, — сказал я.

— А раз понятно, так и катись колбасой. Чего пристал!

Это уж было совсем обидно, тем более, я не приставал и не расспрашивал.

— Ладно, — сказал я. — До свиданья. Пойду наведу справки насчет дельфинов.

Витька опять насмешливо хмыкнул носом:

— А у кого ты наведешь?

— У специалистов.

— А что, ты знаешь их адрес?

— В справочном киоске мне дадут адрес Громова. Он же археолог и живет на Васильевском острове.

С Витьки сразу сошла спесь.

— Не делай этого,— сказал он.— Я тебя прошу.

— Нет, сделаю. Я тоже хочу быть в курсе и все знать.

— Не делай.

— А почему мне не делать того, чего я хочу?

— Я тебя, кажется, обещал познакомить и познакомлю.

— Так ведь это не скоро. А я хочу, чтобы сейчас.

— Ладно. Завтра или послезавтра познакомлю.



Вот он стоит наконец передо мной.

— Громов,— говорит он тихо и протягивает руку.

Витька тут же. Лицо у него недовольное. Нетерпеливо он смотрит на меня, потом говорит:

— Ну, спрашивай. Ты, кажется, хотел задать Громову один вопрос?

— Не один. А много!

— Ну и задавай. Только побыстрее. Чего же ты молчишь?

— Сейчас. Пусть автобус пройдет. Сейчас я задам.

— Ну,— торопит Витька.— Автобус прошел. Задавай!

От растерянности мне не приходит в голову ни одной мысли. Я стою молча и смотрю на Громова. Он обыкновенный. Вполне. Не новое коричневое пальтишко. Серые глаза смотрят то на меня, то мимо, на автобусную вывеску. И улыбка вежливая, даже чуточку смущенная.

— Ну, задавай свой вопрос,— толкает меня Коровин.— Нам некогда. Есть дела и поважнее твоего вопроса.

Я молча стараюсь вспомнить все, что мне казалось еще недавно загадочным, но сейчас такое чувство, словно на свете нет ничего интересного и спрашивать не о чем. Витька хмурится, и я задаю вопрос:

— А на Марсе водятся люди?

— Нет, пока еще не водятся.

— Дурак! — попрекает меня Коровин.— Нашел, о чем спрашивать. Обыватель. И без того всем известно, что на Марсе нет никого. Климат не допускает...

Затем я остаюсь один возле автобусной остановки. Витька и Громов уходят. Да и зачем им терять драгоценное время? Вопрос был задан. Ответ получен. А теперь можно идти домой. Коровин был очень недоволен моим вопросом и, прежде чем повернуться, сказал мне:

— Ну, мы пошли. До завтра.

— До завтра, — ответил я унылым голосом.

Дома я решил составить вопросник, чтобы не попасть опять впросак. Я вырвал из тетрадки чистый лист и стал думать, о чем буду спрашивать Громова при следующей встрече. Знакомство все-таки состоялось. А это главное. Теперь мне посредник не нужен, особенно такой нетерпимый, как Коровин.

Вопросник я составил из ста вопросов. Но главный вопрос я все же не решился включить. Я понимал, что не деликатно спрашивать Громова об археологическом открытии его отца, раз об этом нет ничего в газетах. Но мне очень хотелось узнать об этом научном открытии. Я положил вопросник в карман, чтобы иметь его под рукой, когда в следующий раз встречу с Громовым. Витьке решил пока не показывать своего вопросника. Перед тем, как познакомить меня с Громовым, Витька предупредил, чтобы я наивных и детских вопросов не задавал. А то Громов станет меня презирать, а заодно не уважать и его, Витьку Коровина.

Достав из кармана свой вопросник, я стал проверять — не попал ли туда случайно какой-нибудь детский вопрос. Нет, вопросы показались мне серьезными, вполне заслуживающими, чтобы их задать кому угодно, даже самому Громову. Правда, один вопрос меня немножко смущал своей прямолинейностью: откуда он, Громов, знает то, чего не знает еще мировая наука?

Я безжалостно вычеркнул этот вопрос как лишний. А зря. Как раз на него-то я и получил исчерпывающий ответ. Причем очень скоро. Даже намного скорее, чем можно было этого ожидать.

12

Витька Коровин показал мне самую обыкновенную тетрадку в синей обложке с портретом Пушкина.

— Для чего? — спросил я. — Для математики или для русского?

Коровин бросил на меня взгляд, полный великого презрения.

— Ты в своем уме? Это, понимаешь, документ. Он в миллион раз ценнее тех, что хранятся в архиве. Садись, я тебе почитаю. Только сначала дай слово и повесь у себя на губах замок. Об этом документе не должна знать ни одна душа.

Я дал слово. А Витька закрыл дверь в столовую, где сидели его мать и Верочка, и стал читать из ученической тетрадки, которую он называл документом.

Про кого же он читал? Про мальчика. Если верить Витькиному документу, этому мальчику было много миллионов лет. Дело в том, что он родился в космическом корабле, летевшем на Землю с другой планеты и прилетевшем в тот геологический период, когда на Земле еще не было млекопитающих, за исключением каких-то мелких крысоподобных зверьков.

— Раз на Земле не было млекопитающих,— прервал я Витьку,— так не могло быть и ученических тетрадок. А что на другой планете точно такие же тетрадки, как в пиццебумажном магазине на Большом,— это трудно допустить. Так же, как я не могу допустить, что у них тоже был точно такой же Пушкин.

Витька со страдающим выражением лица терпеливо выслушал мою реплику, потом сказал:

— А откуда ты взял, что эта тетрадь с другой планеты? Она принадлежит Громову. Он записал в нее все, что узнал от того, кого они пока там изучают. Понял? А теперь не мешай мне читать.

Я замер от напряженного интереса. Да, речь шла о мальчике, родившемся на космическом корабле во время длительного полета и ступившем вместе со своими родителями и спутниками на Землю.

Мальчик помогал ученым, в том числе и своим родителям, давать имена и названия всему, что они увидели на Земле. Ведь до их появления на этой еще молодой планете ничто не имело ни имен, ни названий — ни реки, ни озера, ни деревья. Все было безыменным и оттого казалось немым и глухим.

Мальчик ходил и называл и записывал названия в тетрадку, которую постоянно носил с собой. Он с ней не расставался даже во сне и очень боялся ее потерять.

— Почему? — перебил я Коровина. — Разве трудно снова придумать имена и названия?

Витка даже не считал нужным ответить на мой вопрос. И я догадался, что это трудно. Ведь мальчик и его взрослые спутники не давали названий предметам произвольно, а искали сходство между словами и тем, что они выражают.

И только одно смутило мальчика, прилетевшего с обжитой и густонаселенной планеты сюда, в этот дикий мир: что здесь не было ему подобных. Взрослые дали понять мальчику, что он должен набраться терпения и обождать семьдесят миллионов лет, пока нынешние примитивные млекопитающие, постепенно эволюционируя, дадут начало разуму и появится существо, которое даст название всему, что его окружает.

— А как же с моими названиями? — спрашивал мальчик взрослых. — Разве я их давал зря?

Но взрослые не торопились отвечать на этот вопрос. Ведь они должны были вернуться на свою планету и увезти с собой имена и названия, которые они дали здешним растениям, животным, морям и рекам. Может быть, они догадывались о том, что мальчику станет грустно, он уже успел полюбить все окружающее, даже неуклюжих ящеров. И сознание, что здешний мир, неразумный и не имеющий ни малейшего представления о самом себе, снова погрузится в длительное немое и глухое существование, одно это сознание не дает ему покоя.

Впрочем, мальчик и не знал, что такое покой. Он был то вместе со своей матерью — ботаником, то с геологом отцом, то с зоологами и химиками, а иногда и с главным философом экспедиции, прилетевшими на Землю, чтобы здесь все глубоко понять, осмыслить и объяснить. Был в экспедиции и композитор, очень любивший мальчика и исполнявший ему свои произведения. Композитор больше всего тосковал по своей планете и ждал того дня, когда космический корабль, забрав специалистов и команду, возьмет курс домой, к далеким звездам. Тосковал и философ тоже, хотя и должен был скрывать свою тоску от всех и прежде всего от сурового командира космического корабля, никогда не простившего бы философу его слабости. Кому-кому, а философу нельзя тосковать, ведь его специальностью была мудрость и глубокое понимание всего окружающего, и он должен быть таким же мужественным, как командир космолета, если не больше. Но философ однажды признался мальчику, что он очень скучает по

семье, оставшейся на родной планете, и во сне часто видит свою жену и детей. И мальчик сказал философу:

— Познакомь меня со своим сыном, когда мы вернемся домой.

— Сын к тому времени станет пожилым человеком, а я — глубоким стариком, если доживу. До дома очень далеко — несколько десятилетий.

— Я ведь родился на корабле, — напомнил мальчик.

— Знаю, — улыбнулся философ, — я же держал тебя маленького на руках. А позже рассказывал тебе сказки. Разве ты забыл?

— Помню, — сказал мальчик. — Но ты рассказывал очень трудные философские сказки. И я их не понимал, хоть и слушал.

Философ рассмеялся.

— Я забывал о том, что ты можешь не понять, но теперь ты, кажется, все понимаешь?

— Нет, не все, — ответил мальчик. — Сколько я ни думаю, я не могу понять, как будет жить Земля, когда мы улетим.

— Так же, как жила до нас, — сказал философ.

— Значит, все опять станет не названным?

— Почему? Мы же увезем с собой карты и записи. И не только ученые, но даже школьники в наших школах будут стараться запомнить все эти названия и имена.

Школьники! Как завидовал им мальчик! Ведь он родился на космическом корабле в пути, и ему ни разу не удалось побывать в школе вместе с другими детьми, своими сверстниками. И сверстники и школа были так далеко, что даже трудно себе представить. Но мальчик мысленно видел себя там, на планете своих родителей, там и одновременно тут. И его удивляло то совсем уж не такое удивительное обстоятельство, что его мысль в состоянии связать и соединить два таких разных и далеких мира.

Однажды мальчик спросил своего отца:

— Ты не знаешь, мы скоро покинем эту планету?

Отец улыбнулся и ответил:

— Это зависит и от тебя тоже.

— От меня? — удивился мальчик.

— Ты же ведь не все назвал из того, что мы здесь видим и встречаем. Множество видов растений и животных, множество минералов ждут, когда мы наречем их и запишем их названия.

Отец, разумеется, шутил. Экспедиция вовсе не собиралась изучать на Земле все, для этого потребовалось бы слишком много времени.

А время шло, такое быстрое для мальчишка и замедленное для взрослых. Один очень старый человек занемог и очень скоро пришел к своему концу. Он лежал отсутствующий, и только тело пребывало здесь, оболочка того, что недавно было живым.

Самая страшная из тайн открылась мальчику — тайна смерти.

Потом старика похоронили возле деревьев, которые еще не имели названия. И философ сказал речь.

Умершего философ хвалил за его добрый характер, за ум, за знания, за мужество, проявленное в годы долгого путешествия в космосе, и за то, что он много сделал для науки еще до того, как сел в космический корабль. Что касается смерти... Видно, философ очень ее уважал, а может, даже и боялся. Он говорил о ней почтительно, неопределенно и тихо, словно она стояла тут рядом и прислушивалась, что о ней скажут.

А потом исполнил свою грустную песню композитор. Песня была, разумеется, сильнее тех слов, которые сказал философ об умершем и о смерти. Мелодия была прустная и светлая. И мальчик сразу забыл о смерти, которая стояла рядом и ревниво прислушивалась, что о ней скажут.

Витька закрыл тетрадь, как и следовало от него ожидать, на самом интересном месте.

— А дальше что? — нетерпеливо спросил я.

— Дальше? — ответил Коровин. — Спроси об этом Громова. Я здесь ни при чем. Видишь, кончилась тетрадка. А другую он мне не дал. Видно, не успел переписать.

13

Когда я вышел от Витьки, моросил дождь. На углу возле киоска под дождем стояла очередь, ожидавшая «Вечерку». Впереди всех стоял рыжеусый старик, за ним Агафоновичев, специально приехавший со Средней рогатки, а за Агафоновичевым молодой интеллигент. Они мокли под косым и нудным ленинградским дождем на холодном ветру, очевидно, надеясь, а может, даже и рассчитывая узнать

что-нибудь еще о языке и мышлении дельфинов или о сигналах из другой галактики.

Рыжеусый старик в старомодной раскидайке очень прордог и мог даже простудиться и умереть от воспаления легких. А мне было хорошо, и не только от того, что я убежал из теплой квартиры, а от веселой мысли, что мне не надо стоять под дождем и ждать «Вечерку», в которой, может, ничего нет интересного, кроме объявлений о разводах. А хорошо мне было еще и потому, что я знал, кому сигналит и кто живет в таинственной квартире Громовых.

Сильное желание похвастаться овладело мной, и я остановился. Но потом я вспомнил, что Витька читал мне тетрадь под большим секретом, и прикусил себе язык.

Агафонычев и старик о чем-то спорили, а интеллигент стоял задумчивый, стройный и очень красивый, напоминающий рисунок из старинной книги.

Я так и оставил их стоять под дождем, а сам побежал домой. Часа полтора я просидел, решая задачи, которые почему-то плохо решались, потом в комнату пришла мать с кухни и сказала строго:

— Сбегаешь за хлебом в булочную. Только оттуда сразу домой.

Дождь еще моросил. На углу возле киоска по-прежнему стояла очередь. Интеллигент стоял молча, в красивой позе. А старик в разлетайке и Агафонычев вели научный спор не столько для того, чтобы выяснить истину, а для того, чтобы не обращать внимания на плохую погоду. Я почувствовал глубокое уважение ко всем, кто так долго стоял в очереди, рискуя здоровьем ради того, чтобы удовлетворить свою любознательность, и особенно к старику в разлетайке, который от холода весь посинел и прордог.

Забыв про булочную и про приказание матери не задерживаться на улице, я тоже стал в очередь, недалеко от красивого интеллигента, чем-то похожего на Лермонтова, Гоголя и даже на Шекспира.

Для чего и почему я остановился? Не знаю. Во всяком случае, не из-за «Вечерки» и дефицитных изданий. Спор старика с Агафонычевым тоже меня мало интересовал. Просто мне хотелось поделиться с ними тем, что я узнал из громовской тетрадки. Ведь такого интересного сообщения они не узнают из дефицитных изданий, приложений и журналов, которых они ждут. Очень мне хотелось рас-

сказать им хотя бы самую малость, но я помнил слова Витьки насчет замка, который надо повесить. Конечно, я бы мог взять с них слово, но все равно это было бы нечестно. Потом я поборол себя и свою слабость и пошел в булочную. Дойдя до булочной, я чуть было не вернулся, так хотелось поделиться тайной. Я постоял возле дверей, и одна тетка уронила из-за меня пеклеваный хлебец в лужу, и я думал, что она меня обругает, а она вернулась и купила другой, а этот оставила валяться в луже.

Придя домой и отдав матери хлеб, я сразу стал себя уважать за то, что никому ничего не сказал. Я был очень доволен своим хорошим поступком. И я подумал про себя, что я именно тот самый человек, которому можно доверять тайны, и Витька во мне не ошибся.

Ничто так не делает человека счастливым, как уважение к себе. А я редко уважал себя, потому что было не за что. А сейчас мне казалось, что я достоин уважения Витьки, Громова и даже того мальчика, который родился на космическом корабле.

Так вот уважая себя, я пришел в школу и сел на свое место, где сидел всегда. Ребята все тоже сидели на своих местах, кроме Перепелкина, который заболел свинкой. Они все тоже, наверное, чувствовали к себе уважение, хотя, я уверен, будь они на моем месте, они бы вчера не удержались и открыли бы тайну.

Историю преподавала новенькая. Ее звали Тамара Николаевна. Она хоть и недавно окончила Пединститут имени Герцена, но очень много знала и страшно любила, когда ей задавали трудные вопросы. Я подумал: не задать ли ей трудный вопрос и не спросить ли ее о том далеком времени, про которое читал мне Витька из неоконченной тетради? Но только я хотел было ее спросить, как вдруг поднимает руку Витька и задает Тамаре Николаевне вопрос, от которого у меня вдруг закололо под ложечкой.

— Кто первый дал, — спросил Витька, — названия всем вещам и предметам?

Учительница тряхнула стриженной головой, и глаза у нее заблестели, так ей понравился Витькин вопрос. У нее всегда блестели глаза, когда ей задавали трудные вопросы.

— Названия и имена, — ответила она, — стали давать наши далекие предки еще в те доисторические времена,

когда начал складываться язык. Садитесь, Коровин.

Но Витька не сел, видно, не совсем удовлетворенный ответом.

— А как же нам теперь быть, раз почти все на свете названо? — спросил Витька. — Повторять чужие, не нами изобретенные слова?

— Вы ошибаетесь, Коровин, — сказала Тамара Николаевна, — мир слов и имен не остановился в своем развитии. Но теперь, чтобы человеку что-нибудь назвать, нужно совершить открытие: обнаружить новую звезду или открыть еще одну элементарную частицу. Вот вырастаете, станете физиком или химиком, откроете новое явление и дадите ему свое название.

Витька нахмурил брови и сел с огорченным выражением.

Он, видно, не очень-то верил, что откроет звезду или элементарную частицу.

Я тоже очень огорчился и подумал: хорошо было нашим далеким предкам, когда самые обычные деревья и даже плоды и ягоды никак не назывались. Но Тамара Николаевна угадала мою мысль и сказала:

— Не думайте, ребята, что нашим далеким предкам легко давались имена и названия. Они, как современные физики, открывали каждую новую вещь, платя за это трудом, здоровьем, а иногда даже и жизнью.

14

Хватило бы у меня силы волп заплатить своей жизнью за то, чтобы назвать предмет, еще никем не названный? Нет, думаю, что не хватило бы, хотя точно сказать не могу. Пока у меня были другие заботы, может, и поважнее названий. Слишком много и часто я думал о мальчике, тайна жизни которого чуть приоткрылась — и закрылась на самом интересном месте.

— Ну, а когда будет продолжение? — спрашивал я Витьку.

— Может, и никогда, — ответил мрачно Коровин. Он в последние дни стал каким-то невеселым и постоянно хмурился и даже не фыркал носом.

— Почему же никогда? Я хочу, чтобы это было скоро. И Витька делал вид, что ему скучно. А скучно ему

вовсе не было. С тех пор как в него попала папуасская стрела, он потерял всякое понятие о скуке. Но что-то с ним все-таки случилось. Зря хмуриться он бы не стал. Может, разладилось у него с Громовым? Это вполне возможно. Громов слишком много знал, а Витька знал пока еще не очень много, но был самолюбив, и они, в конце концов, могли поссориться.

Как-то, возвращаясь с матерью из кино «Свет», где мы смотрели очень интересную картину про слонов и зебр, а затем про знаменитого художника Айвазовского, я увидел Витьку. Он стоял с тем самым интеллигентом, который был немножко похож на Лермонтова, Гоголя и даже на Шекспира. Витька что-то рассказывал этому стройному высокому красавцу, а тот вдруг вытащил из бокового кармана записную книжечку, что-то записал в ней и сказал:

— Отлично! Великолепно! Чудесно! Я наведу справку.

В это время Витька оглянулся, увидел меня и мою мать и почему-то очень смутился.

— Здравствуй! — сказал я.

Но Витька не ответил. А молодой красивый интеллигент вежливо поклонился моей матери и мне, хотя и не был знаком с нами.

— Кто это? — спросила меня мать тихо.

— Шекспир, — ответил я. — А может, и Гоголь. Разве ты не заметила, он даже очень похож.

Но мать отрицательно покачала головой, не найдя никакого сходства.

— Наоборот, — сказала она. — Он скорее похож на Айвазовского, которого мы только что видели на экране.

— Айвазовский был глубокий старик.

— Не всегда же он был глубоким стариком.

Я задумался. В словах матери была истина, но в нее почему-то не верилось. Великих людей всегда представляешь такими, какими они бывают на портретах, в книгах или на экране кино.

Потом я стал думать о молодом красивом интеллигенте и его загадочном обещании навести справку... Странно, что Витька обратился к нему за справкой. Витька ведь не любил таких стройных красавцев и называл их стилистами и даже тунеядцами. Видно, уж очень большая нужда была у Витьки в этой загадочной справке, раз он поступил своими принципами.

Я решил ни о чем не спрашивать Витьку. И правильно поступил. Витька сам рассказал мне спустя несколько дней. Он даже признался мне, что поссорился с Громовым. Дело в том, что Громов отказался дать Витьке продолжение про мальчика. Почему? Громов не стал объяснять. Может, случайно узнал громовекий отец и напомнил сыну, что исследование еще не закончено и разглашать посторонним научную тайну еще преждевременно. Короче говоря, Громов простился с Витькой на лестнице перед дверью, а в дом его и на этот раз не пригласил.

Витька, я уже упоминал, был самолюбив. Он решил, что Громов стал много воображать и задаваться. А задавал он не любил еще больше, чем стилинг. А тут интеллигент подвернулся. Он, оказывается, давно разыскивал Витьку — узнать от него подробности о стреле и по чьей вине выстрелил экспонат. Витька, конечно, не стал обвинять ни администрацию, ни скульптора, ни великого путешественника Миклухо-Маклая, а всю вину взял на себя. Красивому интеллигенту очень понравилась Витькина скромность. Они подружались, и интеллигент познакомил Витьку со своей коллекцией. Коллекционировал он разные редкие и маловероятные случаи, делая вырезки из приложений и дефицитных изданий, а также собирал приключенческие книги и статьи про телепатию и телепатов. Все это носило, по словам Витьки, строго научный характер, хотя интеллигент ученым еще не был и работал пока в райстрахе, занимался страхованием частного имущества и даже жизни.

Собственно, это самое обстоятельство, что красивый интеллигент, похожий на Айвазовского и еще на кого-то, вовсе не был стилигой, а занимался тем, что страховал чужую жизнь, — это обстоятельство вселило в Витьку уважение к своему новому знакомому. Витька знал, как трудно застраховать чужое имущество и особенно жизнь, и я тоже. Однажды к нам пришла женщина, она была очень ласковая и внимательная и долго убеждала мою мать застраховать что-нибудь из имущества. Мать только улыбалась и отрицательно качала головой, но когда женщина предложила моей матери застраховать жизнь, мать рассердилась.

Я тогда не совсем понял, почему мать рассердилась на это предложение. Мне оно показалось очень заманчивым.

Витьке, видно, очень правилось, что у его нового знакомого такая редкая профессия. А может, он думал, что этот человек знает какую-то тайну и действительно может застраховать чужую жизнь от непредвиденного случая, болезни и других влияний теории вероятности и закона больших чисел. Короче говоря, Витька Коровин, который никогда не боялся несчастных случаев, а наоборот, — Витька стал копить деньги, чтобы застраховать свое имущество и жизнь.

Огорчало меня не это. Огорчало то, что Коровин променял Громова, а значит, и космического мальчика на этого человека, совершенно случайно имевшего небольшое сходство с великим художником Айвазовским, Шекспиром и еще с кем-то. Вот что значит самолюбие и гордость, а также обида.

Я хотел задать Коровину один вопрос, но воздержался, учитывая его болыне самолюбие. Что было бы, если на одну чашку весов поставить Громова с его необыкновенным мальчиком, а на другую этого человека, немножко похожего на Айвазовского, но не умеющего рисовать? Нет, я не задал этого вопроса Витьке, не желая ставить его в трудное положение.

15

Передо мной снова была тонкая тетрадка с Пушкиным на обложке, но в этот раз держал ее в руках не Витька, а сам Громов. Громов мне и читал вслух про мальчика.

Да, мальчик неплохо чувствовал себя на Земле. Тут у него было что-то вроде каникул. Но потом кто-то из взрослых вспомнил, что каникулы слишком затянулись, и мальчику пришлось приступить к своим обязанностям ученика.

Чтобы ему было не очень скучно одному и было с кем соревноваться, ему придали два немножко странных существа с милой детской внешностью, вполне разумных, хотя и сделанных из больших искусственных молекул. Соревноваться мальчику с ними было нетрудно, потому что оба существа делали ошибки и не успевали по всем предметам, кроме пения, черчения и математики.

Один из них иногда путал женский род с мужским, а другой еще хуже — забывал начало или конец некото-

рых слов. Но зато по пению, черчению и математике за ними было никак не угнаться, и мальчику приходилось напрягать все усилия, чтобы как-нибудь не остаться позади этих веселых и вполне разумных существ, кажется, не мужского и не женского, а только среднего рода.

Оба они были довольно забавные и особенно тот, который забывал начало или конец некоторых слов.

Скажет, например, «здра» и ждет, когда тот, с кем он здоровается, добавит «вствуй». Но ведь есть слова и потрудней, чем слово «здравствуй», и чьи окончания не сразу приходят в голову.

— Ок... — скажет он.

А мальчик уже спешит добавить:

— Но.

— Да, да, окно! Благодарю! Но я хотел сказать не окно, а окончить. Вспомнил!

Ошибающийся робот необычайно радовался, обретая потерянный слог и при помощи его снова находя утерянную связь с миром.

Обращаясь с этим Заикой, то и дело теряющим концы и начала слов, мальчик научился ценить речь, смысл и живую форму слова. Он, конечно, догадался сразу, что оба неуспевающих отставали не по своей вине и что их неуспеваемость была запрограммирована техниками и инженерами экспедиции. Но чтобы не огорчать взрослых, мальчик делал вид, что он верит в лень и нерадивость своих новых приятелей.

Инженерам и техникам захотелось сделать еще один сюрприз. Из таких же больших искусственных молекул они создали еще одного ученика и посадили его за парту рядом с мальчиком. Мальчик подумал: вот еще один неуспевающий, сейчас он начнет ошибаться, и мне станет его жалко. Но искусственный новичок-школьник, как ни странно, ошибаться не торопился, а, наоборот, успевал по всем предметам, да еще как! И мальчику скоро пришлось пожалеть, но не его, а самого себя. Учителя начали ставить ему в пример этого всезнайку. Всезнайка оказался не только всезнайкой, но и выскочкой тоже. Он то и дело поднимал руку и кричал:

— Спросите меня! Он не знает! А я знаю!

И он, действительно, знал. Этого у него не отберешь.

Так текла жизнь мальчика на молодой знойной планете, где слишком длинные и неуклюжые ящеры жили,

не подозревая, что их сменят более стройные, красивые и ловкие животные, которые, как это ни удивительно, произойдут от мелких крысоподобных соседей ящеров. А в конце концов придет черед и для разумных существ. Таким образом, мелкие крысоподобные уродцы окажутся предками высокоразумных стройных красавцев.

Мальчик верил в это и не верил. А искусственный новичок Всезнайка дразнил мальчика на переменах, что у него, у мальчика, тоже были такие же несолидные и некрасивые крысоподобные предки. Сам же новичок очень гордился, что у него не было никаких предков и он возник вдруг, ничего не продолжая и ни на кого не опираясь, почти как чудо.

Мальчик много думал и пришел к мысли: нет ничего плохого, что у него, у мальчика, было много предшественников, в том числе и не очень красивых. Он был сын времени и природы, а не был сделан из искусственных молекул, как Всезнайка, который появился только благодаря капризу техников и инженеров. И вдруг мальчику стало жалко Всезнайку, родного сына прихоти и искусства инженеров. Он сам не мог понять своего чувства жалости к существу, которое в этом не нуждалось.

Да, так текла жизнь на чужой планете, которую всем скоро предстояло покинуть.

Разумеется, все этому были рады: команда, члены экспедиции, философ, композитор, родители мальчика и даже, кажется, сам строгий командир космического корабля, так хорошо умеющий прятать свои чувства. Но мальчика удивило, что больше других был рад успевающий по всем предметам ученик, тот самый, который нигде и никогда не родился, а был создан из искусственных молекул. Мальчик сначала не мог объяснить самому себе причину радости Всезнайки, но потом догадался. Всезнайка появился недавно и не успел здесь, на Земле, ничего полюбить и ему не придется ни о чем тосковать. Мальчику же было очень грустно покидать Землю, где он сам вместе со взрослыми давал названия всему — деревьям, зверям, горам, речкам и озерам. Космолет оторвется от гравитационного поля Земли и улетит в свои далекие и давно покинутые края, а здесь, на онемевшей планете, не останется ни глаз, ни ушей, а главное губ, способных хотя бы шепотом произнести какое-нибудь имя и название.

Сознание этого непреложного обстоятельства очень

мучило мальчика, и он мысленно видел как бы издали Землю, погруженную в жуткое молчание неразумной и слепой жизни.

Как выяснилось позже, об этом думал не один мальчик, а взрослые тоже. И на одном совещании, где, конечно, присутствовали только взрослые, было решено оставить на Земле существо, сделанное из искусственных молекул, того самого ученика, который усевал по всем предметам благодаря заложенной в нем программе. Мальчик узнал об этом от композитора.

— А почему именно его? — спросил мальчик.

— У него хорошая память и, кажется, отличные способности, — стал объяснять композитор. — Он без ущерба для своего искусственного организма-механизма сможет прожить много миллионов лет в земных условиях, а затем передать информацию разумным существам, которые здесь неизбежно должны рано или поздно появиться.

— Но ведь он не умен, хвастлив и бездумен, — сказал мальчик.

— Что делать, — возразил композитор, — те, у кого душа, к сожалению, не могут жить миллионы лет. Кроме того, судьба у него незавидная — пребывать здесь в одиночестве столько длинных тысячелетий.

Наступила пауза, мальчик смотрел на композитора и думал о его словах.

— А что бы ты предложил, если бы присутствовал на совещании? — спросил мальчика композитор.

— Не знаю, — ответил мальчик. — Уж лучше послать тех двух, которые успевают только по пению, черчению и математике.

— Шла речь и о них, — сказал композитор. — Выяснилось, они не только не успевают, но и ошибаются. Один путает мужской род с женским, а другой забывает начало и концы многих слов.

— Зато они добрее, — заступился мальчик.

— Нет! Нельзя! Еще ошибутся и подведут.

— Но те разумные существа, которые здесь появятся, — настаивал мальчик, — наверное, будут великодушны и простят им их маленькие неточности и ошибки.

— Нет, понимаешь, неудобно. А главное, смешно.

— А разве это так уж плохо? Пусть немножко поспеются. Станут еще добрее.

— Ты еще мал и многого не понимаешь. Мы не можем

допустить, чтобы нашу цивилизацию представлял здесь заика. А потом попробуй, расшифруй инопланетный язык, когда многие слова без окончаний и без начала.

16

Громов вдруг замолчал.

— Что, тетрадка кончилась? — спросил я.

— Да, кончилась, — сказал Громов.

— Но ты, наверное, без тетрадки знаешь продолжение. Кого же все-таки послали — Заика, того, который путал женский род с мужским или этого успевающего по всем предметам Всезнайку?

— А ты бы кого послал, если бы был на их месте?

— Не знаю. Во всяком случае, не Всезнайку. Скорей бы Заика, его запканье большого вреда не причинит.

— Но согласишься, что дешифровать было бы в сто раз труднее.

— Это верно, но кого же послали — Всезнайку или тех, кто делал ошибки и не успевал?

— Нет, не их.

— А кого?

— Меня, — сказал Громов тихо, почти шепотом.

Я посмотрел на Громова. Обыкновенный школьник. Даже слишком обыкновенный. Только прядка седая над самым виском. Но поседел Громов, по словам Витьки, не от горя, трудной жизни и других переживаний, а с этой седой прядкой прямо появился на свет. Она у него с того времени, как он родился и даже раньше.

Громов не улыбался. Лицо у него было серьезное, как у того мальчика, про которого он только что читал. Но он же и был тот самый мальчик, если я не ослышался и мне не показалось.

Казалось, чего бы проще — взять и переспросить. Но я почему-то постеснялся, упустил момент. Я всегда упускал момент, а потом ругал себя за это. Но я не переспросил и потому, что, кажется, в эту минуту поверил. Сомнение у меня возникло позже. Сразу же после того, как Громов взял свою тетрадь и ушел.

Ушел он как-то незаметно, встал, простился и закрыл за собой дверь. Я подошел к окну и ждал, когда он спустится с лестницы, чтобы увидеть его на улице. Почему-то

я думал, что не увижу. Но я увидел и даже немножко удивился. Он шел не спеша к трамвайной остановке. Потом подошел трамвай, он сел с задней площадки и через стекло я даже видел, как он опустил в кассу монету и оторвал себе билет.

Потом я долго думал: в чем же я, в самом деле, сомневался? В существовании Громова или в том, что он и тот необыкновенный мальчик одно и то же лицо? Мне стало даже смешно. Можно ли было сомневаться в существовании Громова, который только что сидел у меня в бывшей детской? Нет, нельзя.

А в том, что он и мальчик, прилетевший на Землю в меловой период, одно и то же лицо? Можно.

Так ответил кто-то, сидевший во мне.

И сразу же привел довод, веское доказательство. Разве мог существовать десятки миллионов лет этот мальчик с седой прядкой, неизвестно как и почему ставший Громовым, обыкновенным советским школьником с Васильевского острова? Такой ехидный вопрос задал мне мой собственный рассудок, в эту минуту словно отделившийся от меня.

Он еще много задал мне разных коварных вопросов, и, затаившись, ждал, что я ему отвечу.

А что я ему мог ответить? Я очень хотел, чтобы Громов был тем самым мальчком, вопреки всему. Но как я мог доказать, что это он? На моей стороне не было никаких научных доказательств, кроме одного — доверия к Громову:

А рассудок наступал, буквально не давая мне покоя. Приводил одно доказательство за другим, и все против меня, Громова и мальчика с другой планеты.

Где было искать союзника в споре с самим собой? Во всяком случае, не в нашей семье. Отец сразу бы высмеял, мать сказала бы, что ей некогда, надо гладить белье и следить за тем, чтобы не убежало молоко на газовой плите, а двоюродный брат Володя был математик и как дважды два доказал бы мне, что не было и не могло быть никакого мальчика. И взяв бумажку, Володя подсчитал бы, что по теории вероятности для такого случая у Земли и солнечной системы не хватило бы времени. Володя уверял, что в мире все возможно, если располагать достаточным временем. Но вот беда, наша Земля и вся солнечная система находятся в беспрерывном цейтноте.

Так я был предоставлен сам себе в споре с таким ловким противником, как рассудок. А на другой день, встретившись в школе с Витькой, я рассказал ему все, не исключая признания Громова. Но Витька выслушал меня без большого интереса. На Громова он был очень обижен и считал его зазнайкой. С тех пор, как в Витьку попала стрела, он стал очень обидчивым и требовал от всех, чтобы его все уважали и признавали его заслуги. Выслушав меня, Витька сказал:

— Обыватель! Неужели тебе неизвестно, что наука никому не верит на слово и даже на честное. Она требует проверки и неоспоримых доказательств.

— Но это же Громов сказал! А он врать не будет.

Витька посмотрел на меня с презрением и хмыкнул носом.

— Громов? А что для науки Громов? Пустой звук. Она и великим людям не верила на слово — Ньютону, Дарвину, Эйнштейну и требовала от них доказательств.

— Но если Громов и тот мальчик одно лицо, то и Дарвину до него далеко вместе с Ньютоном.

Витька посмотрел на меня, как мне показалось, с жалостью, а потом отвернулся. Только перед самым звонком он сказал:

— Дарвин доказал, что мы происходим от обезьяны, Ньютон открыл уйму всяких законов, а твой Громов что сделал?

— Сумел прожить много миллионов лет. Этого не сумел бы, наверное, даже твой Дарвин вместе с Ньютоном.

— Обыватель! Да это же не Громов прожил, а тот, которого нашли и теперь изучают...

— Мальчик-то? Так это же Громов и есть.

— И ты в это веришь? Без всяких доказательств? На честное слово? Мракобес!

Меня страшно испугало это слово. И откуда только Коровин его выкопал, уж не из своих ли справочников и энциклопедий? И что это означает по смыслу? Наверное, что-нибудь очень плохое. Мне вдруг показалось, что это слово приклеилось ко мне. Есть такие слова, которые приклеиваются к человеку на всю жизнь так, что и не отодрать.

Во время урока я все время мысленно спрашивал себя: неужели я мракобес? И почему? Только потому, что по-

верил Громову. Но это же не от меня зависело, что я поверил. Да и как я мог не поверить? Уж очень он похож на мальчика, про которого читал.

Когда мы вышли вместе с Коровным из школы, он все время молчал и с жалостью смотрел на меня. Потом я не выдержал, попросил его тихо:

— Слушай, возьми это слово обратно.

— Какое?

— Мракобес.

— Нет, не возьму, — сказал Витька.

— Возьми, пожалуйста, — просил я. — Ну, возьми. Раз-ве это трудно?

— А ты осмысли свое поведение и осуди его. Тогда возьму это слово обратно.

— Я не вижу в своем поведении ничего плохого.

— Ну, до завтра, — сказал Витька. — Придет время, ты осудишь.

17

Время шло, а я себя еще не осуждал. Не то, чтобы мне не хотелось осуждать себя, а дело было сложнее. Витька, собственно, добивался, чтобы я осудил не только себя, но и Громова. В этом была его главная цель.

Себя я осудить еще мог, но Громова мне что-то мешало. Не знаю даже, что мешало, не отдаю себе отчет. Я, конечно, понимал, что название «мракобес» относилось не только ко мне, но и к Громову, на которого за что-то рассердился Витька.

До поры до времени я был намерен молчать и выжидать, как пойдут события дальше. Чего-то выжидал и Коровин тоже. Однажды на улице, в присутствии Девяткина и Десяткина он бросил на меня рассеянный взгляд и, сплюнув, небрежно спросил:

— Ну как, осудил или еще не осудил?

— Кого? — притворился я, что не понимаю.

— Известно кого, — ответил Витька. — Не Дарвина же с Ньютоном, а того, кто верит в разные антинаучные факты.

Я промолчал.

Витька еще раз сплюнул.

— Так осудил или не осудил?

— Не осудил.

— Обыватель! — обругал меня Коровин. — Мра-ко-бес.

Оба — Девяткин и Десяткин — заготовили на всю улицу. Даже шедшая мимо старуха оглянулась и рассмотрена на меня, незнакомая некрасивая старуха с пустым ведром и авоськой, в которой лежал хлеб и сардельки. И она тоже рассмеялась. Значит, все слышала и поняла.

Я не знал, куда деться от стыда. В горле вдруг пересохло и запершило, защемило под ложечкой. И я пошел, не глядя ни вперед, ни по сторонам. Когда я отошел и потерял их из виду, вдруг внезапный голос, находящийся где-то внутри меня, тихо сказал:

— Ну, и осуди. Подумаешь, что тебе это — трудно, что ли? Скажи Коровину, что ты осознал свою ошибку. И он перестанет называть тебя мракобесом.

Но я не внял совету этого голоса. Потому что мне показалось, что это не я сам себе советую, а Девяткин с Десяткиным или даже та старуха с пустым ведром, которая рассмеялась. Уж не знаю почему, но мне так показалось. И я себя не осудил. И Громова тоже. Решил немножко обождать, хотя бы неделю. За неделю много воды убежит, и, может, Коровин отстанет.

Прошла неделя, и мне не пришлось себя осуждать. И Громова тоже. События приняли неожиданный оборот. Громов встретил меня в «Доме книги» на Невском и пригласил зайти к себе.

Когда я вошел в квартиру Громовых, там очень вкусно пахло. Мать Громова жарила корюшку. Запах корюшки настроил меня на веселый лад. И на минуту я даже забыл о загадках, связанных с таинственной квартирой Громовых и с мальчиком с другой планеты. Вкусный запах корюшки напомнил о чем-то другом, очень земном и обыкновенном, а не о другой планете, словно вообще не было никаких планет, кроме Земли.

Громов угостил меня корюшкой. И сам тоже съел несколько рыбок с аппетитом. Квартира была большая, но в другие комнаты меня Громов не завел, а только к себе в бывшую детскую.

Когда мы съели корюшку, я вдруг спросил:

— А правда ли, что ты и тот мальчик одно лицо?

— Почти, — сказал тихо Громов.

— То есть как почти? — сказал я. — Одно или не одно?

А почти тут ни при чем.

— Почти одно,— сказал так же тихо Громов.

Я посмотрел на него. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное на какой-то глубокой и не ясной для меня мысли, как у того мальчика, о котором шла речь.

— Объясни, пожалуйста,— попросил я.— Я не понимаю. Меня Витька мракобесом называет и обывателем.

— За что?

— Все за это. За то, что я поверил тебе на слово. А наука, говорит он, не имеет права никому верить, даже на честное слово.

— Но ты же не наука,— сказал Громов.

— Все равно, я тоже не имею права верить. А я поверил. И за это Витька называет меня обывателем и даже мракобесом!

Громов улыбнулся.

— Ты, видно, очень не хочешь быть обывателем и мракобесом.

— Не хочу,— кивнул я.

— А чего же ты хочешь от меня?

— Хочу, чтобы ты предъявил доказательства и факты.

— Документ, что ли, хочешь от меня получить, что я и есть тот мальчик?

— Не документ. Зачем? — сказал я.— Но хоть что-нибудь. Какой-нибудь пустяк. И я поверю. Я и так верю, но Витька не хочет. А надо, чтобы верили все.

— Скоро все поверят,— сказал Громов.

— Когда? — спросил я.

— Когда мой отец и его сотрудники опубликуют все, что связано с археологической находкой.

— Но ты же не археологическая находка. Ты его сын. И ты не тот мальчик...

— Я почти он.

— Объясни. Ты мне обещал.

— А ты с теорией информации знаком?

— Плохо. У нас в школе не проходят.

— А у нас проходили.

— Где у вас?

— На космическом корабле, а потом на Земле в меловой период, где меня учили вместе с Зайкой и Успевающим.

— Так ведь разве это был ты?

— Почти.

«Почти»? Я раньше не придавал никакого значения

этому слову, считал его чуть ли не самым последним в русском языке. Но сейчас мне это слово казалось особенным и таинственным, как сам Громов. «Почти»... Это слово соединяло Громова с мальчиком, а через Громова и меня. Необыкновенное это было слово. Но тут я вспомнил о Витьке, а заодно и о Девяткине с Десяткиным, гогочущих на всю улицу, и я спросил Громова:

— Если ты почти он, то ты, то есть он, должен помнить названия, которые дали пришельцы земным деревьям, рекам, зверям?

— Он помнит,— сказал тихо Громов.

— А ты?

— Я тоже.

Тогда я показал в окно на клен, росший возле самого тротуара, и спросил:

— Как называлось на их языке это дерево?

— Никак,— ответил Громов.— В меловой период на Земле еще не было таких светлюбивых растений. Они появились позже.

Я смутился и покраснел, словно уличил меня в невежестве не Громов, а сам мальчик. Но Громов, кажется, не обратил внимания на мою ошибку. Он даже не улыбнулся. Глаза его смотрели на меня внимательно и дружелюбно. И я подумал, что мальчик тоже вел бы себя на его месте так же дружелюбно.

— Ну, а небо,— спросил я,— оно же было всегда, как по-ихнему небо?

— Никак,— ответил Громов.

— Как же никак? Ведь небо же было и в меловой период?

— Не было,— ответил Громов.— Ни тогда, ни сейчас. Ведь «небом» мы называем то, что нам кажется, но чего нет на самом деле. А в их языке существовали названия только для того, что существует на самом деле.

Я смутился еще больше. И уже вопросов задавать не стал. Уж очень не хотелось мне опростоволоситься еще раз. Да и сомнения возникли — существовала ли тогда хоть одна вещь, которая существует сегодня?

Так ничего и не узнав, я ушел от Громова домой.

Опять моросил дождь. А на нашей улице, как я только сошел с трамвая, полил ливень. Пешеходы все испугались и стали нырять в чужие парадные, а я шел, не обращая внимания на дождь.

У меня не только с людьми, но и с вещами были хорошо налаженные отношения. И все это было, наверное, потому, что я не задумывался об их происхождении. А после разговора с Громовым я стал задумываться о многом. А главное, мне очень хотелось изучить язык, на котором говорил мальчик и его родители. Ведь в этом языке не было слов и названий для тех явлений, которые нам только кажутся. Это был очень точный и очень умный язык.

Я чуть не проговорился Витьке о своем желании, но вовремя спохватился. Витька сказал бы мне:

— По английскому только что схватил двойку. Тебе ли изучать инопланетные языки?

Витька после того случая, когда я его увидел в очереди вместе со стариками и стройным интеллигентом, ходил смущенный и даже не заговаривал. Но однажды после уроков не удержался и спросил:

— Ну, как? Осудил или не осудил?

— Нет еще, — ответил я. — И вообще не собираюсь.

— Осудишь, — сказал уверенно Витька.

— Когда?

— Когда в тебе пробудится долг и сознание.

И тут Коровин стал меня просвещать и рассказывать про Джордано Бруно и еще про кого-то, кто боролся с суеверием и за это сторел на костре. Рассказывал он долго, потом спросил:

— Ну, как, пробудилось в тебе сознание или еще не пробудилось?

— Не пробудилось, — ответил я.

Но Витька на этот раз проявил выдержку и терпение и ни разу не обругал меня ни обывателем, ни мракобесом. Тут я рассказал ему о своей последней беседе с Громовым и о необыкновенном слове «почтп» и о языке мальчика.

Коровин выслушал меня и сказал:

— А доказательства? Где они? Может, все это выдумки и сказки? А потом, что значит это «почтп»? Самое приблизительное и неточное слово. А ты же только что говорил, что у них даже для неба нет названия, потому что небо только кажется, а на самом деле его нет.

Трудно разговаривать с Витькой, а особенно спорить. Того и гляди, попадешь в расставленную им ловушку. Вот я, кажется, и попал.

— «Почти», — передразнил меня Витька. — Тогда я почти Наполеон, а ты изобретатель радио профессор Попов. А на самом деле? На самом деле мы обыкновенные школьники. И Громов тоже школьник, но воображает...

— Зачем ему воображать, он живет в одной квартире с необыкновенной находкой...

— Еще неизвестно, — перебил меня Коровин, — что это за находка и существует ли она? Об этом несчастном плезиозавре, о сигналах из другой галактики, о пришельцах и об умственной деятельности дельфинов тоже много писали. А ведь не подтвердилось.

— А тут подтвердится, — сказал я. — Уверен, что подтвердится, и очень скоро. Честное слово.

— Честное слово? — переспросил Витька. И на лице его я увидел такое выражение, какого еще никогда не видел. Смесь торжества и полного бесповоротного презрения.

— Извини, — спохватился я. — Я, кажется, не так выразился.

— Не-е-ет. Именно так, как хотел. В этом честном слове весь ты с потрохами. А ты знаешь, какой вред науке может принести твое честное слово?

— Нет, не знаю.

— Не знаешь! А тебе бы следовало это знать. Мракобес, обы-ва-тель.

Коровин произнес эти слова по слогам, а потом посмотрел на меня, как на воришку, пойманного в метро, где некуда бежать. Не только Витькин взгляд, но и его слова меня страшно испугали. Я очень уважал науку и, конечно, не хотел ей причинять вреда.

— И большой вред я причинил? — спросил я Витьку.

— Огромный, — ответил Витька и вдруг задумался. От того, что он сосредоточенно думал, лицо его немножко подобрело.

— Вот что, — сказал он, — я дам тебе один совет.

— Какой?

— Исправь свою ошибку.

— А как?

— Не имей никакого дела с Громовым. Это мой совет, и ты должен к нему прислушаться.

Витька любил красиво выражаться еще до того, как в него попала стрела, но после того, как он подружился с молодым интеллигентом, он стал выражаться еще торжественнее.

— А при чем тут Громов? — сказал я.

— Громов и наносит главный вред науке, — сказал Витька, — распуская непроверенные слухи про мальчика и выдавая себя за него.

— Он себя за него не выдавал, — сказал я, — зачем ему выдавать? Он и есть этот мальчик.

Тут, видно, у Коровина не хватило других аргументов, и он показал мне кулак. И после того мы пошли с ним в разные стороны.

Витькин кулак не произвел на меня никакого впечатления. Скорей наоборот. Но слова о вреде, который я причинил науке, не давали мне покоя. По-видимому, ошибку я все-таки совершил. И ее необходимо было исправить.

Я невольно задумался. Об ошибках и о том, что их нужно исправлять, я слышал много и в школе и дома, а также читал в пионерской газете и разных книжках. Но там речь шла о совсем других ошибках. И те ошибки было совсем нетрудно исправить.

В чем же заключалась моя ошибка? Может, в том, что я не проявил настойчивости и, бывая на квартире Громовых, не попытался попасть в кабинет громовского отца, где, возможно, хранилась археологическая находка? Во всяком случае, если я и нанес вред науке, то как-нибудь невзначай. И ошибку, конечно, нужно исправить и для этого побывать у Громова.

19

Громов сказал мне:

— Вытирай ноги! — и показал на половичок, плетенный из камыша.

Я, конечно, вытер. А потом еще раз, прежде чем войти в их квартиру.

В квартире было тихо. Отец Громова улетел в Киев на какую-то конференцию или симпозиум, а мать уехала куда-то к парку Победы навестить родственницу-старуху,

которая лично знала Айвазовского и еще кого-то, может, даже Тургенева и Салтыкова-Щедрина.

— Значит, ты один? — спросил я.

— Вдвоем, — ответил Громов тихо.

— А кто же второй, домработница?

— Да нет. Он.

— Кто он?

— Ну, мальчик.

— Так ты же и есть он?

— Иногда. Но сегодня четверг. А я бываю им только по пятницам.

— А это точно? Совершенно научно? А то Коровин обвиняет...

— Не беспокойся. Точно и научно, — ответил Громов. — Я сегодня тебя с ним познакомлю.

Мне стало не по себе. Начали подрагивать рука и нога. И вдруг стало холодно, страшно холодно, не знаю отчего.

Мы прошли по коридору и остановились возле дверей кабинета.

— Только ты сразу много вопросов ему не задавай, — шепнул Громов.

— Кому — ему? Тебе?

— Да при чем тут я? Мальчику.

— А почему нельзя?

— Тихе... Не любит! Особенно, когда спрашивают о пустяках.

Громов открыл дверь, и мы вошли в кабинет. Там кто-то сидел в темноте. Громов зажег свет. И то, что затем я увидел, я не смог бы объяснить не только Витьке Коровину, но даже самому себе, своим чувствам.

Сначала я подумал, что вижу свое отражение в зеркале. Но через мгновение я дал себе полный отчет в том, что в кабинете не было никакого зеркала. И однако же, я видел свое собственное отражение. Напротив меня стоял мальчик, во всем абсолютно подобный мне, и улыбался, словно рассматривал в зеркале свое отражение.

— Кто ты? — спросил я. — Ты очень похож на меня.

— А может, не я на тебя, а ты на меня? — ответил он моим голосом. — Ведь я тебя старше.

— Намного старше?

— Не намного. Всего на несколько десятков миллионов лет.

Он внимательно, дружелюбно и насмешливо посмотрел на меня.

— Не веришь? Хочешь, чтобы я предъявил свидетельство о рождении? Но оно осталось на космическом корабле, а корабль улетел на свою планету. И тебе придется мне поверить на честное слово.

— На честное слово? — переспросил я.

— Да, на честное, — ответил он. — А то на какое же? Честное слово самое точное. Оно не может никого обмануть.

— Я понимаю, — сказал я. — Но все-таки... А это не принесет вреда науке?

— Вашей науке или нашей?

— А разве наука не одна? Витька мне говорил, что не может быть двух истин. Истина всегда одна. А раз истина одна, сказал Витька, то и наука одна. Двух наук быть не может. Вторая будет обязательно лже-наука.

— Витька прав, если идет речь о Земле. Но ведь я с другой планеты. Ясно?

— Ясно. Но разве у вас не одна истина, а много?

— Разумеется, одна. Я не о том тебе говорю. Я говорю, что наша наука намного старше вашей и знает об окружающем мире немножко больше вашей.

Меня эти слова, конечно, смутили. Кому охота признаться, что мы отстаем. И я сказал:

— А так ли это?

— Если бы это было не так, — сказал он, — то я не стоял бы сейчас перед тобой. Я ведь на много миллионов лет не только тебя старше, но и всего человечества. Понятно?

— Это почти понятно. Но непонятно, почему ты так похож на меня и даже костюм на тебе мой, тот, что моя мать на прошлой неделе отдала в химчистку.

Мальчик усмехнулся.

— Уж не думаешь ли ты, — спросил он, — что твоя мать потеряла квитанцию, а я нашел и по ней получил?

— Не думаю, — ответил я. — Мать моя никогда ничего не теряет. А кроме того, там, кажется, спрашивают и паспорт. Заведующая очень недоверчивая.

Я еще раз посмотрел на него и на костюм. Костюм был точно такой же, как мой, только чище. И я подумал, что там, в химчистке, не могли так быстро выполнить заказ,

мать ведь ворчала, что он там пролежит две недели, ожидая очереди.

Странно все это было, очень странно. И я повторил свой вопрос:

— Откуда у нас с тобой такое сходство?

— Ты находишь, что большое?

— Огромное, — ответил я. — А если не вернись, спроси Громова. И костюм на тебе мой.

Он посмотрел на свой, то есть на мой, костюм и улыбнулся, как обычно улыбаюсь я, чуточку растерянно.

— Костюм-то я мог взять в химчистке на время, воспользовавшись знакомством, а вот твою внешность как я мог заимствовать, не знаешь?

— Не знаю. И удивляюсь. Наверное, Громов тоже не знает.

— Знаю, — сказал Громов. — Это все наука и техника.

— Какая наука? Наша?

— Нет, пока еще не наша. А с другой планеты.

— И все равно непонятно, — сказал я. — Во-первых, на другой планете меня не знают. А во-вторых, корабль прилетел и улетел обратно в меловой период, а я родился в 1952 году.

— А это точно? — спросил мальчик. — Ты не ошибаешься?

— Не ошибаюсь, — сказал я. — Видел в документе. И кроме того, каждый год празднуют мое рождение. В этом году хочу Громова пригласить. А если ты не откажешься, то и тебя.

— Я не могу, — сказал с грустью мальчик.

— Почему?

— Исследователи не разрешают. А кроме того, душа не лежит. Представляешь, если бы я отмечал все дни рождения, сколько бы их накопилось с мелового периода.

Я невольно прикусил себе язык. Бестактно было затевать разговор на эту тему. Недаром Громов чуть заметно толкнул меня локтем.

Он еще раз толкнул меня локтем, а потом шепнул:

— На сегодня хватит. Пойдем. Больше нельзя.

Мне очень хотелось задержаться в кабинете и узнать то, чего я узнать не успел, но я постеснялся. И мы с Громовым вышли из кабинета, а мальчик остался там рядом со стеллажами, письменным столом и портретом великого русского путешественника Пржевальского.

Когда мы прошли коридор и оказались в бывшей детской, я вдруг сообразил, что, в сущности, ничего не узнал и даже не выяснил, почему на мальчике был мой костюм.

Насчет костюма с Громовым говорить было как-то неловко. Да и черт с ним, с костюмом. Я его, по правде говоря, не любил и хотел даже, чтобы он побыстрее изнашивался после химчистки. После чистки вещи всегда быстрее изнашиваются.

Наше сходство с мальчиком — это совсем другое дело. О сходстве нужно немедленно узнать.

— Ты заметил, — спросил я Громова, — что он очень похож на меня?

— Заметил, — сказал Громов.

— А чем ты объясняешь это сходство?

— Тем, что сегодня четверг.

— А если сегодня был бы не четверг, а пятница?

— По пятницам он бывает похож на меня.

— Только по пятницам?

— Да, только по пятницам. В пятницу мы обычно с ним встречаемся и разговариваем.

— Значит, он может превращаться в кого захочет?

— Нет, это гораздо сложнее. Он, в сущности, не меняется, остается самим собой. А что касается сходства, оно нам только кажется. Он ведь улетел на свою планету вместе с экспедицией еще в меловой период.

— А кто же это? Не он, что ли?

— Не совсем. Но почти он. Это его копия.

— Его копия? Понимаю. Но не моя и не твоя. А он так похож на меня.

— Случайное сходство. То есть не совсем случайное. Просто он занял у тебя свою внешность.

— Зачем? Разве у него нет своей?

— Представь себе, нет. Он ведь только внутренняя копия. Копия чувств, мыслей. Копия характера. А внешность? Внешность... Внешность его создается в воображении того, кто с ним говорит. Я еще не до конца понял, в чем тут дело. Он мне обещал еще раз объяснить, но как-то неудобно напоминать. Он уже мне пять раз объяснял, но до конца понять не могу. В нашем мышлении еще нет таких понятий. А он этого не знает и может подумать про меня, что шарики плохо работают,

— Почему же он говорил так просто, совсем обыкновенно, как мы? От тебя, что ли, научился?

— Да нет! Это мы так воспринимаем, так же, как его внешность. Он даже не говорил, а только думал. Тебе только казалось, что он говорит.

— А костюм? Костюм на нем был мой, тот, что мать отдала в химчистку на Большом проспекте. Откуда он об этом костюме догадался? Он же его не видел.

— Зато ты видел, чудак. Ты и одел его в этот костюм.

— Но он же в химчистке!

— Не только в химчистке,— сказал Громов,— но и в твоей памяти тоже. Вот он и воспользовался твоей памятью. Понимаешь?

— Допустим, понимаю. Но это не важно. Важнее другое. Как же он без внешности? Значит, он невидимка?

— И да, и нет.

— Но как же в таком случае его обнаружил твой отец?

— Не мой отец его обнаружил, а он отца. Отец разбирал коллекцию древних предметов, найденных им в Воронежской области, прежде чем выставить их в Институте археологии. И вдруг услышал голос. Но об этом пока никому. Через полгода или через год отец сделает публикацию, и тогда о находке узнает весь мир.

— А почему через полгода, а не раньше?

— Слишком все необыкновенно, а многое и противоречит логике, так называемому здравому смыслу. Если бы это случилось в физике или кибернетике, тогда бы не удивились, а это же в археологии. Тут сразу нельзя, а надо все подготовить и систематизировать... Отец даже от археологов скрывает, говорит, занят дешифровкой. А к чему дешифровка, когда он говорит на любом языке.

— Но все-таки. Хоть на месяц бы раньше. А то так долго!

— Нельзя.

— Понимаю. Мне Витька объяснял. Чтобы не нанести вред науке.

Я еще посидел немножко в комнате Громова. А потом Громов зевнул, и я подумал, что пора уходить домой.

Дома все были чем-то расстроены. Мать сказала мне:

— Понимаешь, Саша, какая неприятность!

— А что?

— Твой костюм пропал, что я отдала на прошлой неделе в чистку. Я ходила туда, просила ускорить. Заведующая говорит: «Вам всегда надо все без очереди. Надо уважать и других клиентов. Чем они хуже?». И начала, начала. Я возмутилась, хотела забрать и отдать в другое место, а костюма нет. Обещает возместить деньгами. Но ведь ты так любил этот костюм.

20

Витьке я об этом, конечно, ни слова. Но дома чуть не проговорился. Мать опять завела разговор о костюме, что так загадочно пропал в химчистке. А я сдуру и брякнул:

— Видел я свой костюм на одном...

— Где? — перебила мать.

— Нигде. Просто так. На Васильевском острове.

Мать сразу же оживилась и стала допрашивать. На ком? Когда? Почему?

Я ужасно покраснел и растерялся. Врать я не любил, а сказать правду язык не поворачивался. Да и как я мог объяснить матери, что мальчик взял мой костюм не в химчистке, а вынул из моей памяти? Все равно бы не поняла и не поверила, а чего доброго, еще пошла бы к Громовым или заявила бы в угрозыск. Вот и пришлось выкручиваться.

— Да на одном прохожем я видел. На Васильевском. На одном незнакомом школьнике.

— А что ж ты его не остановил?

— Растерялся. Да и подумал, вдруг не мой? А знаешь, как зря обидеть невинного человека.

— Невинного? Невинные в чужих костюмах не ходят. Заведующая тоже расстроена. Может, придется выплачивать из жалования. «Первый такой случай», говорит. Мне даже ее жалко.

Мать замолчала. А я постарался скорей забыть о пропавшем костюме и о заведующей. Хотя мальчик был ни при чем, а все-таки это накладывало на него тень, какой-то нежелательный отпечаток.

О костюме я больше не вспоминал, а думал о мальчике. Скучно ему там одному вместе с Пржевальским в кабинете. Да и Пржевальский — не Пржевальский, а только портрет. Ждет, наверное, пятницу, когда его навестит

Громов. Но он очень терпеливый и выдержанный, много миллионов лет ждал, чтобы передать информацию человечеству. А тут еще задержка на полгода или на год. А причина — осторожный характер громовского отца, нелюбовь его к спешке и сенсации.

Очень мне хотелось повидаться хотя бы еще раз с мальчиком. Но было неловко опять просить Громова: Ведь прошли не миллионы лет, а всего два дня.

Утром, причесываясь, я подошел к зеркалу и даже отирянул. На меня смотрел мальчик и приветливо мне улыбался. Не сразу я сообразил, что это не мальчик, а, кажется, только я сам.

И тут впервые в жизни мне пришел в голову странный вопрос. Кто я? Откуда?

Казалось, этот вопрос задал себе не я сам, а мальчик, смотревший на меня из рамки. Он, по-видимому, хотел знать обо мне то, чего я и сам не знал. А я знал о себе все, кроме самого главного. И только сейчас мне это пришло в голову. До меня жили десятки тысяч мальчиков, сменяя один другого и превращаясь во взрослых мужчин. Со всеми этими мальчиками я не был и не мог быть знаком. Они были в прошлом, задолго до меня и затерялись в потоке времени. Но вот я познакомился с мальчиком, который жил еще до всех этих мальчиков. Он так и не стал взрослым, пронеся свое детство сквозь миллионы лет и все для того, чтобы передать нам нечто важное, чего никто на Земле не знает.

Может, для него время текло по-другому, чем для нас, как в фантастических романах, но все равно, даже если годы равнялись неделям... Очень уж он в тот раз был похож на меня. Так похож, что я тогда даже подумал, уж не существовал ли я тоже в меловой период? Но сразу же прогнал эту мысль. Уж очень нескромно так о себе думать.

В прошлом году я сдуру сказал Витьке:

— Я родился в 1952 году. Бабушка смеется, говорит, что это было совсем недавно, почти вчера. А мне иногда кажется, что я жил всегда. Просто невозможно представить без себя Землю.

Витька хмыкнул носом и сказал важно:

— Ну, понятно, ты законченный идеалист.

И при этом презрительно сплюнул.

— А что такое идеалист? — спросил я. — Что-нибудь вроде тунейдда и стилиаги или еще хуже?

— Хуже, — сказал Витька. — Идеалист — это тот, кто воображает, что он есть на самом деле, а другие все только кажутся.

— Не понимаю, — признался я. — Вот, допустим, я идеалист. Значит, я существую, а ты не существуешь, а только кажешься?

— Точно, — кивнул Витька.

— А как с родителями и учителями? Они тоже кажутся?

— Идеалист думает, что они только кажутся.

— Не будем говорить о родителях и об учителях. Каждый знает, что они не только кажутся, а существуют. А вот Агафонычев существует или только кажется?

— А как ты сам думаешь? — спросил Витька.

— Существует.

И я понял, что я не идеалист. И Витька тоже, наверное, об этом догадался, но не подал вида. Очень уж ему хотелось зачислить меня в идеалисты.

То, что я узнал от Витьки, очень меня поразило. На другой день, придя в класс, я очень долго рассматривал Елену Ивановну, преподавательницу английского языка, ее глаза, нос, губы, бородавку на щеке и спрашивал себя, существует она или только кажется?

Может, она заметила, что я так бесцеремонно разглядываю ее нос и бородавку и рассердилась, вызвала и заставила меня читать и переводить отрывок из Джека Лондона про собаку и поставила двойку, хотя я не так уж плохо переводил. И я сразу перестал сомневаться, что она существует. Двойка меня убедила.

Все это было в прошлом году. И у нас с Витькой больше и разговору не было о том — идеалист я или нет. Кажется, и Витька в этом больше не сомневался. Но сегодня, когда я увидел свое отражение в зеркале и принял себя за мальчика с другой планеты, во мне зародилось горькое сомнение — не идеалист ли я? Ведь мальчик-то там в кабинете, вероятно, только показался мне, а я подумал, что он существует в самом деле.

Эта мысль чрезвычайно огорчила меня. Неужели я не мог отличить кажущееся от настоящего? Вот Витька, тот бы никогда не ошибся.

Встретились мы с Громовым на лестнице.

— Ты ко мне? — спросил он.

— К тебе. Мне необходимо срочно повидаться с мальчиком.

— А, собственно, зачем?

— Выяснить одно обстоятельство.

— Если про костюм, то не стоит выяснять. Обидится. Он ведь костюм взял из твоей памяти, а не из химчистки.

— А ты откуда знаешь про костюм?

— Твоя мать встретила меня вчера и рассказала. Но это просто совпадение. Ему чужие вещи не нужны. И из кабинета он тоже не выходит. Я за это ручаюсь.

— Да нет. Я не про костюм у него хочу выяснить.

— А про что?

— Про то, кажется он или существует на самом деле?

— Он и существует и кажется.

Я немножко растерялся от этого неожиданного ответа. И впервые пожалел, что сейчас нет со мной Витьки. Витька уж наверняка знал — можно ли одновременно и существовать и казаться. Он ведь все энциклопедии читал.

— А это не идеализм? — спросил я Громова.

— Нет, не идеализм. Ведь мы тоже существуем и кажемся.

— Не понимаю, — сказал я.

— Сейчас объясню. Вот ты считаешь Витьку очень умным и многознающим. И я тоже считал. А потом разубедился. Значит, одно дело — это Витька, каков он есть на самом деле. А другое — каким он мне казался.

— Значит, мальчик тоже не такой, какой он есть на самом деле?

— Нет, тут дело сложнее. Теория информации, воздействие неизвестных нам импульсов на сферу, ведающую воображением, нет, не телепатия, другое. Он мне объяснял.

— А ты мне объяснишь?

— Некогда. Мать послала за дрожжами. Пирог хочет печь. У нас гости будут. Археологи, антропологи. Ну, пока!

Хоть я никогда не видел антропологов, но очень на них рассердился. Из-за них и из-за этого несчастного пирога пришлось отложить свидание с мальчиком.

Чтобы не томить других и самого себя, я пропущу целую неделю и прямо расскажу о моей второй встрече с мальчиком.

Когда Громов открыл дверь в кабинет, мне опять стало холодно. Даже почему-то холоднее, чем в прошлый раз.

Мальчик стоял на том же месте и улыбался. И в этот раз он тоже был похож на меня, но меньше. Гораздо меньше. Во-первых, он был чуть выше меня и пошире в плечах. А во-вторых, у него были чуть заметные рыжие усики, как у Десяткина. В прошлый раз этих усиков не было. Выросли за неделю.

Я посмотрел на его костюм. Костюм тоже был мой, но теперь не тот, что потерялся на Большом в химчистке, а серый, новый, в полоску. Тот, что остался дома в шкафу.

Я сразу подумал: интересно, висит он еще там на металлической распялке или уже исчез?

Потом я покраснел от стыда и испугался: не догадался ли мальчик?

А мальчик, по-видимому, догадался.

— Да, костюм твой, — сказал он. — Извини. Я его занял у тебя на время.

— Из памяти? — спросил я.

— Разумеется, не из шкафа. Я ведь никуда не выхожу.

— И давно?

— Начиная с мелового периода, когда инженеры и физиологи сделали копию.

— А как они ее сделали?

— Об этом я расскажу не тебе.

— А кому?

— Вашим ученым и специалистам. Да и им, чтобы понять принцип, придется отказаться от старых навыков мышления.

— А ты существуешь или только кажешься?

Мальчик хмыкнул носом совсем как Витька Коровин, но плевать на пол не стал, наверное, пожалел труды громовской матери.

— А ты сам как думаешь?

— Когда шел сюда, думал, что ты кажешься.

— А сейчас?

— Сейчас не уверен.

— Так ты хочешь, чтобы я тебя разуверил, не так ли?

— Нет, мне этого не надо.

— Чего же ты хочешь?

— Хочу узнать истину.

— Это похвально, — сказал мальчик, — но не знаю, понравится ли тебе истина. Дело в том, что я больше кажусь, чем существую.

— А это можно? Это не противоречит законам природы?

— Нисколько. Тот, настоящий, мальчик улетел на свою планету еще в меловой период и, наверное, давно умер. А я его копия. Моя задача в том и состоит, чтобы всем казаться этим мальчиком. Не знаю только, получается ли у меня.

— Получается, — сказал я.

Громов промолчал, хотя вопрос относился и к нему тоже. По его лицу я догадался, что он мое мнение разделяет не целиком.

— В конце концов, — сказал мальчик, — я немножко артист. Играю того, кого я должен напоминать, но что делать? Все биологические существа бренны. А я с мелового периода нисколько не изменился.

— А усики? — спросил я. — Их не было в прошлый раз.

— Это маленькая накладка. Не обращай, пожалуйста, на нее внимания.

— Ладно, — сказал я. — Так и быть. Не буду обращать внимания.

Но обещания, конечно, не сдержал. То смотрел на усики, то на серый, новый костюм в полоску и думал при этом — висит ли он еще там, в шкафу, на металлической распялке или уже не висит.

Эта назойливая и бесстыдная мысль о костюме очень мне мешала сосредоточиться и задать мальчику (копии) какой-нибудь умный и имеющий научное или техническое значение вопрос. Кроме того, эта мысль мешала мне чувствовать себя представителем планеты Земли, принимающим участие в беседе с копией мальчика с другой планеты.

Вообще я забыл о том, что я представитель, и о том, с кем я говорю. Отчасти в этом виноват был сам мальчик (копия), который уж очень обыкновенно и просто выглядел в моем костюме.

Я оглянулся и посмотрел на Громова. Лицо у него было напряженное и сосредоточенное. И по выражению его лица я понял, что мне надо подтянуться и проявить себя, ведь все-таки я представитель земного человечества, хотя меня никто не уполномочивал.

Я подумал, помолчал, потом спросил мальчика:

— А чем ты питаешься?

— Ничем.

— Абсолютно ничем?

— Только духовной пищей.

— Наверное, берешь без спросу книги, что стоят на этих стеллажах?

— Почему без спросу? Случается, и спрашиваю. Но читаю я мало, Больше вспоминаю. Ведь в моей памяти записано все, что накопила история цивилизации той планеты, с которой прилетел мальчик на Землю в меловой период.

— И ты все помнишь?

— Не все. Иногда и забываю. И тогда начинаю сам себя спрашивать и экзаменовать. Больше ведь некому. Все улетели. Я один остался у вас на Земле. И ждать мне долго пришлось, пока появится человечество. Эволюция не спешит. А когда были ледниковые периоды, я думал, все погибнет. Ведь против человечества были не только холода, но даже теория вероятности. Все висело на ниточке. А я ничем не мог помочь. Я ведь был только зрителем. В этом была ошибка мальчика, чьей копией я стал. Он очень хотел остаться на Земле. Очень! Он очень ее полюбил. И он очень хотел помочь людям, когда они появятся, но он не догадался, что только цивилизованное человечество сможет найти с ним общий язык. Людям диким, не цивилизованным помешают суеверие и страх. Сколько раз меня принимали то за бога, то за дьявола, когда я пытался вмешаться в человеческие дела. Потом я махнул рукой и стал созерцателем. Первый, с кем я заговорил, был археолог, отец твоего приятеля. Но он тоже из тех, кто не любит спешить. Пишет докторскую диссертацию. А когда напишет, тогда и сообщит человечеству о своей находке. Вот потому мне и приходится беседовать с тобой вместо того, чтобы принимать здесь представителей прессы и ученых.

Я с укоризной взглянул на Громова. Громов покраснел. Потом сказал негромко и рассудительно, как всегда:

— Дело не в докторской. Мой отец никогда за степенями не гнался. Но он ненавидит шумиху, сенсацию, хочет все систематизировать, привести в полный порядок. Прежде изучить вопрос, а потом уже приглашать журналистов. Он не хочет, чтобы получилось так, как с плезиозавром,

или с теми находками, которые потом не подтвердились.

— Но эта находка,— показал я на копию мальчика,— не может не подтвердиться.

— Всякое на свете бывает. А вдруг скажут, что подделка и фальсификация, как было с палеолитическими рисунками в одной пещере. Ведь на удочку попался такой крупный специалист, как сам аббат Брейль. Археологи самый недоверчивый народ. Они не верят не только другим, но даже себе.

— Но ведь факт налицо.

Я опять показал на мальчика, сделавшего вид, что речь идет совсем не о нем.

— Отец иногда сомневается,— продолжал Громов,— и говорит, что, может, это все кажется. Малоизученное, чисто телепатическое явление или что-то вроде миража.

Меня немного удивило, что Громов это сказал при мальчишке.

Мальчик хмыкнул носом совсем как Витька.

— Это я мираж? Это я телепатическое явление? Ну и ну!

— Да нет, успокойся,— сказал Громов.— Это отец не от себя думает, а от своих будущих оппонентов. Подготавливает себя на всякий случай.

— И все же так тянуть не стоит,— сказал я.— А если мальчик заболит или случится другое несчастье, пожар, например?

Громов вдруг рассмеялся. Мне показался неуместным его смех, да и мальчику тоже.

— Витька Коровин,— сказал Громов,— предложил мне застраховать его от пожара и смерти. У него знакомый есть, в райстрахе работает.

— А-а! — догадался я.— Это тот, который похож на Шекспира и даже на Айвазовского.

— А зачем страховать? — продолжал Громов.— Он не боится ни огня, ни смерти. Да и этот, похожий на Айвазовского, захочет поглядеть, прежде чем дать оценку.

— Точно,— сказал я.— Страховать преждевременно. А кроме того, он не частная собственность, а археологическая находка и, значит, принадлежит государству.

Громов, видно, понял это, как намек.

— Разумеется, вещь государственная. Он в кабинете хранится временно. Пока отец готовит материалы и пишет докторскую. А потом отец его вернет.

— Куда?

— Куда? Конечно, в музей.

Я вспомнил глиняного папуаса, державшего в руках натянутый лук со стрелой, и то, как отломился палец и вылетела стрела и попала прямо в Витьку, стоящего со мной рядом.

— А хорошо ли ему будет в музее? — спросил я. — И администрация там не очень важно работает. По ее недосмотру у папуаса отломился палец.

— Это не из-за халатности администрации. Это теория вероятности виновата. Случай.

Тут в разговор вмешался мальчик (копия).

— Действительно, случай, — сказал он. — На нашей планете тоже подобный случай был. Философ мне рассказывал. В него в детстве, тоже, как в Витьку, попала стрела. Он после этого и выбрал себе такую редкую профессию и научился размышлять.

— А разве у вас есть папуасы?

— Не совсем папуасы, но были когда-то. Первобытные люди.

— Это очень интересно, — сказал я, — но ответь, пожалуйста, на один вопрос. Ты согласишься стоять в музее?

— Не соглашусь, — ответил мальчик.

— Ну вот, видишь, — сказал я Громову. — Он не согласится. Да и глупо стоять в шкафу в одной и той же позе и не шевелиться. Он же живой.

— Не будем предрешать вопрос, — возразил Громов. — Живой он или неживой, пусть решит наука.

Меня немножко обидело его замечание. Неужели мы без науки не можем решить сами? Ведь даже невооруженным глазом видно, что почти живой. Уж во всяком случае, не мертвый.

Когда я простился с копией мальчика и мы с Громовым вышли из кабинета, я сказал:

— И все-таки я не представляю себе, как он будет стоять в музее все в одной и той же позе и не шевелиться. А если спина зачесется или нога устанет?

— Не зачесется, — возразил Громов. — Как-нибудь привыкнет. Да ведь и музей рано закрывают, особенно перед выходным. А когда уйдут посетители и женщина из охраны, он может делать все, что захочет. Но все дело в том, что он не захочет.

— Почему? Ведь все чего-нибудь хотят.

— А он другой. Он копия. У него нет желаний, кроме одного.

— Какого?

— Делать вид, что он и есть тот мальчик.

— Но он почти тот.

— В том-то и дело, что почти. Но у того было много желаний. А всего сильнее он хотел остаться на Земле и поведаться с будущим человечеством.

— Что ж, желание неплохое. Я, может, на его месте тоже этого захотел бы. Интересно же быть посредником между двумя цивилизациями.

— Живым посредником — да. Но это же только копия.

— А верно ли, — перебил я, — что у него нет желаний? Ведь я же сам слышал, как он сказал, что не согласится стоять в музее.

— Будут спрашивать его согласия! Он ведь археологическая находка, экспонат. Ведь глиняного пауаса не спрашивали — хочет он или не хочет натягивать лук.

— Может, потому он и выстрелил, — пошутил я.

— Мы об этом выстреле много раз спорили.

— С кем? С Витькой?

— Нет, с мальчиком. С копией этой. Он по теории вероятности много знает. И по теории игр. И говорить с ним очень интересно.

— Значит, он живой.

— Неизвестно. Скорей всего, нет. Но когда-нибудь мы узнаем.

— Когда?

— Когда отец закончит докторскую и приведет в строгую систему все факты. Отец и сам не знает, куда его отнести. Живым принято называть существо биологическое. Его признаки — дыхание, обмен веществ. А он в этом не нуждается. Он еще проблема, загадка. Понимаешь? А мой отец настоящий ученый. Он хочет найти ответ на этот вопрос. И только после того выступить в печати.

— Ну, а копия не может ему в этом помочь?

— Кроме одного — казаться мальчиком. Вот он и кажется... У отца, правда, есть одна идея, которая мне очень нравится. Иногда он думает, что это не копия, а сам мальчик. А за копию мальчик себя выдает, чтобы мы его не спрашивали, как он сумел прожить несколько миллионов лет. Может, это тайна далекой веземной цивилизации. Так думает мой отец. И тогда у него возникает же-

лание порвать ту часть диссертации, которую он уже написал.

— Я бы на его месте порвал. Ясно, что это мальчик, а не копия. И в музей его ставить нельзя. Попробуй-ка сам постоять не шевелясь в одной позе.

— Отец мой тоже иногда так думает. А иногда он приходит в отчаяние от того, что загадка почти неразрешима.

Мы постояли с Громовым в коридоре у шкафа, на котором торчало несколько желтых древних человеческих черепов. Было тихо и немножко загадочно и казалось даже, что черепа прислушиваются к нашей беседе.

Потом Громов сказал:

— На улице льет дождь.

И посмотрел на мои ноги в новых сандалетах.

— А мне казалось, что ты в ботинках пришел на микропористой подошве.

— Это не я. Ты ошибаешься. Это мальчик.

— А ведь верно. На его ногах я видел твои непромокаемые ботинки. Не бойся, не пропадут.

— Знаю. Но костюм в химчистке все-таки почему-то пропал.

— Случайное совпадение,— сказал Громов.— Или по ошибке выдали другому, спутав его с тобой.

— А не могли,— спросил я,— его случайно со мной спутать? Он так похож на меня, особенно когда был без усиков.

— Ты с ума сошел? Он нигде не отлучается, кроме прошлого.

— Значит, он может вернуться обратно в меловой период?

— Это еще нуждается в доказательстве. Но мы и это узнаем.

— Когда?

— Когда мой отец закончит докторскую диссертацию. Его пригласили в Сибирский филиал Академии наук. Там и без докторской с ним будут считаться. Но он отказался.

— А здесь? Разве здесь не считаются?

— Не особенно. И все из-за этой находки. Ее здесь считают почти за шотландского плезиозавра. Понимаешь?

— Понимаю. Думают, что все это липа.

— Ну, пока! — сказал Громов.

— Пока!

На улице моросил дождь. Когда я подходил к дому, я невольно остановился возле газетного киоска. Там толпилась очередь за «Неделей», «Техникой молодежи», «Искателем» и другими остро дефицитными изданиями. Я невольно усмехнулся и подумал, что в дефицитных изданиях, которые они ждут под дождем, нет ничего про мальчика и не будет до тех пор, пока отец Громова не закончит свою докторскую.

— Где ты пропадал? — спросила меня мать, открыв дверь.

— А что?

— Костюм твой нашелся.

— Какой?

— Который пропал в химчистке. По ошибке отдали другому. А он вернул.

— А тебе не описали наружность того, кто вернул?

— Мне это ни к чему. Наружность описывают, когда вор. А это был честный человек и все произошло по недоразумению!

22

Я много думал о судьбе мальчика (копии). Меня немножко тревожило его будущее. Неужели ему, действительно, суждено стоять в музее, не двигаясь, как все другие экспонаты, сохраняя одно и то же выражение лица и не имея права даже переменить позу? Все это как-то не укладывалось у меня в голове, но продолжало почему-то тревожить.

— Отчего ты такой унылый сегодня? — спросил меня Витька недалеко от учительской.

— Ни отчего, — ответил я. — Просто так.

— Не выдумывай. По лицу вижу, что есть причина.

И тут я не выдержал, рассказал Витьке и про свои встречи с мальчиком и про свои опасения.

Витька выслушал меня, хмыкнул носом, а потом сказал бодрым голосом:

— Ничего с ним не станет. Постоит.

Меня просто удивило это равнодушие и бессердечие.

— А ты когда-нибудь пробовал стоять так в одной позе, как памятник?

— Но я же не копия, не находка, не экспонат. Я живой.

— Он тоже живой.

Витька оглядел меня с ног до головы, а потом покачал головой:

— Винтики не работают? Несешь антинаучную ахинею. Форменный обыватель!

— Живой он! За это я почти ручаюсь.

— Опять со своим честным словом! А факты? Доказательства? Аргументы?

И Витька круто повернулся и пошел не спеша в класс.

Действительно, он был прав. Но почему я не хотел с ним согласиться? Из самолюбия, из упрямства? Нет. Все было против меня и против мальчика, но я все-таки не сдавался.

На Витьку это все же произвело кое-какое впечатление, оставило след в его душе.

— Послушай,— сказал он мне на большой перемене.— Ты, кажется, говорил, что с ним там в кабинете великий русский путешественник Пржевальский?

— Не сам! Только портрет.

— Я знаю, что не сам. Сам давно умер. Я не к тому...

И Витька задумался. И лицо у него стало другое, совсем такое, какое было в больнице имени Куйбышева, в палате травм и несчастных случаев, после того, как в него попала стрела, пущенная глиняным папуасом.

Я не мешал Витьке стоять и думать. Я терпеливо ждал и надеялся. На что? Может, я рассчитывал, что Витька согласится со мной и поверит?

Наконец Витька нарушил молчание.

— По теории вероятности,— сказал он,— такой случай, как с мальчиком, потребовал бы слишком много времени.

— Сколько? — спросил я.

— Несколько сот миллионов лет. А с мелового периода прошло только несколько миллионов. Понял? Значит, случай такой невозможен.

— Вполне возможен,— настаивал я.

— Нет, невозможен.

— Возможен.

— Для обывателя все возможно,— сказал Витька.— Даже чудо.

— Я не обыватель. Чудес не бывает.

— Возможны и чудеса. Но каждое чудо требует на свое осуществление столько времени, что это даже не-

возможно себе представить. А время у всех ограниченное, даже у природы.

С этим я спорить не стал. Витька гораздо больше меня знал про природу из справочников и энциклопедий.

Не знаю почему, но тут черт меня дернул похвастаться:

— А знаешь, на кого похож мальчик? — спросил я вдруг Витьку.

— Знаю, — ответил Витька. — На Эйнштейна.

— Нет. Не угадал, — сказал я.

— Ну, тогда на Дарвина.

— Да Дарвин же с бородой, старик. А он мальчик, почти наш ровесник.

— В детстве и Дарвин был мальчиком. Так на кого?

— А ты угадай.

Витька подумал и вдруг выпалил:

— Может, на Громова? Впрочем, сомневаюсь. Громов чистюля. И кроме того, задаваться любит.

— Не угадал, — сказал я. — Он похож на меня. И даже костюм точно такой, как у меня.

Тут Витька расхохотался и сплюнул.

— Типичный идеалист, — сказал он. — Все кажутся. А только ты один не кажешься, а существуешь. Ты, да еще мальчик в твоём костюме.

Он хмыкнул носом и пошел туда, где стояли Девяткин и Десяткин, теперь оба с усиками, один с рыжеватыми, а другой с неопределенного цвета. Витьку вечно тянуло к Девяткину и Десяткину, да еще к стройному интеллигенту, сразу похожему на всех.

Но хватит о Витьке, о Девяткине с Десяткиным и об интеллигенте тоже! Все они одного поля ягоды, хотя и не только кажутся, но и существуют. Довольно о них! И о Витьке тоже! Мы с ним в тот день окончательно поссорились. И я был в очень плохом настроении всю неделю. И не из-за двойки, которую схватил у англичанки, а просто так, ни из-за чего.

В конце недели стало чуточку веселее. И я забыл про двойку и про Девяткина с Десяткиным, которые каждый раз, завидя меня, почему-то подначивали и хохотали. Забыл я про них. Дело в том, что я узнал ужасно хорошую новость.

Я встретил Громова. И где? В музее, возле папуаса.

Громов стоял и задумчиво смотрел на лук и стрелу, привезенные еще в прошлом веке великим русским путе-

шественником Миклухо-Маклаем из Новой Гвинеи. Смотрел он также на пальцы, натягивавшие тетиву. О чем думал Громов? Не знаю. И зачем пришел сюда, в музей? Тоже не знаю. Я еще подумал: не пришел ли он сюда выбрать для мальчика подходящее место где-нибудь в сторонке, где меньше экскурсантов?

Я ждал, когда Громов заметит меня. Потом я поздоровался.

— Ну, как твой отец? — спросил я Громова.

— Спасибо. Здоров.

— А как докторская? Подвигается?

— С докторской неважно, — ответил Громов. — Отец ее, кажется, собирается порвать. И начать другую.

— А что?

— Ничего. Мальчик-то, кажется, не копия, а настоящий.

23

Я уже хотел закончить свой рассказ, но тут случилось еще одно происшествие, произошел еще один редкий необыкновенный случай, по словам моего двоюродного брата Володи, все же гораздо более вероятный, чем отломавшийся палец у глиняного пауаса, вызвавший полет стрелы.

Приходит ко мне домой Витька Коровин и не один, а со своим интеллигентом. И в руках у каждого из них книжка в оранжевой обложке, где крупными буквами написано: «Фантастика, 1965».

Красивый, стройный интеллигент молчит и только улыбается очень приятной, располагающей к себе грустной улыбкой, а Витька говорит:

— Вот тут напечатано про Громова и про копию мальчика, который прилетел на Землю в юрский период.

— Во-первых, не в юрский, а в меловой, — возразил я, — а во-вторых, он не копия, а, кажется, настоящий.

— Кажется, — передразнил меня Витька. — Тебе всегда все кажется! Вот, чтобы тебе не казалось, и прочитай эту повесть. Почитай, и тогда поймешь свою ошибку.

— А кто написал? Наверное, та детская писательница, которая ходила к тебе в больницу?

— Нет! Не детская писательница, а вполне взрослый писатель-фантаст. И фамилия короткая — Гор.

— Может, она взяла себе этот псевдоним?

— Да нет. Зачем ей присваивать чужую фамилию, когда ее и так все знают? Не она, даю честное слово.

— А откуда ты знаешь?

— О воспитании ничего нет, о значении семьи и школы тоже. И фантастику не любит, а пишет только про то, что видел своими глазами.

Все время молчавший красивый интеллигент вдруг спросил меня вежливо и грустно, бросив взгляд на обстановку:

— А ваши родители случайно не хотят застраховать мебель?

— Кажется, уже застрахована, — ответил я.

Витька фыркнул носом и сказал:

— Ему всегда все кажется. Не стоит терять время. Идемте!

И они ушли, не оставив даже мне книжку в яркой оранжевой обложке. Но я ее достал. В тот же день купил в книжном магазине недалеко от Пяти углов. Там магазин есть специально для артистов. И грим тоже продают. Фантастикой же артисты не интересуются.

Повесть про мальчика прочел сразу.

Понравилась ли она мне? Не совсем. Кое-что понравилось. А кое-что нет. Неточности я обнаружил, разные накладки. Из этого я понял, что писатель с мальчиком не встречался и с Громовым, возможно, тоже. Он, видно, собирал материал у одноклассников, учителей, их знакомых или у совсем посторонних людей, но сующих нос в чужие дела, вроде Девяткина и Десяткина. Поэтому он и написал, что Громовы уехали в Новосибирск, в академгородок. Не было этого. Громовского отца не выбрали в члены-корреспонденты, потому что он затянул с докторской. А почему произошла затяжка? Вам известно. Нужно было выяснить, кто мальчик — копия или настоящий?

Встретились мне и другие неточности, но они не существенные, и я о них говорить не буду. О главной неточности я уже сказал. Ведь мальчик, кажется, настоящий. Витька Коровин очень не любит это слово «кажется». Но подскажите, чем его заменить! Ведь не могу я обойтись без этого слова, пока отец Громова точно не выяснит и не подтвердит это предположение.

Одно только меня беспокоило: а что, если эта повесть попадет мальчику и он прочтет, обнаружит неточности и

обидится за то, что его называли копией? Но потом я немножко успокоился и подумал, что Громов не покажет ему этот сборник.

Совсем успокоиться я не мог. Такая у меня натура. Стал опять думать. А вдруг мальчик все-таки познакомится с этой повестью? Он такой осведомленный, догадливый и почему-то все знает. Догадался же он сразу, что я думаю о костюме, который мать стдала в химчистку. И тут тоже догадается, прочтет громовские мысли. Громова нужно предупредить. Я это завтра же сделаю. А как сделаю, так смогу спокойно поставить точку, закончить и без того затянувшийся рассказ.

Я так и сделал. Послал Громову заказное письмо и не по домашнему адресу, а на школу. Я уже собирался поставить точку и закончить рассказ, вдруг опять Витька пришел, и не один, а с красивым, стройным симпатичным интеллигентом.

Интеллигент грустно и трогательно улыбался, а Витька хмурился, как в прошлый раз.

Я поторопился сказать:

— Нет, у нас, к сожалению, все уже застраховано. Я у матери узнавал.

— Опять кажется? — спросил Витька.

— Теперь не кажется, а точно!

— Мы не за этим пришли. А по более срочному делу.

— По какому делу?

Витька редко смущался, но сейчас он выглядел немножко растерянным.

— Он... — Он показал на своего спутника. — Он автографы собирает. У него даже от самого Писемского автограф есть.

— Писемский, кажется, жил в прошлом веке, как он мог дать ему свой автограф?

— Да не ему дал, а своему знакомому современнику. А правнуки сохранили и продали. Понял?

— Понял. Но я ведь не писатель и не знаменитость. Зачем ему мой автограф?

— Обыватель! Да не твой! Он от мальчика хочет получить автограф. От того, что прилетел к нам в юрский период.

— Не в юрский, а в меловой.

— Ладно. Пусть в меловой. А ты не мог бы попросить его сделать надпись на книге?

— На какой?

— Да вот на этой, где напечатана про него фантастическая повесть.

Я испугался, рассердился и сказал:

— Уходите. Сейчас должен санврач прехать. У нас карантин. Двоюродный брат Володя заболел скарлатиной.

И они ушли, так быстро ушли, что даже забыли проститься.

Карантина, конечно, у нас не было. Санврача не ждали. Я соврал. А как я мог еще поступить? Не мог же я лезть к мальчику с этой книгой.





ВЕЛИКИЙ АКТЕР ДЖОНС

1

Сестра моя Анна, задержав меня в передней, сказала с таинственным видом:

— Филипп, тебе только что звонили.

— Кто?

— Эдгар По.

— Какой-нибудь болван, которому нечего делать?

На узком брезгливом лице Анны появилось страдающее выражение. Оно появлялось всегда, когда я бывал раздражен и несдержан.

— Нет,— сказала Анна тихо.— Голос был мечтательный и необычайно красивый. Вероятно, это и был Эдгар По.

— Уж скорее Хемингуэй или Фолкнер. Эдгар По умер больше ста лет тому назад.

— Но разве у него не мог оказаться однофамилец?

— Да, какой-нибудь аферист или любитель автографов. Уж эти мне красивые и мечтательные голоса!

Я снял пальто, повесил его и, не глядя на обиженную Анну, прошел в кабинет, сел за стол и стал просматривать журнал «Новости физических наук».

В дверь постучалась Анна.

— Тебя к телефону, Филипп.

— Кто?

— Опять он.

— Кто он? Почему ты молчишь?

— Эдгар По,— сказала Анна прерывающимся от волнения голосом.

— Этот болван?

Я вышел в коридор, где стоял телефон, снял трубку и крикнул раздраженно:

— Слушаю!

Необычайно красивый и задумчивый голос произнес:

— Здравствуйте, Дадлин. Вы узнаете меня?

— Нет, не узнаю.

— С вами говорит Эдгар По.

— Какой По?

— Автор «Падения дома Эшер».

— Бросьте дурачиться. Вы знаете, с кем говорите?

— Знаю. С профессором Дадлиным, создателем физической гипотезы Зигзагообразного Хроноса.

— Откуда вы говорите?— спросил я, подозревая, что меня разыгрывает кто-нибудь из студентов, не сдавших мне зачет.

— Я не могу назвать координаты,— услышал я.— Они еще не вычислены.

В голосе отвечавшего прозвучала трагическая нотка, от которой мне стало не по себе. На минуту мой невидимый собеседник исчез, словно бы в волнах времени, и затем снова появился.

— Я нахожусь в движении, в очень быстром движении,— донеслось до меня,— я мчусь к вам, Дадлин. Где вы? Ради бога, где вы? Назовите ваш адрес,

— Город Эйнштейн. Улица Диккенса, 240.

— Город Эйнштейн? В какой стране он находится? Я не вижу его на географической карте.

— Болван! — выругался я. — Эйнштейн самый знаменитый город. Невежда! Кто вы?

— Эдгар По.

— Я не верю в воскрешение мертвых.

— Дадлин, почему вы разговариваете со мной таким тоном?

— Извините. Я начинаю догадываться. На днях я читал, что одна из самых крупных студий ставит биографический фильм «Эдгар По».

— А что такое фильм, Дадлин? Впервые слышу это странное слово?

— Я понимаю, — сказал я, — вы хотите войти в свою роль. Но при чем тут я? Я не биограф Эдгара По, я только физик.

Желая отделаться от странного собеседника, я выкрикнул известную каждому спасительную формулу, я проговорил быстро:

— Жму руку.

А затем повесил трубку.

2

Мою гипотезу признали все, даже самые консервативные ученые, но, в сущности, ее никто не понял до конца.

Десятки энтузиастов работали в своих лабораториях, одни из них, ища экспериментальных подтверждений моих дерзких идей, другие столь же неоспоримой возможности посрамить меня и доказать мою полную несостоятельность.

Среди тех и других выделялся некий Самуил Гопс, техник, считавший себя крупным специалистом, не то мой друг и сторонник, не то мой тайный враг и недоброжелатель. Я не доверял ни ему, ни его слишком суетливому энтузиазму. Этот «экспериментатор» — из уважения к подлинным специалистам беру в кавычки это слово — позволил себе слишком свободное и фамильярное отношение к историческим фактам и все якобы ради истины, самой сложной и причудливой из всех истин. Он «вызвал» какого-то писателя, жившего в первой половине XIX века,

и пока опыт не был доведен до конца, держал имя этого писателя в тайне.

Мне пришла в голову нелепая и наивная мысль, достойная скорее жителя верхнего палеолита, чем современного ученого: не по «вызову» ли этого самого техника-изобретателя Гопса Эдгар По, преодолев время, ошастливил меня разговором? Уж не удалось ли Самуилу Гопсу создать телефон, способный соединить два разных столетия, как две разные квартиры?

Здравый смысл, появившийся на свет, вероятно, с первым ученым, нашептывал мне: «Тебе, наверное, звонил артист, исполняющий роль великого романтика и фантаста».

Впрочем, никто так не любил говорить о здравом смысле, как Самуил Гопс. Здравый смысл — это и был тот бог, которому Гопс, по его словам, служил и молился. Вздорный, нелепый человечек, посвятивший себя одной из самых точных и строгих наук.

С Гопсом я в этот раз встретился в вестибюле института. У Гопса было круглое лунообразное лицо и чрезмерно короткие, не пропорциональные телу руки.

— Добрый день, Дадлин,— приветствовал он меня, пытаюсь дотянуться своей короткой рукой.— К вам обращался с просьбой о встрече один знаменитый писатель, живший в первой половине XIX века?

— Эдгар По?

Гопс встревоженно оглянулся, затем укоризненно покачал головой.

— Ну зачем так громко? Это имя лучше не называть вслух. И потом, согласно вашей гипотезе...

— О гипотезе поговорим в другое время. Да, он обращался.

— И вы, надеюсь, не отказали ему в его просьбе?

— Почти отказал.

— Напрасно! Я вызвал этого писателя, чтобы дать экспериментальное подтверждение вашей гипотезе. Учтите старинные нравы и обидчивый характер писателя. Надеюсь, не в ваших интересах помешать необычному опыту?

— Откуда я мог знать, что это он? У меня были все основания предположить, что это артист, исполнитель роли в биографическом фильме.

— Вы не так уж далеки от истины,— сказал Гопс,

делая загадочный жест своей короткой, как у младенца, рукой.

— Что вы хотите сказать? — спросил я.

— Я хочу сказать, что он и то и другое. Писатель и артист, исполнитель роли, слились в парадоксальном единстве...

— Нельзя ли без загадок, Гопс? — сказал я.

— Пока не закончен опыт, нельзя.

Взглянув на ручные часики, а затем, словно не доверяя им, на большие стенные часы в вестибюле, Гопс вдруг заторопился и исчез за дверями лифта.

3

Я только что поужинал вместе с сестрой своей Анной и вышел в коридор выкурить сигару. Анна не выносила табачного дыма. И я, как школьник, всегда курил, прячась от нее.

Зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказал я, сняв трубку.

— Извините, — услышал я знакомый голос, — вас снова потревожил Эдгар По.

— Какой По? — спросил я, едва сдерживая себя от ярости. — Настоящий Эдгар Аллен По или тот, которого исполняет артист Джонс?

— А кого из них вы хотели бы видеть? — Эти слова долетели до меня, словно с трудом преодолевая время и пространство.

— Вы хотите заставить меня поверить в переселение душ? Вы аферист, шарлатан или сумасшедший!

— Спокойнее, спокойнее, Дадлин, — услышал я. — Не нужно волноваться. С вами говорит человек, преодолевший время. Я уже близко от вас, Филипп. Ждите. Завтра в этот час я буду у ваших дверей.

Весь следующий день я провел в ожидании назначенного мне часа. Где бы я ни был, я беспрестанно думал о нем, об Эдгаре Аллене По, назначившем мне свидание вопреки законам времени и пространства.

Разумеется, это был злой и настойчивый шутник, решивший позабавиться надо мной, а заодно и над моей гипотезой Зигзагособразного Хроноса. Моей гипотезе не везло именно потому, что ее слишком быстро признали. По-

что все, не исключая специалистов, слишком упрощенно и вульгарно поняли ее сущность. Экспериментаторы шли по ложному пути, ища подтверждения истины, самой капризной и парадоксальной из всех истин. Пожалуй, никто из них так меня не раздражал своей туповатой прямолинейностью, как Самуил Гопс со своими короткими и упрямыми руками.

Он опять остановил меня возле лифта, когда я собирался подняться в свою лабораторию.

— Эдгар звонил вам? — спросил он, приблизив ко мне свое лунообразное лицо и переходя на конфиденциальный шепот. Из рта его дурно пахло. И я чуточку отпрянул.

— Какой Эдгар?

— Эдгар По.

— Помилуйте, откуда, когда и как он мог мне звонить, или время пошло в обратную сторону?

— И это говорит Дадлин, создатель гипотезы Зигзагообразного Хроноса, гипотезы, которая с моей помощью скоро станет теорией. Вам же известно, для чего я вызвал его? Пусть другие экспериментаторы возьмется с элементарными частицами, я рискнул на неизмеримо более сложное, и все во имя вашей идеи!

— Но поняли ли вы мою идею? Все, что вы говорите, похоже на бред.

И тут Самуил Гопс (он не отличался ни остроумием, ни хорошими манерами) протянул мне свои короткие руки, а затем сказал:

— Бредить могу я, а не мои руки. Они отличаются завидной трезвостью и настойчивостью, как я не раз уже доказал.

Это лучшее, что он мог сказать. Действительно, его руки всегда производили на меня сильное впечатление.

Я вошел в лифт, нажал кнопку и стал медленно отдаляться от своего слишком напористого собеседника.

День мне показался медлительным и длинным. Хотя все мое существо сопротивлялось и возражало, я все же поминутно смотрел на ручные часы, боясь опоздать на невозможное свидание.

Никогда я так не спешил домой, как в этот день. Анны, к счастью, не оказалось дома. Она ушла к подруге, по-видимому, на весь вечер, и я был один.

Сидя в кабинете, я прислушивался. Дверной звонок прозвучал с опозданием всего лишь на две минуты. Я от-

крыл дверь. У порога стоял низенький человек с вульгарным самодовольным лицом провинциального актера. Он стоял молча и смотрел на меня крохотными пороссячьими глазками.

— Вы ко мне? — спросил я.

— Да.

— Кто вы?

— Эдгар, — ответил он тихо.

Я смерил его взглядом и спросил, не скрывая насмешки:

— Уж не Эдгар ли Аллен По?

— Эдгар Джонс, — ответил он. — Исполнитель роли По в биографическом фильме.

— Это вы звонили мне по телефону?

— Я.

Я пожал плечами и провел актера в свой кабинет. Не мог же я захлопнуть дверь перед самым его носом, хотя и испытывал сильное искушение. Не нравились мне его крохотные глазки, и весь он с ног до головы, и особенно его нос, сизый нос пьяницы и дешевого балагура.

Я еще раз посмотрел на него и сказал:

— Ничуть не похожи вы на Эдгара По. Как могли поручить вам исполнять эту роль?

Гость сел в кресло по ту сторону письменного стола возле камина и закурил сигару.

— Находите, что не похож? — спросил он сипло. — А вот режиссер Ингрэм другого мнения. Он мной доволен. Вполне! Когда посмотрите фильм, вы меня не узнаете.

— Грим, — сказал я.

— Нет, — возразил он без всякого смущения. — Не только работа искусного гримера. Талант тоже.

— Скажите, а что привело вас ко мне?

— Меня направил к вам изобретатель Гопс. Он же, возможно, и убедил режиссера Ингрэма поручить мне исполнение главной роли. Ах, замучили меня Ингрэм и ваш Гопс, особенно Гопс.

— А при чем Гопс? Какое ему дело?

— Это и для меня загадка. Надеюсь, вы поможете мне ее разгадать. Мне говорили, что Гопс выполняет ваше поручение.

— Это не совсем точно. Он ищет экспериментальных подтверждений моей гипотезы. Но он находится на ложном пути.

— Не думаю,— сказал Джонс.

— Как вы можете судить о тонкостях современной физики, вы, провинциальный актер?

— Когда закончат работу над монтажом фильма, меня будет знать весь мир.

— Вы не преувеличиваете?

— Нисколько.

Облачко табачного дыма закрыло его лицо. И в тот же миг все погрузилось во тьму. Голос из тьмы, невидимый голос, спросил меня:

— Что случилось? Почему темно?

— Не знаю. По-видимому, перегорела электрическая лампочка. Сейчас проверю.

Только через минуту я спохватился и сообразил, что это был другой голос, не голос актера Джонса, а голос того, кто говорил со мной по телефону.

От волнения руки мои плохо повиновались. И когда я включил, наконец, запасную лампочку, я растерялся. В кресле вместо Джонса сидел совсем другой человек. Это был действительно Эдгар По. Превращение было не только психическое, но и физическое. Большие задумчивые глаза смотрели на меня. Лицо удлинилось. Фигура стала гибкой и стройной.

— Это вы, Джонс?— спросил я.

— Нет,— услышал я мечтательный и красивый голос.— На этот раз уже не Джонс, а Эдгар Аллен По.

— По? Эдгар Аллен По? Этого не может быть!

Он усмехнулся и не стал убеждать. Он сидел напротив меня. Часы на моей руке подтверждали, что время не стояло на месте и секунды текли, превращаясь в минуты, обновляя всегда куда-то спешащее бытие. Он сидел с таким видом, словно у него не было никаких дел и забот ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем, и он был освобожден от всех обязанностей, свойственных человеку.

Прошел час, а он все сидел. О чем он говорил со мной? Почти ни о чем. Сделал два или три каких-то незначительных замечания, относящихся к трезвой обыденности электрического света:

— Я предпочитаю колеблющийся свет свечей,— сказал он.— В вашем мире невозможен ни Рембрандт, ни Бетховен. Слишком все отчетливо... И я тоже здесь невозможен, здесь, в вашем мире, где нет теней.

— А в вашем?— спросил я.

Он оставил мой вопрос без ответа. После паузы, длившейся слишком долго, он прочел отрывок из своего стихотворения «Улялюм»:

Разговор наш был грустный и серый,
Вялых мыслей шуршал хоровод,
Тусклых мыслей шуршал хоровод..

— Разве мы говорили? — спросил я. — О чем?

— Почти нет, — ответил он. — Все же между нами столетие, Даллин.

— Но вы здесь, — сказал я. — Я могу дотронуться до вас рукой.

— Не нужно, — отстранил он мою руку.

— Надеюсь, вы все же не призрак?

— Я слишком толст и вульгарен для призрака. Не правда ли? — Сказав это, он достал носовой платок из кармана и провел им по лицу, словно стирая грим.

И в то же мгновение он снова превратился в Джонса, превратился при электрическом свете у меня на глазах, не погружаясь в сумрак. На вульгарном лице играла самодовольная улыбка.

— По-видимому, все-таки грим, — сказал я.

— А может, талант? — спросил он.

— Талант, талант. Все твердят это слово, и, в сущности, никто толком не знает, что это такое.

— Таланту нужны тени, сумрак, как Рембрандту. Ну, как я сыграл?

Я промолчал. Если это только не было шарлатанским трюком или обманом чувств, передо мной сидел гений.

Я проводил Джонса до дверей, с изумленным недоверием разглядывая его стереотипную вульгарную фигуру.

4

Самуил Гопс протянул мне свою короткую толстую руку и, доверительно приблизив лицо, спросил:

— Ну, как Джонс?

— Выдающийся актер, — сказал я.

— А по-моему, посредственность.

— Но он буквально на моих глазах превратился в По. Ни на сцене, ни на экране мне не доводилось видеть таких превращений.

— Бульгарен. И глуп,— сказал Гопс.

— Да, пока он был Джонсом, но когда он превратился в По...

— Превратился? Не он превратился, а я его превратил. Согласно вашей гипотезе...

— О гипотезе в другой раз. Сейчас меня занимает этот феномен. Кто этот Джонс?

— Точка, где пересеклись зигзагообразные линии. Согласно вашим подсчетам...

— Довольно, Гопс. Вы очень произвольно и неряшливо толкуете мою гипотезу. Кто Джонс, спрашиваю, кто он, сумевший...

— При чем его умение? Он точка, в которой пересеклись... Неужели вы не догадались, что в вашем кресле сидел настоящий По. Согласно вашим вычислениям...

— Довольно, Гопс, хватит меня дурачить. Я хочу посмотреть фильм, поставленный Ингремом. Ваши попытки подтвердить мои идеи... я, разумеется, их ценю. Но вы на ложном пути. Позвоните Ингрему.

Гопс набрал номер и крикнул в трубку:

— Ингрем? Это Гопс говорит. Нам с Дадлиным хочется взглянуть на ваш материал. Завтра? Нет, безусловно, сегодня. Через полчаса будем у вас на студии.

Ровно через полчаса мы были там. Ингрем почему-то не пожелал возиться с нами. Сославшись на занятость, он ушел в монтажную, поручив одному из своих ассистентов объяснять то, что едва ли можно было объяснить на языке здравых реальных фактов и обыденной логики.

Самуил Гопс сел со мной рядом в кресло с таким видом, словно он был главным постановщиком фильма.

— Главное — настойчивость и упорство,— сказал он, загадочно усмехаясь.— Это безусловно. С их помощью я преодолел закон природы и вытащил его со дна прошлого.

— Вы имеете в виду этого провинциального актера с пороссячьими глазками?

— Нет, того, другого, кто жил сто с лишним лет тому назад.

— Опять принялись за свое? Чушь! Бред!

— Но, согласно вашим подсчетам, координаты...

— Перестаньте! Вы ровно ничего не поняли. Моя идея не имеет ничего общего с вашей жалкой метафизикой.

Я взглянул на Гопса. Недоверчивая усмешка кривила его лунообразное лицо.

— Метафизикой? — сказал он. — Сейчас вы разубедитесь. — И показал на экран своей короткой, как сарделька, рукой.

5

— Ну, что вы скажете теперь? — спросил меня Гопс, когда с экрана исчез последний кадр фильма и в зале снова горел трезвый будничный свет.

— Что я могу сказать? Джонс гений. Я никогда не видел подобной игры. Это было полное превращение в другого, некогда существовавшего человека. Настоящий, подлинный Эдгар По, бесподобным мастерством актера возвращенный нам из прошлого.

Гопс рассмеялся несколько наигранным смехом.

— Вам кажется это смешным? — спросил я.

— Еще бы, — ответил он. — Создатель гипотезы Зигзагообразного Хроноса твердит мне об актерской игре, когда речь идет о физическом явлении, предусмотренном его собственной гипотезой. Это был не Джонс, игравший знаменитого писателя, а сам Эдгар По. Пересечение зигзагообразных сил в точке «Д», в данном случае актер Джонс...

— Довольно пошлостей! — перебил я его. — Мне смешно, когда вы начинаете комментировать мою статью, ничего в ней не поняв. А вот и сам Эдгар Джонс!

Актер сидел в углу рядом с ассистентом. Увидев меня, он кивнул. Лицо его мне показалось смущенным.

— Джонс, — крикнул я, — вы совершили чудо.

— Чудо совершил не я, — сказал актер, — а Самуил Гопс. Согласно вашей гипотезе...

— В таком случае, чудо совершил я, — сказал я, — и я могу рассчитывать на половину вашего гонорара?

По-видимому, Джонс был лишен чувства юмора и не понял моей шутки. Лицо его стало озабоченным, как перед кассой, где получают деньги.

В зал вошел режиссер Ингрэм. Он легко нес свое большое и красивое тело. Подойдя ко мне, он сказал:

— Боюсь, что наш фильм не понравится зрителю, Дадлин.

— Почему?

— Он слишком реален и будничен. Нам удалось восстановить время почти с документальной точностью, но

мы не сумели избежать той монотонности, которой не выносит зритель. Жизнь знаменитого писателя — такая, какой она была. Без прикрас.

— Но вы сами довольны?

— Как вам сказать? Не совсем. И кроме того, я замучен.

Он показал взглядом на Гопса, разговаривавшего в эту минуту с артистом, и сказал тихо:

— Больше всего меня измучил этот слишком напористый человек.

— Гопс? А какое отношение он имел к постановке фильма?

— Всюду совал свой нос. И всегда от вашего имени. Ведь в основу фильма положена ваша теория Зигзагообразного Хроноса.

— Как это понять?

— Не вам у меня, а мне у вас нужно просить объяснения. Гопс уклонялся от них, ссылаясь на чрезвычайную сложность вашей теории, имеющей отношение к обратному ходу времени. Короче говоря, он намекал на то странное обстоятельство, что роль Эдгара По исполнял не только Джонс, но и сам По, приходивший ему на помощь...

— Какая чепуха! По умер в первой половине XIX века...

— Я тоже убежден в этом, но Гопс... Впрочем, не стоит его упрекать. Только благодаря его напористости нам удалось добиться от Джонса такого сильного и талантливого исполнения. Мои ассистенты считают, что Гопс применил какие-то химические стимуляторы, действующие на воображение актера. Перед каждой съемкой Гопс не отходил ни на шаг от Джонса. Возможно, действие стимуляторов...

— Сомнительно, — прервал я его.

— А чем объяснить превращение? Только ли талантом? Как понять хотя бы такой факт: крошечные глазки Джонса превращались в большие умные глаза Эдгара По, менялась фигура. Впрочем, вы сами могли в этом убедиться, смотря фильм.

Он замолчал. К нам приближался Гопс, держа за руку Джонса.

— Помирите нас, — говорил Гопс. — Джонс обижается на меня, что я не хочу признать эксперимент законченным. Смешно! Джонс хочет остаться Джонсом, он не хочет окончательно превратиться в По.

Моей сестре Анне не везло. Ей чертовски не везло. Все молодые люди, которые за ней ухаживали, покидали ее спустя месяц или два после начала знакомства. Я не мог этого понять. Анна казалась мне хорошенькой и неглупой девушкой, сердечной, скромной, возможно, даже самоотверженной.

Шли годы. К Анне незаметно подкрадывалось увядание, предвестник скорой и преждевременной старости. И никто из родных и знакомых уже не думал, что она выйдет замуж.

Я был очень удивлен, когда однажды утром Анна сказала мне смущенно:

— Филипп, сегодня вечером придет мой жених. Я хотела бы тебя с ним познакомить.

— Жених?— пробормотал я.— Ты бы хоть предупредила меня раньше и записала на бумажке его имя. Ты же знаешь, что у меня плохая память на имена.

— Его имени ты не забудешь. Оно очень известно.

— Известно? Ну, тогда назови.

— Эдгар По.

— Ты с ума сошла! По умер сто с лишним лет назад.

— Возможно, это его однофамилец. Но ты с ним знаком. Он тебе много раз звонил. И когда тебя не было дома, он разговаривал со мной. Однажды он назначил мне свидание.

— И ты не отказала ему?

— У него такой красивый мечтательный голос, Филипп. У меня не нашлось сил отказать. И я пошла к нему на свидание. Чувство не обмануло меня. Он оказался тем человеком, которого я ждала всю жизнь.

— Обожди, Анна. Я сейчас все объясню. Никакого По нет. Есть великий актер Джонс, великолепно сыгравший эту роль в новом, еще не вышедшем в прокат фильме. Не думаю, чтобы Джонс стал продолжать игру, начатую в фильме.

— Нет, Филипп! Ты ошибаешься. Он не актер. Впрочем, ты сегодня в этом убедишься.

В голосе Анны зазвучала необычная нотка, пробудившая во мне дремавшие чувства. Анна была не только единственной моей близкой родственницей, но и воспитанни-

цей. Отец и мать умерли рано. В какой-то мере мне пришлось заменять ей родителей. Когда она была девочкой, я был очень внимателен к ней. Я покупал ей одежду, подогревал завтраки, помогал решать трудные задачи, водил в детский театр, в зоологический сад. Позже это чувство заботливой и душевной ответственности притупилось. Вместо нуждавшейся в постоянной заботе девочки возникла девушка, причем девушка с характером. Теперь уже не я, а она заботилась обо мне, стараясь освободить меня от всего, что могло помешать научно-исследовательской работе. С тех пор я все меньше задумывался о судьбе Анны — что же, старая дева, каких много... Но ведь и я тоже был старый холостяк, больше всего на свете ценил привычный уклад жизни и не желал его менять.

Слова Анны о том, что у нее появился жених, чрезвычайно встревожили меня. Не признаваясь даже самому себе в закоренелом эгоизме, я не хотел менять свои привычки даже ради счастья сестры.

Вечером Анна тихо постучала в дверь моего кабинета.

— Он уже пришел, — сказала она. — Но очень смущается. Будь с ним внимателен, Филипп. Я тебя очень прошу.

Я ожидал увидеть актера Джонса и не мог понять, чем мог пленить мою сестру этот некрасивый, вульгарного вида человек с крохотными глазками. Но вместо Джонса я увидел Эдгара По. Да, это был он. Он сидел в кресле, погруженный в глубокую задумчивость, как на портрете в первом томе своего собрания сочинений.

Увидев меня, он встал и протянул мне изящную руку.

— Между нами время, — сказал он тихо и значительно, — время и пространство тоже. Но я здесь с вами, Дадлин, и с вашей милой сестрой. Всем этим я обязан изобретателя Гопса.

— А не таланту актера Джонса?

— Ради бога, не говорите мне об этом актере! То обстоятельство, что зигзагообразные силы пересеклись в точке «Д», оказавшейся Джонсом, согласно вашей теории, мне кажется чудом, хотя и обоснованным математической логикой. Но этот актер! От него разит самодовольством и жадностью. Знаете, сколько он потребовал с киностудии за исполнение роли?

Внезапно По замолчал. Он молчал в течение часа, казалось, приближая эту паузу к чему-то непостижимому,

как он сам. Перед моим уходом он внял просьбе моей бедной сестры и прочел стихотворение «Улялюм»:

Я сказал:— Горячей, чем Диана,
Она движется там, вдалеке,
Сквозь пространства тоски вдалеке...

— Что за надпись, сестра дорогая,
Здесь, на склепе? — спросил я, утروю.
Та в ответ:— Улялюм... Улялюм...
Вот могила твоей Улялюм!

Он читал, и мне казалось, что пространство движется вместе с комнатой моей сестры, заволакиваясь туманом трагических и музыкальных слов.

Я вышел из комнаты с таким чувством, словно видел сон наяву. Придя в кабинет, я долго ходил из угла в угол, ища логического объяснения всему тому, что случилось со мной в комнате сестры. Я сердился на сестру и на самого себя за то, что дал кому-то непозволительно играть с реальностью и здравым смыслом и позволил совершить насилие над своими чувствами, над своей убежденностью в невозможности и алогичности всего, что произошло.

Через каких-нибудь полчаса все объяснилось. Услышав голоса в коридоре, я открыл дверь и снова увидел гостя своей сестры, надевавшего пальто и шляпу. Он стал ниже, толще, вульгарнее. На лице его вместо больших задумчивых глаз Эдгара По были крохотные глазки.

Я подошел к нему и сказал тихо, чтобы не услышала сестра:

— Актер Джонс!

— Да, — ответил он.

— Что вы делаете? Образумьтесь!

— Не мешайте мне играть! — сказал он. Затем он исчез за дверью.

7

Статья Самуила Гопса с сенсационным заголовком «Эдгар По, возвращенный из прошлого» произвела в моей лаборатории целую бурю. Елизавета Меб, научная сотрудница, отличавшаяся резким и нетерпимым характером, подавая мне журнал со статьей Гопса, сказала:

— Посмотрите, во что этот шарлатан превратил вашу теорию!

Я бросил взгляд на слишком яркую и безыскусную обложку журнала. На обложке был изображен лихо скачущий ковбой. Это был журнал приключений, ремесленной фантастики и псевдонаучной информации.

Статью Голса иллюстрировали два снимка: актер Джонс в жизни и актер Джонс в фильме в роли знаменитого писателя.

— Что вы на это скажете? — спросила Елизавета Меб, и ее тонкие бледные губы сложились в недоброжелательную усмешку.

— Пока ничего. Вот прочту статью...

— Боюсь, как бы во время чтения с вами не случился удар.

— Не беспокойтесь. Я не слишком впечатлителен, чтобы позволить статье Голса взять верх над чувством юмора.

И я углубился в чтение статьи. Надо сказать, что она была написана искусно, рукой человека, явно умеющего разговаривать с читателем. Вероятно, кто-то из штатных сотрудников журнала помог Голсу изложить его мысли так, чтобы нелепость и ложность их не очень бросились в глаза.

Досадно было другое. Голс писал не только о своем сомнительном эксперименте, но и о моей гипотезе, смысл которой вряд ли был понятен не только читателям журнала, но и ему самому.

В XX веке было немало попыток вульгарно понять и изложить теорию относительности. Моя гипотеза Зигзагообразного Хроноса была еще более беззащитной. Она не имела никакого отношения к законам микромира, в ней шла речь о явлениях дискретных, об элементарных частицах, о том, что для некоторых из них, обнаруженных совсем недавно и подчиняющихся вращательным формам движения, односторонность времени теряет свою силу.

Для возбуждения острого читательского интереса Голс начал с конца. Он дал нечто вроде рецензии на только что вышедший фильм из жизни Эдгара По. Он высмеивал эстетические восторги и рассуждения кинообозревателей вечерних газет по поводу игры Джонса и его чудесного перевоплощения в знаменитого писателя.

Игра? — спрашивал он. — Перевоплощение? Ну, а почему не сказать правду, даже если она противоречит опыту и здравому смыслу? Зачем скрывать истину, хотя она и парадоксальна? На экране появился настоящий По. Да, он автор необыкновенных рассказов. Его удалось выхватить из его времени и перенести в наше благодаря сложному эксперименту, опирающемуся на теоретические разработки известного физика Филиппа Дадлина. Чтобы не затруднять внимание неподготовленного читателя математическим аппаратом, автор статьи должен опустить доказательства нового дискретного понимания времени, его зигзагообразной природы. Эксперимент, произведенный в лаборатории Гопса, внес нечто принципиально новое в понимание сущности актерской игры. Актер не играет с действительностью, а скорее действительность играет с ним. На время он становится другой личностью.

Статья была длинная, и я не намерен пересказывать ее содержание,

8

Я отложил журнал и облегченно вздохнул. Чтение статьи Гопса было похоже на сеанс гипноза.

— Ну, что теперь скажете, милый Дадлин? — спросила Елизавета Меб.

— Он прав только в одном, — ответил я, — в каждом современном человеке живет актер. Меня удивляет, что вульгарный и недалекий Гопс мог так тонко изложить эту не лишнюю остроты и наблюдательности мысль.

— Вы обратили внимание на второстепенное, — сказала Елизавета Меб. — Разве вас не возмутила попытка мещански опошлить и исказить смысл вашей физической идеи? Он пишет, что он убедил актера Джонса в том, что Джонс уже больше не Джонс, а Эдгар Аллен По, вызванный из прошлого.

— А может, он и в самом деле его убедил, Елизавета?

— Но какое право имел он это делать? С точки зрения этики это преступно.

— Не будем говорить об этике, Елизавета. Это далеко нас заведет. Я не вижу ничего преступного в том, что Гопс помог Джонсу войти в свою роль и талантливо ее сыграть. Если рассуждать так, как рассуждаете вы, то

нужно признать каждого режиссера уголовным преступником.

— Не спорю,— сказала Елизавета.— Режиссеры далеко не преступники. Во всяком случае, не все. Но обратили ли вы внимание на другое?

— Что вы имеете в виду?

— Меня возмущает логическая непоследовательность Гопса. В начале статьи он намекает, что Эдгар По был возвращен из проплого для экспериментального подтверждения вашей гипотезы, а в конце он становится скромным и объясняет психологическое превращение Джонса его слепой верой в вашу теорию.

— Что ж, это мне даже лестно.

— Ну, вот,— сказала возмущенным тоном Елизавета Меб,— вы уже готовы амнистировать Гопса. А заодно и этого мошенника Джонса.

— Вы убеждены, что Джонс мошенник? Какие у вас основания?

Елизавета оставила мой вопрос без ответа и изобразила на своем лице презрение, презрение и насмешку.

Мне стало не по себе. Вопрос о том, что собой представлял Джонс, имел для меня отнюдь не только академическое значение. Джонс продолжал посещать мою квартиру и, перевоплощаясь в Эдгара По, ухаживать за моей несчастной сестрой. Я как мог противодействовал этому, но он всякий раз говорил мне:

— Не мешайте мне играть.

И каждый раз на его подвижной физиономии появлялось выражение, которое бывает на лице человека, которому мешают выполнять его долг.

Анна тоже была недовольна моим вмешательством в ее личную жизнь.

— Ты эгоист, Филипп,— упрекала она меня.— Ах, какой ты бессердечный эгоист! Раньше я в тебе этого не замечала.

Не столько ее слова, сколько сама интонация ее голоса, проникающего до самых глубин моего существа, действовала на меня. Каждый раз я отступал перед силой этой интонации и допускал то, что нельзя было допускать. Актер продолжал появляться в нашей квартире. Сколько я ни размышлял, я не мог понять истинной его цели. Чем его, мировую знаменитость, могла прельстить моя бедная сестра?

В этот вечер я узнал нечто важное. Придя домой, я застал сестру. Судя по запаху еще не рассеявшегося табачного дыма, ее гость только что ушел.

— Мне ты не позволяешь курить в твоей комнате, — сказал я, — а актеру Джонсу все дозволено.

— Он не актер Джонс.

— А кто?

— Эдгар По.

— Довольно повторять нелепости. Дико! А главное, смешно! Ведь ты не меланезийка с Трибриантовых островов, а цивилизованная женщина, сестра ученого.

— И все-таки он не актер, а Эдгар По.

— Тем хуже, — сказал я, — ведь это же двусмысленно и страшно. Значит, за тобой ухаживает призрак, нечто, стоящее по ту сторону реальности?

— Нет, он не призрак. Он живой, страдающий, глубоко чувствующий и все понимающий человек.

— Не верю! Актеришка, у которого есть какие-то свои нечистые цели. Зачем он ходит сюда?

— Бедный мальчик, — сказала она. — Если бы он слышал эти ужасные слова. Замолчи!

— Этому мальчику больше сорока лет. Он на своем веку...

— Замолчи! Я прошу тебя. Если бы ты знал, как ему тяжело, как он тоскует по своему времени, из которого его так безжалостно вырвал физический опыт, поставленный Гопсом.

— Чепуха. Гопс слишком вульгарно и искаженно толкует мою гипотезу. Пойми, твой Джонс не элементарная частица. А моя теория времени и пространства имеет отношение только к микромиру и Вселенной.

— Бедный мальчик! Он говорил мне о твоей теории и об опыте, поставленном Гопсом, об опыте, который удался. И он просил меня, чтобы я уговорила тебя помочь ему вернуться туда.

— Куда?

— В девятнадцатый век, в котором он жил и писал свои рассказы.

— Он писал подчас очень жестокие рассказы, хотя и очень талантливые...

— И все равно с ним нельзя поступать так жестоко, как поступил Гопс, желая подтвердить твою концепцию.

— Хорошо, Анна. Допустим, я на минуту поверю в эту нелепость... Но объясни, почему он похож на актера Джонса?

— Это тебе кажется. Ты себя убедил. А между тем... Она не договорила и вся затряслась от плача.

— Бедный мальчик. Ему душно в нашем мире. И я дала слово ему помочь.

Я всегда с трудом выносил женские слезы. А сейчас плакала моя сестра. Плечи ее дрожали.

— Где же логика? — спросил я. — Ты же любишь его, насколько я понимаю.

— Да, люблю. Это первый человек, которого я любила по-настоящему. И поэтому прошу тебя помочь ему вернуться в свое время, в свой век, к людям, которые его окружали, пока жестокий и грубый опыт твоего Гопса безжалостно не вырвал его из его среды.

— Но, может, ты тоже хочешь с ним уйти туда?

— Нет. Это не нужно и невозможно. Я останусь здесь с тобой и буду вспоминать о нем... Верни его в его мир, Филипп. Верни, я тебя прошу. Я не оставлю тебя в покое, пока ты не вернешь его в его век. Верни его, верни!

— Это невозможно, Анна, пойми, время — однонаправленный необратимый процесс. Будущее еще будет, но прошлого уже нет, и оно никогда не вернется.

— Но он много раз мне объяснял твою теорию времени. Согласно твоим вычислениям, время вовсе не однонаправленно, оно обратимо.

— Да, Анна, но только в микромире, где другие законы. Если бы твой Джонс был элементарной частицей...

— Он не Джонс, а Эдгар По. И ты должен его вернуть. Ты это сделаешь, Филипп, ради меня.

— О, если бы я мог это сделать!

Тихо, молча, на цыпочках, как вор, я вышел из комнаты Анны и закрылся в своем кабинете.

10

Мальчишки выкрикивали пронзительными голосами:

— Последние новости! Бесследно исчез знаменитый киноартист Эдгар Джонс. Предполагают самоубийство!

Я подрулил машину к тротуару, подозвал юного продавца, купил вечернюю газету и стал читать. Но заметка была лишь чуть обстоятельнее выкрика продавца. В ней сообщалось, что еще за много дней до исчезновения артист Джонс уверял всех своих знакомых, что он не Джоне, а Эдгар По — жертва физического эксперимента и был вызван из прошлого для подтверждения одной новой и «сумасшедшей» гипотезы... Стало известно также, что во время съемок биографического фильма «Эдгар По» Джонс, исполнявший главную роль, принимал химические стимуляторы, сильно действующие на эмоциональную сферу.

Я уже хотел спрятать газету, как мой взгляд упал на строки, ошеломившие меня.

«На днях в Балтиморе, — прочел я, — историк литературы Крэншоу нашел неизвестный и никогда не публиковавшийся рассказ Эдгара Аллена По. В рассказе идет речь о путешествии во времени из девятнадцатого века в конец двадцатого. Читайте нашу газету. В одном из ближайших номеров будет опубликована эта сенсационная находка».





НЕОБЫЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ

1



— Кто? — спросил я его.

Он ответил с легкой грустью в голосе:

— Разве я знаю, кто я? Я слишком похож на тебя, чтобы настаивать на самостоятельном значении своего личного «я». Я еще не знаю, кто я. Но надеюсь, скоро буду знать. А кто ты?

— Джек Питерс. Твой создатель.

— Бог?

— Откуда тебе известно о боге? Бога нет. И кроме того, разве я похож на бога?

— А кто же ты? — допытывался он.

— Твой создатель.

— Отец?

В его голосе прозвучал оттенок неуверенности.

— В прямом смысле, нет. В переносном — да. Ты не рожден. Ты создан, как создаются...

Я не нашел в себе сил, чтобы закончить начатую фразу. Ведь я хотел ему сказать: «Ты создан, как создаются вещи». Мне стало жалко его. Он был так обидчив, так самолюбив.

— Отец, — сказал он ласково. — Отец, — повторил он это так странно звучащее в его устах слово. — Отец...

Самой интонацией, модуляцией своего голоса он вложил в это слово столько непосредственного и глубокого чувства, что мне стало не по себе.

— Суди сам, как я могу быть твоим отцом? — сказал я. — Ты выглядишь моим ровесником.

— Брат? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— А кто?

Я оставил его вопрос без ответа. Не мог же я ему сказать, что я конструктор, изобретатель, изобретший его.

— Приятель, друг? — спросил он.

— Возможно, когда-нибудь мы станем друзьями, — сказал я.

Но возможно ли это, в самом деле? Я все еще смотрел на него, как на вещь, правда, разумную вещь, но все же вещь.

— Не довольно ли на сегодня? Ты, наверное, устал? Отдохни. Осмотрись. Завтра я приду к тебе.

Он, по-видимому, не хотел, чтобы я уходил от него. Ему претило одиночество.

— Отец! — звал он меня. — Отец...

2

Я обучал его видеть мир. Мне хотелось добиться, чтобы он видел вещи более остро и свежо, чем видят обыкновенные люди, чуточку утомленные тем, что окружает их с детства.

У него не было ни детства, ни юности. Он сразу стал взрослым.

Я клал на стол яблоко.

— Что это за предмет? — спрашивал я его.

Он ответил, как ответил бы Сезани, Петров-Водкин или великие фламандцы, если бы они могли вложить в слова всю объемную мощь, силу и мудрость своего живописного видения. Он рассказывал мне о том, что открывал его глаз, погружаясь в яблоко, в его мягкую округлость, в его свежесть и аромат.

Обучая его, я обучался и сам.

— Отец... — Он все-таки называл меня так. — Отец, не находишь ли ты, что природа мудра и искусна.

Я не поправлял его, не говорил ему, что я не отец. Я объяснял.

— Яблоко создано не только природой, но и садовником. Садовник затратил не меньше усилий, чем природа.

Он слушал. Слушал не без удовольствия. Ведь он сам-то не имел никакого отношения к природе.

Я учил его слушать и учился сам. Шепот дождевых капель, падающих в траву. Музыкальное биеие весеннего ручья, ломающего звенящие льдинки. Голос кукушки, сливающей протяжные тающие звуки с зарей. Свист иволги. Рокот и стон рояля... Он вбирал в себя мир и впитывал все, что его окружало.

— Учитель, — спрашивал он, — скажи, а что такое человек? Почему он появился на Земле? Откуда пришел и куда идет?

— Ты сам должен ответить на эти вопросы. Учись думать...

Многие его вопросы ставили меня в тупик. Я был всего-навсего инженером-биологом, создателем думающих объектов, а он задавал такие вопросы, на которые мог бы ответить только философ.

Помню, как я принес ему знаменитый роман Александра Дюма «Три мушкетера».

Он начал читать с конца. Я подумал, что это объясняется крайней его рассеянностью. Но я ошибся.

— Я читаю с конца, — сказал он, — потому что в конце ищу начало.

— Не проще ли, — спросил я, — искать начало на первой странице книги?

Ответил он не сразу.

— А что такое начало, учитель, и что такое конец? Разве каждая вещь не бесконечна?

Я растерялся еще больше. Уж не шутит ли он, не смеется ли надо мной? Он был всегда так логичен, так строг и точен в обращении со словом.

— Ладно,— сказал я.— Оставим эту тему на будущее. Твой разум еще не настолько окреп, чтобы мы могли вести споры на столь отвлеченную тему. Как спал?

— Спал, как всегда, крепко.

— Какие видел сны?

— Видел во сне свое прошлое.

— У тебя нет прошлого, дорогой. Я же от тебя никогда этого не скрывал. Ты возник в тот день, в тот час, который был обозначен в графике работы моей лаборатории.

— Нет, у меня есть прошлое,— настаивал он.— Я его вижу во сне.

— Что же ты видишь?— спросил я.— Будь добр, расскажи.

— Мне снится,— сказал он, мечтательно глядя вдаль,— река, на берегу которой я провел свое детство. Тропа снится. Она теряется в лесу. Мои братишки и сестренки играли со мной в жмурки. Я помню, как мне завязали глаза платком. Мир вдруг исчез. Из темноты слышались веселые смеющиеся голоса. Я кружился на месте, протягивая руки, чтобы кого-нибудь схватить. Потом я сорвал платок с глаз. Солнце ослепило меня. Чудесный мир открылся. Гора. Прозрачная синь лесной речки. Птичьи голоса... Это было у меня, правда? Что ты молчишь? Не отбирай этого у меня.

3

В этот раз он был чем-то возбужден.

— Отец,— спросил он,— к тебе часто возвращается прошлое?

— Прошлое не может возвращаться... Время необратимо.

— Ты не понял меня, учитель. Я говорю о воспоминаниях. Вчера меня весь вечер томили воспоминания. В юношеские годы, когда я был студентом, я встретил девушку. Ее звали Мери... Мери Остен. Какой чудесный голос у нее был! Она цела... Мы встречались с ней в боль-

шом саду. Иногда она опаздывала. Ты понимаешь, учитель, как билось в эти мгновения сердце? Она появлялась вдруг, как из небытия, всегда с той стороны, откуда я ее не ждал. Но однажды она не пришла. Я стоял и ждал. Сердце билось учащенно. Я ждал, когда пространство расступится и выпустит ее из своих цепких объятий. Но она не появилась. Только к концу дня я узнал, что она пошла в больницу. Через месяц она умерла. Я до сих пор не могу понять этого слова — «смерть»... Что ты смотришь на меня так? Ты не веришь, что это было? Но это было. Было! Понимаешь? Не отбирай этого у меня.



Он не знал того, что знали все сотрудники моей лаборатории, с которых я взял обязательство строго хранить молчание. Он не знал, что он не принадлежал мне. Эксперимент стоил огромных денег. Деньги ассигновала фирма Мэлори. И сегодня в четыре часа дня я ждал специальную комиссию, состоящую из инженеров, кибернетиков и физиологов, для приемки заказа № 032, как это было обозначено в документах, хранящихся в специальном сейфе банка, финансировавшего нашу экспериментальную группу.

Комиссия опоздала всего на десять минут. Явился и сам Мэлори-старший, глава фирмы.

Специалисты вошли в тот момент, когда он сидел с книжкой в руке и читал стихи. Он читал их вслух своим мелодичным, вдохновенным, бесконечно искренним голосом. Увидя Мэлори, он прервал чтение и спросил:

— Кто это, отец?

Он, по-видимому, догадался, почему я не ответил.

— Отец! — крикнул он. — Не отдавай меня! Не отдавай, отец!

Он не мог понять, что я не мог не отдать его.

— Отец! — кричал он.

Я и сейчас слышу его голос. Этот голос сидит в моем сознании, опровергая все усилия оправдать и оправдаться.





КАПИТАН НУК

1

Директор научно-исследовательского института Борис Дак сделал скорбно-ироническое лицо. Он сказал этнологу Армаге своим молодым красивым голосом:

— Последний из могикан... Так, кажется, назывался один старинный роман?

— Да,— ответил Армага.— Вы, по-видимому, не считаете название удачным? К сожалению, автор этого рома-

на не имел возможности советоваться с нами. Он умер три столетия тому назад.

Дак вздохнул.

— Я не читал этого романа. Только слышал о нем в детстве от электронной няни. Нелегко быть последним. Как вы думаете?

Армага промолчал. Он понял, к кому относилось двусмысленное замечание директора. Ведь Армага был последним из этнологов, последним представителем науки, которая давно потеряла свою актуальность.

— Вы понимаете меня, Армага. Я ничего не имею против вас. Вы усердно трудитесь у себя в кабинете, на дверях которого написано: «Сектор первобытного мышления». Я ничего не имею против первобытного мышления тоже. Оно, разумеется, существовало. Но не могли бы вы, — директор замялся, подыскивая деликатные, не способные ущемить чужое самолюбие слова, — не могли бы вы съездить куда-нибудь, привести свежие, добытые в недрах самой жизни факты для подтверждения своих гипотез? В конце концов, каждая наука вынуждена спираться на эксперимент. Это стало аксиомой еще со времен Галилея.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Но что делать? Последний полевой этнолог, изучавший фольклор пигмеев и папуасов, умер семьдесят лет тому назад. Повсеместно высшее образование вытеснило все рудименты прошлого. Согласитесь сами, что доктора наук, супертехнологи, врачи и математические логики — плохой материал для изучения наивных и первобытных форм мышления.

— Я понимаю, — сказал директор. — Но надо смотреть вперед. Человеческое общество Земли, я уже не говорю о Марсе и Венере, располагает огромными средствами для поддержки науки. Мне указали на вас в Управлении научно-экономических проблем. Что это за ученый, заявки которого смехотворно малы? Вам отпустят средства произвести любой эксперимент, разумеется, если в нем есть необходимость. Подумайте, Армага. Покончите со своей робостью и консерватизмом, не подводите наш институт.

— А что вы, собственно, хотите?

— Я хочу, чтобы через неделю вы представили план и смету. Дерзости — вот чего я хочу от вас. Да, это должен быть прыжок в неведомое. Надеюсь, вы поняли меня, Армага?

2

Вся следующая неделя прошла в работе над планом и сметой. Но никаких свежих и дерзких идей не пришло в голову бедному этнологу. Ему нужны были некоторые уникальные книги по теории и истории первобытного мышления. Вот и все.

Когда Армага вошел в директорскую, держа в руках план и смету, его слегка лихорадило. Бориса Дака не любили за его прямолинейность. Другое дело, все предшественники нынешнего директора. Они смотрели на этнолога так, словно еще существовали этнические границы.

За столом рядом с Борисом Даком сидел молодой человек с загадочной улыбкой на лице, узким и чернобровым лицом мага и волшебника.

— Познакомьтесь, — сказал директор этнологу, представляя молодого человека. — Это известный маг и волшебник Робинс. Кроме административных талантов, у него есть еще одна профессия. Он специалист в области возвращения прошлого и режиссер. С его помощью, Армага, вам удастся попасть в потерянный рай первобытных нравов. Теперь дайте взглянуть на вашу смету.

Посмотрев смету, Борис Дак рассмеялся.

— Опять книги и рукописи? Нет, дорогой. Уже заказано парусное судно, на борту которого вы поплывете в семнадцатый век. Кораблекрушение тоже предусмотрено. И высадка на острове, еще до того, как там побывал капитан Кук. Впрочем, это не ваша забота. Обо всем позаботится администратор, реконструктор и режиссер Робинс. Он отлично отрежиссирует ваше пребывание среди туземцев. Не беспокойтесь, среди них не будет ни одного доктора наук, ни одного супертехнолога и врача. Только люди, пребывающие по ту сторону цивилизации, с наивным и поэтичным мироощущением.

3

Робинс отлично отрежиссировал эту сцену. Даже буря, и та началась в строго предусмотренный час. Все шло по расписанию, составленному чернобровым волшебником и магом. Ночью в крошечной темноте Армага оказался в

душном тропическом лесу. Утром он обнаружил, что находится на острове. Днем он увидел приближающиеся к берегу пироги с голыми коричневоотелыми туземцами.

Он хотел было спрятаться в чаще, но был замечен коричневыми людьми, чье зрение отличалось первобытной остротой.

Туземцы ленивой походкой шли по тропе, покачиваясь на ходу и подавая ему, Армаге, какие-то знаки.

Этнолог постарался припомнить все, что он знал о далеком прошлом человечества. Но он знал слишком много, чтобы сейчас припомнить именно то, что ему было необходимо. В голове возникла фраза, ответ его на экзамене, когда он был студентом: «Человек еще не выделился из природы, в нем еще плохо отчленяется «я» и не «я». Человек здесь еще не осознает себя более или менее самостоятельной субстанцией, но скорее только атрибутом, одним из внешних признаков природы».

Тогда эта фраза защитила его от строгого и придирчивого экзаменатора. Но сейчас... Сейчас едва ли она могла прикрыть его тело от копий, стрел и дротиков туземцев, чьих намерений он не знал. Голые коричневые люди шли и шли. На лице одного из них, по-видимому, вождя, играла плотоядная двусмысленная улыбка.

Когда они подошли к Армаге вплотную, коричневоотелый человек, похожий на вождя племени, сделал непонятный жест ладонью. Потом он сказал:

— Природа уполномочила меня, дорогой этнолог, поговорить с вами по душам.

— Вы хотите меня убить? — вежливо спросил Армага. — Кто вы?

— Я еще не определил, кто я. Пока я часть природы. Атрибут. Я еще не отчленился от всего того, что меня окружает. Нет, в мои намерения не входит убийство. Зачем? Для чего? Вы явились сюда, чтобы изучать прошлое? Я — прошлое. Это вас устраивает?

— Вполне.

— Но только не рассчитывайте на мою помощь. Разведите костер. Постройте жилище. Устраивайтесь, Армага. И забудьте о тех, кто вас сюда послал.

— А кто послал сюда вас? — спросил Армага.

— Кто же еще? Новый администратор, маг и режиссер. Меня послал Робинс. Мы артисты, Армага. Наше дело играть. И мы играем. Правда, мы не знаем, чем кончится

наша игра. Ведь мы тоже посланы сюда поймать и запечатлеть прошлое. Нам надо спешить, Армага. Через месяц сюда придут корабли капитана Кука. Настоящего Кука, Армага. Того самого Кука, которого чуть не съели туземцы.



Прошло две недели, две недели длинных и медлительных, как два десятилетия. Этнолог сидел у костра и варил суп. Позади него стояло изделие его рук, ульевидная и полусферическая хижина, соответствующая древнейшей форме человеческого жилья.

Покачивающейся походкой подошел голый коричневатый человек, но уже без плотоядной двусмысленной улыбки на похудевшем и озабоченном лице.

— Нам надо спешить, Армага,— сказал он.— Ровно через неделю здесь появятся корабли Джемса Кука.

— Ну и что?

— Продолжим лучше нашу беседу. Вам хочется знать, как мысляю я, первобытный наивный человек, еще не перерезавший пуповину, соединяющую меня с природой? Слушайте меня! Я мысляю, значит, я существую.

— Это сказал Декарт.

— Простите. Оговорился. Я еще не полностью вошел в свою роль. Мешают приобретенные мною привычки. Надеюсь, это останется между нами. Маг и волшебник Робинс не должен этого знать. Итак, начнем. На чем мы с вами остановились?

— Хватит о первобытности. Уже надоело. Расскажите лучше о Робинсе. По-видимому, он все-таки неважный режиссер. Все, что происходит здесь с нами, смахивает на фарс. Но, судя по началу, когда буря разбила корабль и я чуть не пошел ко дну, у него были несколько другие, более серьезные намерения.

— В свои намерения он меня не посвятил. Режиссер он не из первоклассных. Я с вами согласен, но маг и волшебник не без таланта. Я уверен, что корабли капитана Кука сюда придут.

— Вопреки необратимому ходу времени?

— Думаю, что так. Робинс слишком упрям. И он своего добьется.

— Но все же законы природы... То, что вы говорите, чистейший субъективизм и метафизика!

— Значит, я вхожу в свою роль. Готовясь к этой экспедиции, я читал одну из ваших книг о древнем способе мыслить. Вы пишете... Цитирую: «В первобытном сознании одни вещи превращаются в другие, словно по мановению волшебной палочки». Мне особенно понравилось это выражение: «по мановению волшебной палочки». Ведь мы сейчас находимся в мире превращений. Я это чувствую по себе. Вам можно довериться, Армага?

— Вполне.

— Тогда я открою вам одну тайну. Робинс действительно имеет власть над временем. Пока, правда, еще не полную. Если удастся эксперимент, мы действительно можем встретиться с капитаном Куком.

— А если эксперимент не удастся? Что же тогда?

— Не говорите об этом, Армага. Тогда мы потеряем контакт с действительностью.

— С какой? С нашей или с той, где пребывает этот самый Кук?

— Со всякой, Армага. И с той, и с этой. Нас ждет ничто.

— Ничто? Я никогда не мог понять смысл этого слова.

— Почему?

— Потому что оно отрицает смысл. Вы хотите сказать, что нас ждет смерть?

— О, если бы нас ждала смерть, Армага. Смерть это нечто вполне реальное. Но нам откажут даже в этом. Нам откажут в реальности. Нас спишут как неудачный опыт режиссера Робинса, как брак. Робинс хоть и волшебник, но все же человек. У него тоже бывают неудачи.

5

Армага трудился в поте лица. Он добывал огонь с помощью огнивого сверла по всем правилам первобытной техники. Огонь было уже робко запылал, когда вбежал коричневатый актер, игравший в непозволительную игру с прошлым.

— Армага! — крикнул он ликующим голосом. — Эксперимент удался. Корабли капитана Кука подходят к острову, который сегодня же будет открыт.

Армага взглянул на море и увидел белые паруса. Сердце его сжалось от тоски. Несомненно, это были корабли капитана Кука. Робинсу, по-видимому, удалось повернуть вспять непослушное время и причалить к XVII веку.

— Вы уверены, что это Кук? — спросил этнолог своего голого коричневатого собеседника.

— Еще не вполне, — ответил коричневатый. — С Робинсом время от времени случаются накладки, но вас, наверное, не очень огорчит, если это окажется Магеллан, Ланеруз или Крузенштерн? Скажите, вы психологически подготовили себя к этой встрече? Как вы объясните свое пребывание здесь, на этом острове? Смотрите только не ссылайтесь на Робинса, не раскрывайте механику дела. Учтите, что Кук не подготовлен к восприятию достижений современной нам науки и техники.

— А что же мне ему сказать?

— Лучше ничего не говорите. Сделайте вид, что не понимаете его языка.

— Но он же не оставит меня здесь. Я не похож на туземца. Он заберет меня на свой корабль.

— Ну и что ж! Вы же этнолог и не должны печалиться, что судьба забросила вас в век, где вам удастся сделать много открытий. Вам повезло, Армага. Что передать директору института, если мне удастся вернуться в свой век?

— Передайте ему, что нам необходимо встретиться,





ОЛЬГА НСУ

1

Корреспондент «Квантовой Зари» Олег Нар, придя в лабораторию субмолекулярных проблем, в недоумении остановился. Над письменным столом Главного Субмолекулятора висела надпись, смутившая журналиста явным несоответствием ее содержания здравому смыслу:

«Попробуй, отними у меня мою смерть».

Может быть, следовало помолчать и подумать, но жур-

налист слишком ценил свое время, чтобы тратить его на молчание.

— Вы же отняли ее у всех,— сказал Нар.

— Что я отнял? — рассеянно спросил Субмолекулятор. Он просматривал какую-то сводку, принесенную ему лаборантом.

— Смерть,— ответил неуверенно и смущенно Нар, словно вдруг забыв это деликатное слово.

— Надеюсь, что вы пришли сюда не для того, чтобы меня за это упрекать?

— Нет. Но для чего висит эта надпись?

Лодий улыбнулся. Он выглядел старше своих лет. И выражение его лица совсем не подходило ни к его положению в обществе, ни к его заслугам. Вероятно, так улыбались люди полтора столетия тому назад, люди, чьей участью и призванием были неуверенность и слабость.

Олегу Нару вспомнились старинные романы об униженных и оскорбленных. Как удивительно и нелепо, что Великий Субмолекулятор чем-то походил на них, этих бедных людей. На лице его было просящее, почти умоляющее выражение. Но корреспондент «Квантовой Зари» сделал вид, что не заметил этого.

— Эти слова,— сказал Нар,— потеряли свой смысл. Они звучат почти как шутка.

— Но ведь полвека назад они соответствовали истине. Десятки тысяч лет люди жили, зная, что у них могут отнять их жизнь, но не смерть.

— Но когда-то у них можно было отнять все: благополучие, радость, честь. Их, кажется, называли тогда униженными и оскорбленными?

Нар посмотрел на Субмолекулятора.

Но теперь на него глядел уже совсем другой человек, величественный и строгий, похожий на командира сверхкосмолета или на строителя буев в межзвездных вакуумах. Корреспондент был удовлетворен. Лодий без улыбки больше соответствовал его представлению о том, каким должен быть современный гений.

— Эта надпись,— сказал Великий Субмолекулятор,— много лет дразнила меня и старалась опровергнуть мою идею более остроумно и лаконично, чем все мои многословные противники.

— Расскажите о вашей идее. О противниках не надо. Они первыми побежали на субмолекулярные пункты,

спеша расстаться навсегда со своей смертью, а заодно и со своими убеждениями.

— Не все. Вы преувеличиваете. Но зачем рассказывать мне вам о моей идее?

— Как зачем! Читатели «Квантовой Зари» хотят знать.

— Но они же знают о моей идее, пожалуй, больше, чем я сам. Они и вы тоже, Нар. Я не совсем понимаю, зачем, собственно, вы пришли сюда?

— Узнать о бессмертии.

— Но вы-то сами, в конце концов, бессмертны или нет?

— Кажется,— сказал Нар, покраснев. В его голосе прозвучала нотка явной неуверенности.

— Что значит «кажется»? Это слово меньше всего подходит, когда речь идет об абсолютном. По-видимому, вы оговорились.

— И да, и нет. Ведь прошло всего три недели, как я подвергся бессмертизации. Я еще не вполне освоился с новым состоянием своего организма. Привыкаю.

— А сколько времени вам понадобится, чтобы привыкнуть?

— Годков сто или двести. Не знаю. Во всяком случае, не три недели.

— А почему вы так медлили с субмолекуляризацией?— Голос Главного Субмолекулятора стал металлическим и отчужденным.

— Я ведь журналист. У меня не было свободного времени. Я должен был описывать это великое событие, беседовать с людьми, перешагнувшими через порог временного и природного и приобщившимися к бесконечности.

На лице Субмолекулятора появилась брезгливая гримаса.

— Ради всего святого, только без метафизических выспрещностей. Бесконечность! Зачем эти громкие и пустые слова, когда речь идет о земном и обыденном?

— Вы считаете субмолекуляризацию обыденным явлением?— В голосе Нара опять появилась нотка неуверенности, непонимания, опасения, что его высмеивают.

— А чем же вы мне рекомендуете ее считать? Чудом? Запомните, дорогой. Чудо — это явление единичное, исключительное. Оно похоже на эксперимент, удавшийся только самому экспериментатору, и всего один раз. Оно не под-

дается проверке. Чудо не может иметь массового характера. Запомнили? А теперь скажите, сколько людей, по вашим данным, подверглось субмолекуляризации?

— Двадцать три миллиарда. Все население планеты, включая зону Луны, Марса и больших космических станций.

— Ну, положим, не все население. Не следует так округлять. Не обошлось и без исключений, нашлись люди, которые не пожелали.

Журналист вскочил, протестуя.

— Мне неизвестны такие факты, не хочется верить. Неужели нашлись люди...

— Не торопитесь осуждать их, Нар. Я тоже принадлежу к их числу.

Лицо журналиста покрылось крупными каплями пота. Ему стало холодно. Ему всегда становилось холодно, когда он был очень возбужден. Он достал из кармана портативного робота, записывающую машинку, вбирающую в себя мысли, эмоции, звуки, все, что можно вобрать и отразить, воспроизвести.

— И об этом я могу поведать читателям «Квантовой Зари»?

— Разумеется, можете, Нар. Но я не советую. Все станут сомневаться. А исправить уже поздно.

— Абсолютно поздно?

— Абсолютно, Нар.

2

В мире остался всего один смертный. Это был сам изобретатель бессмертия академик Лодий.

Журналист Олег Нар не решился опубликовать то, что он узнал от Лодия. Что удержало его и помешало выполнить профессиональный долг? Он и сам не смог ответить на этот вопрос, хотя и считал себя знатоком людей и глубоким психологом. Его ум столкнулся с загадкой.

Он снова и снова добивался свидания с Лодием. Но тот отказывал. Разговор их на расстоянии по аппарату, сливавшему звук с образом, неожиданно оборвался.

— Так вы пошутили?— спросил Нар.

— А вам чего бы больше хотелось,— ответил Главный Субмолекулятор,— истины или шутки?

Нар сам не знал, чего он больше хотел. Он услышал смех Лодия, а затем смеющееся лицо Молекулятора исчезло с экрана.

Олег Нар остался наедине с тайной. И это мешало ему жить, наслаждаться безбрежностью предоставленного ему наукой и обстоятельствами времени. По характеру он был суетлив, всегда боялся опоздать и приходил заранее, сердясь на себя и на свою торопливость. Еще недавно эта торопливость была связана не только со свойством его суетливого и чересчур нервного характера, но и с полусознанным чувством, что спешить следует хотя бы потому, что жизнь временна и скоротечна. Теперь Олег Нар отлично знал, что не подчинен времени, и все-таки не мог избавиться от суеты и спешки. Беспокойное чувство торопило его, и свою безвременность он осознавал только умом. Нет, он не ощущал себя бессмертным, наоборот, ему по-прежнему казалось, что время его утекает, спешит, и, как прежде, он нервно посматривал на часы.

Часы — вот предмет, который в продолжение многих столетий человечество слишком ценило, радуясь им, вместо того чтобы печалиться.

В тот день и час, когда Нар вышел из районного пункта субмолекуляризации, он тоже взглянул на часы, подчиняясь силе привычного. Сознание, что он больше не подвластен времени, хмелило его, как вино. Он снял с руки изящные часики, произведение усовершенствованной часовой промышленности, и бросил их на пол. От сильного удара часики разбились. Две стрелки лежали отдельно и неподвижно, словно время уже не нуждалось в измерении.

Но вскоре свободное и хмелящее чувство прошло. Суетливый Нар вспомнил, что он опаздывает в редакцию. Он представил себе недовольное лицо редактора и его насмешливые слова:

— Ну и что из того, что вы бессмертны? Это вовсе не освобождает вас от обязанностей и не дает права опаздывать. Взгляните, не отстают ли ваши часы?

— Я их выбросил.

— Выбросили часы? От вас этого следовало ожидать. Таких людей, как вы, к субмолекулярным пунктам и на пушечный выстрел допускать не следует.

Редактор любил громкие и выпренные выражения, уже вышедшие из употребления.

Нар спешил в редакцию. Мысленно он подыскивал себе оправдание в том, что его интервью с Главным Субмолекулятором оказалось бесцветным. Но разве он, Олег Нар, был в этом виноват? Общечеловеческие интересы бесконечно выше интересов личных. Он должен хранить в тайне признания Лодия.

Вечером, после беседы с редактором, Нар снова связался с Главным Субмолекулятором.

— Что вы хотите от меня? — спросил ученый.

— Я хочу узнать, почему вы предпочли остаться смертным?

— Дорогой, не задавайте глупых вопросов. Предпочел? У меня просто не было времени пойти на пункт субмолекуляризации. Не было и нет. Можете вы это понять?

— Могу, — ответил Олег Нар словно не своим, а занятым у редактора голосом.

3

Первый, кто высказал эту идею, был Николай Федорович Федоров, русский ученый и мыслитель, живший во второй половине XIX века.

Лев Толстой и Достоевский считали его образованнейшим и гениальнейшим из своих современников. У него брал первые уроки понимания космоса и Земли юный Циолковский.

Книга Федорова пробудила в Лодии страстное и неукротимое желание осуществить дерзновенную идею.

Николай Федорович Федоров писал свою удивительную и во многом загадочную книгу в эпоху, когда человечество не только мало знало о космосе, но еще не умело оторваться от Земли. Мысль скромного библиографа Румянцевской библиотеки, опережая на столетие свое время, рвалась вперед в будущее, ища главное решение проблем, связанных с освоением безмерных пространств Вселенной.

Ничто так не препятствовало победе над пространством, как краткость человеческой жизни. Природа, столь «предусмотрительная» в приспособительной способности земных организмов, совершенно не «предвидела» то, казалось бы, очевидное обстоятельство, что человечеству рано или поздно придется выбраться из земной колыбели. Сильный и быстро прогрессирующий разум она одела в слишком брен-

ные и непрочные биологические одежды. Больше рассчитывая на род и генотип, чем на индивид и сому, она поставила человечество перед проблемой, которую, казалось, не дано ему было решить. С «ошибкой» непредусмотрительной природы столкнулись все смелые и решительные космонавты, пытавшиеся выйти за пределы солнечной системы: Им не хватало времени, не хватало жизни, даже замедленной анабиозом и околосветовой скоростью космических кораблей. Сколько дерзких исследователей не вернулось домой только из-за того, что слишком большое расстояние отделяло их биологические возможности от их цели. Их вечно подстерегал коварный цейтнот.

Читая Федорова, юный Лодий испытывал ни с чем не сравнимое чувство тоски по невозможному. Сама бесконечность распростерлась на страницах загадочной книги, бесконечность, казалось, способная поддаться и уступить перед усилием гениального разума.

И все-таки это только казалось. Идея Федорова была только мечтой и вряд ли осуществимой.

Возвращаясь из книгохранилища домой в Большой Студенческий городок, Лодий смотрел на окружающий мир другими глазами. Даже Солнце рано или поздно должно было потухнуть, но человеку кем-то, жившим в старинной купеческой Москве, было обещано нечто более продолжительное, чем жизнь звезд и планет. Не слишком ли высокого мнения был московский библиограф о силе человеческого разума и возможностях науки?

Лодий был слишком горяч, страстен и смел, чтобы испугаться мнения людей без воображения. Окончив факультет космической биологии, он опубликовал восторженную статью о Федорове и идее бессмертия, которую должна осуществить молодая наука — субмолекулярная биология.

Удивительно, что орган строгой науки, журнал, редактируемый крупнейшими биологами солнечной системы, решил опубликовать эту статью. Лодию стало известно, что статья была принята после ожесточенной дискуссии большинством всего в два голоса и что сразу после голосования один из членов редколлегии Аркадий Мамар в знак протеста отказался сотрудничать в журнале.

Это он потревожил Лодия в ночной час, когда тот уже был в постели. Взглянув на экран, Лодий увидел насмешливое лицо Мамара.

— Русские мальчики,— сказал Мамар, словно дразня Лоддя,— русские мальчики!

— Какие мальчики?— спросил Лоддий.

— Те русские мальчики, о которых еще писал Достоевский.

— При чем тут мальчики? Федоров был глубокий старик.

— Он был седоволосым мальчиком преклонного возраста. И, как все русские мальчики, готовый к поискам абсолюта.

— Это делает ему честь.

— Ему — возможно. Но не вам, Лоддий. Еще Гёте в своем «Фаусте» осудил эту мальчишескую идею.

— Вы не поняли «Фауста», вчитайтесь.

— Зато я понял вас. И вашего седовласого мальчика. Мальчики — старые враги логики.

— Мне наплевать на вашу логику.

— Ну, что ж,— ответил Мамар,— тогда нам не о чем говорить. Я отключаюсь от вас. Люди не нуждаются в бессмертии. Оставьте, голубчик, мне мою смерть. Слышите? Оставьте!

Лоддий напомнил Мамару эти его слова через много лет, когда тот явился на пункт бессмертизации. Мамар оказался там среди первых, выражая крайнюю степень нетерпения. От сильного волнения у него тряслась щека.

— Эх, Мамар, Мамар,— сказал Лоддий,— где же вы оставили свои принципы?

— Бросьте,— погрозил пальцем Мамар.— Оставьте эти свои штучки русским мальчикам. Я уже не мальчик!

— Вы старец, жалкий старец. Не волнуйтесь, никто не заменит вашу смерть своей.

— Бросьте эти штучки. Фауст тоже был не мальчик!

4

Жена Лоддия Ольга Нсу спрашивала его чуть не каждый день:

— Главный Субмолекулятор, когда же ты пойдешь на пункт? Или тебе так дорога твоя смерть?

Когда она обижалась, она всегда называла его Субмолекулятором. Это еще можно было ей простить. Но Лоддия

раздражал ее нынешний тон, та легкомысленная интонация, с которой она произносила слово «смерть». Лодий, один из самых талантливых людей солнечной системы, забывал о простых вещах. Ольга Нсу, как и миллиарды других людей, уже была по ту сторону смерти, а Великий Субмолекулятор — по эту. Он был смертный и поэтому уважал смерть.

— Когда же ты пойдешь на субмолекулярный пункт? — допытывалась Ольга Нсу.

— Завтра, — отвечал Лодий.

— Я слышу это каждый день. Отчего же завтра, а не сегодня?

— Но, дорогая, почему это тебя так беспокоит? Я еще не стар и здоров. У меня просто нет времени, чтобы тратить его на свою особу. Я продолжаю свои исследования. Ведь для всех, кроме меня, проблема бессмертия потеряла всякую актуальность. Признаюсь только тебе одной, я боюсь тоже потерять к ней интерес и поэтому откладываю...

Ольга Нсу рассмеялась. Но выражение ее лица не изменилось, не стало менее тревожным и озабоченным. Судьба мужа беспокоила ее. В этом прочном, почти абсолютном человеческом мире он один не обладал никакой прочностью. Он был, как все биологические существа — индивиды на Земле, от слона до бабочки, кроме человека, кратковременен, относителен, почти эфемерен.

Невеселые мысли Ольги Нсу прервал тихий гудок отражателя. Она взглянула на экран. Оттуда глядело на нее незнакомое лицо. Густой низкий голос, однако же полный странной неуверенности и замешательства, произнес:

— Вы Ольга Нсу. А я, кажется, Олег Нар, корреспондент «Квантовой Зари».

Ольга Нсу рассмеялась.

— Нар вы или не Нар?

— Кажется, все-таки Нар.

— Вы хотите меня в этом убедить или просите, чтобы я вас в этом убедила?

— Нет. Впрочем, да. И нет.

— Вам не хватает только уверенности или еще чего-то?

— Для моей уверенности недостает самого главного. Ведь я, так же как вы, абсолютен, бессмертен. Но вечное во мне еще не слилось с временным. Мой характер не изменился. И чувства тоже остались прежними.

— Я уже оценила вашу откровенность. Но ваш звонок ко мне вызван, вероятно, не только желанием поделиться своим самочувствием и настроением.

— Я хотел узнать,— сказал Нар,— почему ваш знаменитый муж откладывает свою субмолекуляризацию?

— Это известно вам одному,— спросила Ольга Нсу с тревогой,— или это уже знают многие?

— Пока мне одному. Но стоит нам опубликовать короткую заметку, и будет знать вся солнечная система.

— Я уже догадываюсь.

— О чем?

— Вам очень хочется порадовать солнечную систему своим сенсационным сообщением.

— Если бы мне этого хотелось, я давно бы это сделал.

— Что же вас удерживает?

— Я хочу понять вашего гениального мужа. Мысль о том, что среди нас, абсолютных, вырванных из цепких объятий времени, есть один смертный, не дает мне покоя.

— Вы тревожитесь о нем?— спросила Нсу.— Бойтесь, как бы он не умер случайной смертью?

— Я тревожусь не о нем, а о себе и обо всех, в том числе и о вас. Что это значит? Не поспешили ли мы? Не сделали ли мы роковую, неисправимую ошибку?

— Вас интересует философский аспект проблемы? Не так ли? Так почему же вы обращаетесь не к философам, а ко мне?

— Меня интересует человеческий аспект проблемы. Только человеческий. И поэтому я обращаюсь к вам. Жена академика Лодия должна знать истинные мотивы поведения мужа.

— А если не знает?

— Исходя из логики, должна.

— Ему некогда. Он занят. Вот и вся причина.

— Вы уверены в этом?

— О, если бы я была в этом уверена!

До напряженного слуха Олега Нара донеслись всхлипывания. Затем экран отражателя покрылся пеленой отчуждения. Нсу отключила себя от свидетеля своей нечаянной слабости.

— Я почти бог,— сказал Нар своей жене, ложась спать.— Почеши, пожалуйста, мне спину.

— У бога не должна чесаться спина. Богу не мешало бы принять ванну.

— По-твоему, у бога не должно быть никаких желаний?

— Оставь, Олег. Это мне надоело. Ты воображаешь, что стал Аристотелем или Спинозой от того, что сходил на пункт субмолекуляризации? Не забывай, что там побывало несколько миллиардов. Но никто, кроме тебя, не вообразил себя богом.

— У них не хватает воображения. Так же, как и у тебя.

— Откуда ты это знаешь?

— Ты думаешь, все изменилось с тех пор, как открылись субмолекуляризационные пункты?

— Я ничего не думаю, Олег. Я устала. Я устала от тебя за эти три недели. С тоской я думаю о том, что прошло всего двадцать дней, а впереди еще целая вечность.

— Разве тебя это не радует?

— Радует. Но меня бы это радовало еще больше, если бы ты не воображал себя богом.

— А кто же я, если не бог? Кто? Человек, в чьем распоряжении вечность, вправе так о себе думать.

— Сколько я тебя знаю, ты всегда был слишком высокого мнения о себе. Можно подумать, что ты предвидел субмолекулярные пункты и абсолютную власть над временем.

— Обойми меня. И поговорим о чем-нибудь временном и мимолетном.

— О чем, Олег?

— Ну, хотя бы о нашей любви.

— Разве она кончилась от того, что мы стали бессмертны?

— Не знаю. Я бог, я вечное существо. Но я еще мало знаю о вечности.

— Олег, перестань называть себя богом. Мне стыдно за тебя.

— Лучше обойми меня. Мне нужно встать рано и писать статью.

— О чем?

— О любви... Редактор утверждает, что читатели хотят знать, какой станет любовь теперь, когда в распоряжении любящих целая вечность.

— Почему он поручил это тебе?

— А я знаю? Он сказал: «У вас есть воображение, Нар. Вам придется заглянуть в будущее. А на это не все способны». Его слова польстили моему самолюбию.

— И что же ты напишешь?

— Еще не знаю. Мне нужно выспаться и набраться сил. Почешу, пожалуйста, мне спину. Когда ты чешешь, мне кажется, что все осталось прежним, как было до этих пунктов. Забыл их название.

— Субмолекулярных, Нар.

— Мне хочется забыть это слово. А тебе? Я все смотрю на тебя и ловлю себя на опасной мысли, что ты не изменилась. Может ли это быть?

— Может, Олег. Все может быть. Это сказала мне одна старуха, не пожелавшая пойти на пункт.

— И она так и не пошла?

— Нет. Это ведь дело добровольное. Она осталась дома и до сих пор не может решить — стоит или не стоит?

— Где она живет? Ты знаешь ее адрес?

— Его можно узнать. А что?

— Я хочу помочь ей сделать выбор. Свой я уже сделал. Но мне хочется еще раз пережить этот миг, миг сомнения. Разбуди меня пораньше.



Ольга Нсу, молодая и энергичная, не любила тратить драгоценное время на встречу с утраченным. Она не любила вспоминать. Ее жизнь была наполнена настоящим, всем тем, что приносил огромный мир. Зачем оглядываться на прошлое? Но с тех пор, как она стала вечной, ее начали томить и услаждать воспоминания, как восьмидесятилетнюю старуху. Она не могла отдать себе отчет, почему это происходило. Ведь впереди были тысячелетия, подаренные ей наукой. И тем не менее она не могла избавиться от воспоминаний. Прошлое, состоящее из мимолетных минут и мгновений, словно дразнило ее.

Ей являлось то ее детство, то юность. Она мысленно видела ту местность, в которой жила вместе с матерью,

отцом и сестрой. Там было множество рек, речек и озер. И когда она садилась в маленький детский вездеход, она говорила автоматическому водителю:

— Тин, остановись в том месте, где пасутся пятнистые олени. Я хочу взглянуть на них.

— А я не хочу,— ответил своенравный робот.— Терпеть не могу пятнистых оленей.

— Ну, Тиник. Я тебя прошу. Ты такой добрый.

— Не льсти мне,— ответил автомат.— Я ипохондрик. Не нужно лакировать действительность. И кроме того, мы можем опоздать в школу.

— Ипохондрик? Что это такое? Это очень красивое слово.

— Все слова красивы, когда они не льстят.

— Ну, Тин. Ну, ради твоих родных.

— У меня нет и не было родственников. Ну, так и быть, я остановлюсь.

Плыли ленивые облака. И вода в ручьях звенела. Грохотал водопад. На ветке сидела синяя белка. Мгновения тожеплыли, как облака.

— Тин, хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Сказка — ложь. А я люблю истину. О чем же твоя сказка?

— О тебе, Тин. И обо мне. И об этих облаках, которые плывут над лесом.

— Ну, пора. Собирайся! Не то мы опоздаем в школу.

Как далеко детство! Ольга Нсу недавно летала в тот край. На месте были ручьи, речки, озера, леса и даже облака. Паслись пятнистые олени там же, где бродили раньше, возле скал, пахнувших лиственничными ветвями и смолой. Но чего-то не хватало там, Ольга не могла понять, чего. Чего-то такого, что было и исчезло.

Свой детский вездеход она нашла в сарае, там же обнаружила и Тина-водителя, погруженного в вечное молчание.

Милый Тин, чудесный ипохондрик, сколько раз мы опаздывали с тобой в школу, заглядевшись на лесную синеву, на плывущие облака или на стройные ноги оленьей важеньки!

Воспоминания несли Нсу дальше, сквозь детство в юность. С Лодием они познакомились на площади большого города возле памятника Уотсону и Крпку. Нсу с удивлением смотрела на памятник. Вместо двух фигур там, на пьедестале, застыло три.

— Кто же третий, с бородой? — спросила Ольга Нсу высокого человека, стоявшего рядом.

— Чарльз Дарвин, — ответил он.

— А при чем тут Дарвин?

— Дарвин совершил самое крупное биологическое открытие в XIX веке, а Уотсон и Крик в XX. Они в интеллектуальном родстве.

— Я проходила это в школе, — сказала Нсу.

— Но почему же вы не узнали Дарвина?

Нсу смутилась. Уж очень строгое лицо было у этого молодого человека, типичное лицо экзаменатора.

— Кто вы? — спросила Ольга Нсу.

— Пока никто. Аспирант. Специализуюсь на субмолекулярной биологии.

— Пока. Ну, а потом?

— Вы хотите заглянуть в мое будущее? Не нужно. Если мне удастся реализовать одну идею, будущее навечно сойдет с настоящим.

— Что вы хотите сказать?

— Когда-нибудь мне удастся отнять у людей страх смерти.

— Ведь не все ее боятся.

— Но почти все ее не хотят.

— Я не понимаю.

— Сейчас объясню. Если мне удастся то, что я задумал, вы будете жить почти вечно.

Нсу рассмеялась.

— Благодарю вас за остроумную шутку. Но ваши слова мне понравились больше, чем ваша мысль. Слово «почти» нельзя ставить рядом со словом «вечность».

— Другим нельзя. А мне можно, — сказал молодой человек.

— Да, я вижу, вы себе разрешили все, даже говорить нелепости.

И они пошли вместе по улицам, еще не придавая большого значения этой встрече.

В языке еще существовало доживающее свой век слово «судьба». Оно возникло еще в те наивные времена, когда человек ставил себя в центре мира и воображал, что вся Вселенная занята только им. Но если не судьба, то случай. Памятник двум биофизикам, открывшим информационные и наследственные свойства нуклеиновых кислот, был той

точкой, в которой пересеклись жизни Нсу и принципиального противника смерти.

Воспоминания несли, несли Нсу дальше. То, что она приняла за шутку, оказалось истиной: Лодий действительно работал над решением проблемы, которая всем представлялась неразрешимой.

— Чем занимается ваш муж? — спрашивали знакомые Ольгу Нсу.

— Поисками абсолюта.

— Кажется, так называется повесть Оноре Бальзака?

— Да, Бальзак этими словами осудил своего героя.

— Героя легче осудить, чем мужа, — отвечали знакомые.

— Прежде, чем его, мне бы пришлось осудить самое себя. Я работаю в его лаборатории.

Изучение клетки в свое время вели десятки тысяч ученых. Цитология стала самой актуальной наукой еще сто лет назад, когда специалисты поняли, что сложность и загадочность клетки может привести в отчаяние самый мудрый, терпеливый и оптимистически настроенный ум. Постепенно клетка поддалась и перестала быть загадкой. От клеточного уровня ученые перешли к субмолекулярному и молекулярному уровню изучения живого. И только тогда ученые воочию увидели принципиальную разницу между физикой и биологией.

Физика — это наука о вероятностях. Биология — наука о невероятном. Это сказал еще знаменитый биохимик XX века Альберт Сент-Дьёрдьи. Он же сказал, что в живом организме становятся возможными реакции, которые кажутся физикку невозможными и невероятными. Когда была вскрыта гробница Тутанхамона, оказалось, что за 3000 лет его завтрак не окислился. Такова физическая вероятность. Но если бы фараон воскрес и сам съел свой завтрак, то завтрак сгорел бы очень быстро. Такова была биохимическая вероятность. Сам фараон представлял собой очень сложную и высокоорганизованную структуру ядер и электронов, статистическая вероятность которой близка к нулю.

Лодий развивал идеи Сент-Дьёрдьи, глубоко оценив его мысль о статистической парадоксальности живого организма.

Природа и эволюция дали почти бессмертие роду и виду, ограничив индивид. Но в человеческом обществе ин-

дивид стал высокоинтеллектуальной личностью, которой трудно было примириться с биологическими границами своего бытия. Над каждым висел цейтнот. Каждому действительность напоминала о сроках. Но тут как бы раскрылись две действительности. Одна, физическая действительность, состояла как бы из действительного и возможного, утверждая закон вероятностей. Другая действительность, биологическая, состояла из действительного и парадоксального, казалось бы, невозможного.

Еще в конце XX века биологи столкнулись с противоречием в развитии науки о живом. С одной стороны, огромные успехи в раскрытии тайн генотипа, наследственности, всего, что связано с эволюцией рода и вида, с другой — полная неудача в раскрытии загадки развития фенотипа, индивида, того, как осуществляется заданное в наследственности и «записанное» самой природой в нуклеиновых кислотах. Ученые бились над вопросом: как оплодотворенная яйцеклетка, бесформенный комочек протоплазмы может превратиться в человека? Как одна простая клетка может превратиться в великое множество специализированных клеток, составляющих организм человека?

И только в XXI веке ученые подошли к разрешению этой сложнейшей из проблем. Молекулярный и субмолекулярный уровень изучения малого и отдельного, объединенный с пониманием целостного организма, помог ученым разгадать загадку осуществления заданного наследственностью и хранящегося в устойчивости нуклеиновых кислот. Вот тогда-то Лодий пришел к дерзкой, поистине федоровской идее соединить родовое с индивидуальным, сделать индивид таким же бессмертным, как род.

7

— Нсу, — спросил Лодий, — что ты так смотришь на меня, словно мы на космическом вокзале? Я же не улетаю за пределы солнечной системы. Я всего-навсего только лечу в институт. Двадцать минут пути...

— Двадцать пять, Лодий.

— Ну двадцать пять. Это же не вечность.

Нсу пыталась примириться с временностью мужа. Иногда она думала, что он ее обманывает. Разумеется, он в тайне от нее побывал на субмолекулярном пункте, но хо-

чет, чтобы она беспокоилась о нем. Ведь слишком спокойная, бестревожная любовь близка к равнодушию. Он хочет, чтобы она его любила и беспокоилась о нем. Ах, эти мужчины.

Лодий поднял руку и помахал ладонью. Затем он исчез.

Он был близко, близко и вместе с тем далеко. Двадцать пять минут пути. День в институте, и к вечеру он снова будет здесь, рядом со своей Нсу. Работа не отпускала его. Ольга взяла отпуск, чтобы отдохнуть в Заповедных лесах, где тропы никуда не ведут и люди забывают о деле. Он тоже собирался полететь вместе с ней, но тут возникли проблемы. Перед ним всегда возникали проблемы. Одну из этих проблем он решил, проблему жизни без смерти. Ну и что из того? Разве от этого изменилась сущность науки и научного развития — беспрестанные поиски? Разумеется, нет.

— Нсу, моя Нсу, — говорил он, — мы еще так мало знаем о живом.

— Даже теперь, когда победили смерть?

— Иногда мне кажется, что теперь мы знаем еще меньше. Особенно о человеке. Нсу, что я знаю о тебе?

— Все. Мои привычки, мой характер.

— Твой характер изменился. И ты, кажется, меньше стала меня любить.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что ты, Нсу, уже другой человек. Ты смотришь на меня с высоты своей вечности. Как на временное существо. Что между нами общего? Ты переживешь Землю и увидишь, как будет гаснуть Солнце, а я исчезну через десять или двадцать лет.

— Но зачем же ты послал меня на субмолекулярный пункт?

— Я не мог сделать исключение для жены.

— Почему же ты сделал его для себя?

— Я боялся.

— Чего?

— До сих пор не могу дать себе в этом отчет. Я боялся себя. Мой характер не приспособлен для вечности. И кроме того, я опасаясь, что люди обвинят меня, когда они поймут, что они потеряли...

— А что они потеряли?

— Приобретая, всегда что-то теряешь. Они потеряли

единство с природой. Но они вышли из подчинения ее главному закону, они победили энтропию. Приобретение намного выше утрат.

— Ты противоречишь себе. Тебе изменила твоя безукоризненная логика... И кроме того, ты дезертир. Ты не захотел быть великаном... Я знаю, ты всегда ценил в людях слабость. Но зачем же ты реализовал свою идею, отдав ей столько сил?

— Не знаю. Слабость победила меня. Может, это временно. И мне удастся пересилить себя.

8

Редактор вызвал к себе в кабинет репортера Олега Нара.

— Ну?— сказал он.

Олегу Нору стало не по себе. В редакции всем было известно, не исключая автоматической курьерши, что слово «ну» не сулит ничего хорошего.

— Ну?— повторил редактор.

Олег Нар молчал.

— Я поручил вам написать заметку, предварительно поговорив с субмолекулярным биологом Лодием, а вы принесли мне фантастический рассказ. Для чего?

— Я хотел заглянуть в будущее.

— Почему?

— Потому что Лодий только приступил к работе и еще ничего не сделал. Он заявил, что проблему можно решить не раньше, чем через пятнадцать — двадцать лет.

— Ну, вот и написали бы об этом. Самая скучная и пресная истина ценнее красивой неправды.

— Вам не понравился мой рассказ?— спросил Нар.

— Какое мне дело до вашего рассказа! Мне не понравился ваш поступок. Что, если все репортеры вместо кратких заметок будут приносить длинные и причудливые рассказы? Уж не вообразили ли вы себя философом?

— Нет. Пока еще не вообразил. Я не философ, я писатель.

— Ну?— сказал редактор и посмотрел на репортера глазами холодными и абсолютными, как вечность.

— Да, кстати, как зовут вашу героиню!

— Ольга Нсу.

— Послушайте, зачем вам понадобилось такое странное имя? Не могли бы вы его переменить на что-нибудь более естественное, близкое к жизни? Что значит Нсу? Не имя, а пустой звук! Я уже не говорю о том, что не следовало выставлять напоказ самого себя и свою спину! Это нескромно, Нар. И нескромно выступать против идеи Лодия. Вы же репортер, а не философ.





АППАРАТ АРИСТОТЕЛЯ

1

А

ристотель?

Я долго не мог привыкнуть к этому знаменитому имени, глядя на того, кто его носит.

Настоящая его фамилия была Аристо. Частицу «тель» добавили насмешливые приятели, и она приросла к его имени, как прирастает живая ветка к чужому дереву.

Мы проходили аспирантуру в Институте ультрасовре-

менных проблем. Жили в одном и том же этаже аспирантского общежития. Тогда мы виделись часто, пути наши пересекались ежедневно, и мы перекидывались случайными, ничего не значащими фразами. Но однажды под видом случайности нечто значительное коснулось нашего сознания. Казалось, на одну секунду приоткрылась бездна под нашими ногами и снова закрылась. Аристотель спросил меня:

— Ну, признавайся! С кем ты сейчас хотел бы встретиться и поговорить.

Я назвал одно из самых крупных имен планеты, имя физиолога и философа, жившего в Томске и славившегося своей недоступностью.

Аристотель рассмеялся.

— Желание, которое все же можно осуществить.

— А ты с кем хотел бы сейчас встретиться? — спросил я.

Тень глубокой и насмешливой мысли пробежала по лицу моего собеседника.

— Понимаешь, Воробьев, — сказал он, — я хотел бы встретиться с самим собой.

— Ты? С собой? Ничего не понимаю!

— Слушай. И не перебивай. Я все объясню. Мне хотелось бы встретиться с тем человеком, которым я буду через тридцать лет.

— Но это невозможно. Тридцать лет — это ведь не тридцать минут.

— Как знать, — сказал он тихо, словно бы не мне, а самому себе. — Как знать!

На меня его мысль тогда почти не произвела никакого впечатления. «Тридцать лет пройдут, — подумал я, — и ты встретишься с собой, Аристотель. Но вряд ли тебе доставит удовольствие эта встреча».

Да, так я думал. Я не подозревал, что не ему, Аристотелю, а мне, Виктору Воробьеву, удастся познать невозможное и встретиться с самим собой. Но об этом позже. Мне нужно сначала подготовить читателя, да и самого себя, чтобы как-нибудь объяснить этот парадокс. Того, кто его осуществил, уже нет в живых. Судьба, если мне разрешат употребить это древнее, давно вышедшее из употребления слово, не дала Аристотелю того срока, которого требовал его продолжительный эксперимент. Он умер рано.

В институте про Аристотеля говорили, что он разбрасывается, словно подражая своему великому тезке. Он занимался физиологией, психологией, биофизикой, теорией информации, математикой. Но главные его размышления были направлены на другое. Его интересовало то, что не укладывается в рамки ни одной науки, — сама жизнь, человеческое бытие.

Он говорил мне:

— Глазами человека сама природа и история как бы взглянула на себя: Совершилось чудо: мысль и действительность встретились...

— Уж не хочешь ли ты сказать, — перебил я его, — что у природы была цель? Человек — сын закона больших чисел, сын вероятностей. Не только сын матери и отца, но и потомок случая.

— Потомок случая? — он повторил эти слова. Они, по-видимому, понравились ему. С тех пор он стал меня так называть. Но я не сердился.

— Потомок случая, — говорил он. И глаза его смеялись.

2

Еще в середине XX века один математик сказал, что проблема времени всегда заводит в тупик человеческий разум. Уж не ставил ли Аристотель своей целью вывести разум из этого тупика?

«Прошлое никогда не возвращается?» Он написал эти слова на листе бумаги и повесил на стене своей комнаты над письменным столом. В конце фразы, я не мог не обратить на это внимания, вместо точки стоял вопросительный знак.

Я не удержался и спросил его, показывая на стену:

— Разве ты сомневаешься? Зачем ты поставил вопросительный знак? То, что прошло, уже не вернется.

— Да, — согласился он, — когда речь идет о том, что окружает нас здесь, на обыденной и привычной Земле, где расстояния доступны невооруженным чувствам. Но вспомним о далеких звездах. Разве твои слова справедливы и для них? Ведь их нет, они потухли, а мы их видим. И через миллионы лет наши потомки будут видеть их. А ты говоришь, что прошлое не возвращается.

— В твоей мысли есть нечто сомнительное. Вдумайся хорошенько! Мы ведь видим не звезды, а только свет, который несется к нам.

— Между потухшими звездами и нами движется время, создавая парадокс, который разгадан отнюдь не до конца. Фотоны не являются частицами в обычном смысле. У них нет массы покоя. Если бы каким-нибудь чудом их можно было остановить, то я убедился бы, что они лишены массы. Их масса как бы сливается с невообразимой скоростью света, и пространство как бы превращается в время.

Он посмотрел на меня так, словно видел меня впервые. Выражение его лица словно отделило его от меня, унесло в другое, четвертое измерение.

— Я не потухшая звезда!— крикнул я, вскочив с места.— Я жив! Я тут рядом! Я реален! Зачем ты смотришь на меня так, словно меня здесь нет?

Он рассмеялся.

— Уж не телепат ли ты, Витька, черт тебя подери! Ты прочитал мою самую сокровенную мысль. Больше всего на свете мне хочется понять явление, о котором я только что тебе говорил... Понять, не лишаясь при этом человеческой сущности.

— А что такое человеческая сущность?— перебил я его. У меня была эта скверная привычка перебивать своих собеседников как раз в ту минуту, когда этого не следовало делать.

— Что такое человеческая сущность? Не знаю. Я ведь имел в виду другое. Не сущность, а человеческую личность... Еще Эйнштейн говорил: чтобы глубоко понять и заново увидеть природу, нужно выйти за пределы своего личного «я» в надличное. А это самое трудное дело на свете...

Он внезапно замолчал, не закончив фразу.

— Но продолжай! Продолжай!— нетерпеливо сказал я.— Какое явление хотел бы ты понять?

— А не надо было перебивать,— ответил Аристотель с досадой.— У меня сейчас отпало желание говорить на эту тему.

И действительно, он больше к этой теме уже не возвращался.

Я замечал: Аристотель разговаривал со мной охотнее, чем с другими. Почему? Не знаю. Я не был остроумным и занимательным собеседником. Отнюдь. И, однако, он ча-

стенку задерживался у меня в комнате. Он расспрашивал меня о моем детстве. Его интересовали мои привычки, вкусы, книги, которые я читал. Однажды, когда я отлучился на полчаса, оставив его в своей комнате, я застал его, внимательно рассматривающим мою фотографическую карточку. На лице его было то сосредоточенное и отчужденное выражение, какое я однажды заметил, когда он рассказывал о потухших звездах. Он был так углублен в себя, что не услышал моих шагов.

— Любительский снимок,— сказал я,— а впрочем, ерунда! Не люблю я стоять перед объективом аппарата. Чувствуешь, что на тебя смотрит не человеческий глаз — веселый, добрый или злой, а нечто бесстрастное, объективное. Надличное... Кажется, ты любишь это странное словечко.

— А я как раз хотел тебя снять. И не только ради тебя, но ради своей страсти. Я тоже фотолюбитель. Обычно фотографирую космические частицы. Все мимолетно, что живет миллионные доли секунды. Но сегодня я хотел бы снять тебя, первого человека, которому удастся победить время.

Он достал из кармана крошечный аппаратик и сделал несколько снимков, ничего не добавив к тем загадочным словам, которые только что сказал мне.

3

Весь день я рассматривал наброски и черновики Аристотеля, читал его письма, пытаясь собрать в единство его образ, мысленно оживить его. Но образ ускользал. Я не мог простить себе, что поленился записать его мысли и слова. Кто мог знать, что случай не даст осуществить Аристотелю то, что было заложено в нем природой! Он был одним из самых самобытных людей среди живых и мертвых, но несчастному случаю не было до этого никакого дела. Аристотель утонул, купаясь в Финском заливе, в том году, когда заканчивал свою диссертацию о парадоксе времени. Мир потерял в тот час не только нового Леонардо, но, может, нового Эйнштейна. Так сказал на его могиле один из его друзей.

Я не обладаю хорошей памятью. Идеи Аристотеля сложны, и, в сущности, я не в силах был их понять до кон-

ца, хотя, разговаривая с Аристотелем, всякий раз делал вид, что все понимаю. У меня не хватало мужества и скромности переспросить своего гениального приятеля или попросить его еще раз объяснить то, что было мне непонятно. Я боялся прослыть олухом в его глазах, это во-первых, а во-вторых, мне казалось, что я действительно понимаю сущность идеи. Мне это казалось всякий раз, пока он говорил, но потом... Потом я оставался наедине со своим непониманием. Идея ускользала.

Что он хотел сказать, когда упоминал о потухших звездах и о времени, которое стоит между их небытием и нами? Может, его занимала антиномия (неразрешимое противоречие) между бытием и небытием, когда речь шла о потухших звездах, сообщавших о своем прошлом будущему? Вероятно, не это. Его, по-видимому, интересовала загадка времени, снимавшего различие между тем, что когда-то было, и есть сейчас, загадка времени, спешившего миллионы лет со скоростью света.

Судя по оставленным Аристотелем заметкам, он много занимался исчислением бесконечно малых и изучением их непрерывных функций. Но не мне судить о ценности его математических исследований, пусть его работы оценят специалисты. Впрочем, они уже оценили талант моего покойного друга, поставив его имя рядом со славными именами Ферма, Роберваля, Кавальери и де Сен-Венсана. Но не меньше, чем бесконечно малыми, он занимался историей портрета. Нет, не узкоэстетические проблемы волновали его, когда он писал о Нефертити, о портретах Кипренского и автопортретах Рембрандта, о фотографиях Надара, телевидении, кино и других способах передачи того неповторимого, что принято называть человеческой личностью. Его волновала возможность постигнуть сущность личности, а еще больше попытка, как бы слившись с быстронесущимся временем, пронести эту сущность сквозь столетия, победив энтропию.

Он писал:

«Рембрандт с помощью кисти и красок поймал и закрепил на полотне свою сущность, слитую с неповторимым мгновением, со всей сокровенной красотой и глубиной преходящего. Я не художник, я ученый, изобретатель... Аппарат, который я хочу создать, сможет осуществить не на плоском полотне, а в трехмерном гибком пространстве и текущем времени то...»

Фраза осталась недописанной. Но я-то знал, о чем шла речь. И хотя исследователи писали не раз, что Аристотелю не удалось создать свой парадоксальный аппарат, я-то знаю — он его создал. Я один знаю. И кроме меня — никто.

4

Мне исполнилось тридцать лет. В тот день у меня собрались все мои друзья. Не было только Аристотеля. Он почему-то запаздывал. Я уже был уверен, что он не придет, но он явился. Он пришел перед утром, уже на рассвете, когда разошлись гости и я собирался ложиться спать.

— Извини, Виктор, — сказал он, — меня задержала работа.

В руке его была какая-то вещь. Он положил ее на стол.

— Это мой подарок. Не знаю, обрадует ли он тебя. В этом пакете лежит твое будущее.

— Ты, по обыкновению, шутишь, Аристотель, — сказал я.

Он усмехнулся. И лицо его, всегда бледное, показалось мне еще более бледным и усталым.

— Шучу, — ответил он, — но только наполовину.

Я хотел уже развязать пакет, но он схватил меня за руку.

— Поймай! Я сам...

— Давай лучше выпьем.

Я налил в рюмки вина. Мы чокнулись.

— За тебя, — сказал Аристотель. — Но не за сегодняшнего, а за того, который осуществит все заложенные в нем возможности. За твои возможности, Воробьев!

— Мои возможности более чем скромные, — сказал я.

— Не приbedняйся. Ты человек. Тебя открыл Рембрандт на своих портретах. В тебе природа зародила сознание, чтобы взглянуть на самое себя твоими глазами. Ты...

— Лучше покажи свой подарок.

— Сейчас развяжу. Я вложил в него труд нескольких лет. Но прежде я хочу рассказать о принципах, которые положены в основу. Ты знаешь, что сущность психических явлений — это субъективное отражение объективной дей-

ствительности. Какие механизмы формируют чувственный образ? Много бессонных ночей я провел, чтобы ответить на этот вопрос. Я изучил все эффекты рефлекторных действий. Психические изображения... Как руки и кисть переносят на холст тот образ, который возникает в психике художника? Когда мне удалось изучить этот феномен, я стал искать иных способов изображения. Мне нужен был не холст, а живое пространство и время. Мир! Впрочем, суди сам.

Он быстро развязал пакет, достал аппарат странной формы из неизвестного мне металла и включил его.

Тут произошло непредвиденное.

Пространство и время как бы переместились, и я увидел себя, перенесенного в другой период своей жизни. В пожилом человеке, внимательно разглядывающем меня, я узнал собственные черты, тронутые старостью.

Старик, который стоял передо мной, был я сам, перенесенный в будущее. Он стоял и смотрел на меня с тем несколько грустным любопытством, с которым рассматривают свое юношеское изображение. В глазах светился опыт долгой жизни, опыт, неведомый мне. Да, это был я.

Я словно смотрел в зеркало времени, чья поверхность отражала не только лицо и фигуру, но и само бытие.

— Виктор, — сказал он тихо и задумчиво, — ты узнаешь себя? Я — это ты. Мне хотелось бы поговорить с тобой, но между нами годы. Разве ты не ощущаешь того, что разделяет нас?

Затем изображение исчезло. Оно исчезло не сразу, не вдруг, а как бы погружаясь в расступившееся пространство, закрывшееся затем, как занавес.

Я молчал. Молчал и Аристотель. Немного спустя он подошел к столу и, взяв аппарат, стал его завертывать в целлофан.

— Подарка не забирают. Я знаю, — сказал он. — Но я все-таки должен забрать аппарат. Он не готов. Еще нужно потрудиться годик или два. Ты не сердись, Виктор. Через год или два я тебе верну его.

Он простился, забрал свой подарок и ушел. Обрато он его уже не принес. Через полгода он утонул, купаясь в Финском заливе в те холодные осенние дни, когда никто уже не купался.

Среди вещей, оставленных Аристотелем, не нашли аппарата, подаренного мне. Может, Аристотель не сумел его усовершенствовать и разбил в припадке разочарования и гнева? Как знать!

Как знать! Это любимое его выражение, выражение, похожее на него самого... Как знать!

Когда я рассказываю друзьям о встрече с самим собой и о посреднике этой встречи, исчезнувшем аппарате, я вижу на всех лицах недоверчивую улыбку. Все принимают это за плохо придуманный анекдот, за нелепую шутку. Иногда я сам начинаю сомневаться, что это было, мне начинает казаться, что это мне снилось, и сон, правда, очень яркий сон хочет выдать себя за действительность.

Но аппарат, по-видимому, все-таки существовал. Мне удалось напасть на его следы, рассматривая старые тетрадки Аристотеля. Я нашел и часть схемы будущего аппарата, набросанную на помятой кальке. А в одной из тетрадей я прочел такие слова:

«Надеюсь, что мне скоро удастся воспроизвести в пространстве и времени образ, возникший в воображении... Я много думал о своем приятеле Викторе Воробьеве и представил его таким, каким он будет через тридцать лет. Я мысленно воспроизвел всю обстановку, как на картине, и больше того — как в психологическом романе. Но можно ли отражение (а образ все же только отражение действительности) перенести в другой план, как бы в план самого бытия? Еще Гоголь в своей философской повести «Портрет» осудил попытку с помощью изображения продлить существование самой личности. Передо мной стоят совсем другие задачи. Современный человек, человек начала XXI столетия, находится в совсем иных взаимоотношениях с пространством и временем, чем его предки. Он заглянул в далекие уголки Вселенной, он освоил околосолнечное пространство, он послал в космос корабли за пределы досягаемого, с помощью ультрамикроскопа он подчинил себе бесконечно малое, увеличив его до размеров, воспринимаемых глазом. Не пора ли дать возможность каждому встретиться с самим собой? Время — процесс необратимый? Да, но он необратим для самой природы. Человек же с помощью современной науки может и необратимые

явления сделать обратимыми, вернуть время вспять? В какой-то мере — да! Я хочу создать аппарат, фотографирующий будущее...»

Запись прерывалась на самом интересном для меня месте.

В другой тетрадке были записи, посвященные истории и философии портрета. Они перемежались с формулами и размышлениями о физике элементарных частиц.

«Портрет Тициана, — писал Аристотель, — дает человека в единстве с его историей и биографией, с его характером, но Тициан смотрит как бы от настоящего в прошлое... Еще не существовало портрета, в котором перемещение во времени давало бы возможность художнику осуществить встречу настоящего с будущим, будущего с прошлым. Как создать тот узел, в котором соединились бы все направления времени?»

«Сейчас, — писал он, — я занят изучением элементарных частиц, движущихся в обратном направлении времени. Еще в середине XX века физики Штюкельберг и Фейнман своими исследованиями показали, что отрицательно заряженный электрон движется в направлении времени, противоположном нашему. В начале XXI века физик-экспериментатор Алексей Рыбкин открыл частицы, несущиеся из будущего в прошлое. Очень возможно, что существуют галактика и населенные миры, где высшие разумные существа управляют временем...»

Дальше шли формулы и вычисления, в которых я — не математик — не умел разобратся.

6

Я посвятил целых два года изучению работ Аристотеля, поискам его записок, писем, чертежей и замыслов. Затем я это все сдал в архив истории науки и техники. Мне так и не дано было узнать физическую сущность того необыкновенного эксперимента, в результате которого мне однажды удалось встретиться с самим собой, как ни странно звучат эти слова. Да, с самим собой. Был ли то лишь образ человека, перенесенного в будущее, реализация образа, возникшего в психике Аристотеля, или нечто большее?

Изучение Аристотелем элементарных частиц, двигаю-

щихся в обратном направлении времени, может быть, действительно привело исследования в конце концов к результатам, ставившим в тупик человеческую логику и весь тысячелетний опыт? Как знать! Часто мне вспоминается старик, глядящий на меня как бы из зеркала времени с таким видом, словно для него я был всего только отражением, вписанным в неподвижный фон фотографической карточки. Мне вспоминаются и слова, сказанные им тихо и задумчиво:

— Виктор, ты узнаешь себя? Я — это ты. Мне хотелось бы поговорить с тобой, но между нами время. Разве ты не ощущаешь силу его?

Он не успел ничего добавить. Аристотель выключил аппарат. Аристотель сделал это поспешно, словно боясь, что сейчас случится катастрофа... А затем, в течение многих дней, встречаясь со мной, он избегал говорить на эту тему, делая вид, что не слышит моих вопросов. И только однажды, на лестнице общежития возле открытой двери лифта, когда я грубо схватил его за руку и настойчиво спросил: «Было это или только кажется мне», он ответил тихо: «Было».

Не выпуская его руки, я почти крикнул:

— Так что же такое было, черт подери? Изображение или сама действительность?

— А может, то и другое, — сказал он спокойно.

— Не может быть!

— Как знать, — сказал он и высвободил свою руку.

Дверь лифта громко захлопнулась за ним. Пространство переместилось. Лифт унес его от меня. Это была наша последняя встреча.





ДОКУЧЛИВЫЙ СОБЕСЕДНИК

Часть первая

ПУТЕШЕСТВЕННИК БЕЗ ПРОСТРАНСТВА

1

Он думал о том, что ему, вероятно, никогда уже не удастся увидеть свой мир, свою милую планету, жену, и друзей, и солнце — не такое яркое, как это, и более далекое, но в тысячу раз более родное.

В здешней атмосфере было слишком много кислорода, и, когда Путешественник снимал маску, он чувствовал себя чересчур возбужденным.

О здешних людях он знал все, что следовало о них знать, хотя ни разу не видел их вблизи; они жили в пещерах, широкоплечие и сутулые, ходили, согнув в коленях волосатые жилистые ноги, словно приседая на ходу, и вся их жалкая техника состояла из грубо обитых каменных рубил.

Робот Ипс, запечатлевший их странное бытие, много раз развертывал его в пространстве и времени. И тогда снова возникали перед Путешественником или стена пещеры и костер, где жарилось на углях мясо, или широкие скуластые лица и приземистые фигуры и одновременно звуки, с помощью которых эти люди выражали свои чувства, мысли и желания. И всякий раз, когда Путешественник смотрел на них, делящих пищу, или ссорящихся из-за женщины, или выслеживающих дичь, он еще сильнее чувствовал свое одиночество.

Робот Ипс мог восстановить и то, что предшествовало высадке на Землю, и тогда Путешественник мог услышать голоса своих бывших спутников и увидеть их лица. Но никто из них не остался в живых, и развернутое Ипсом бытие походило на древнее, забытое всеми кладбище, где наивно, как это было в старину, с живыми разговаривали голоса мертвых, голоса, заснятые еще при жизни.

Путешественник постоянно чувствовал одиночество, и оно усиливалось от того, что он знал — ни ему, ни его роботам не восстановить полуразрушенный космолет, не оторваться от гравитационного поля чужой планеты и не преодолеть бездонные и безумно огромные пространства, лежащие между ним и его домом.

О здешних людях он знал бесконечно больше, чем они сами знали о себе. Он знал, какой длины у них руки и ноги, как работает их сердце и железы внутренней секреции, он знал объем их черепа и то, как устроен их мозг.

У них была поразительно конкретная память. Они помнили почти все, что с ними случалось с детства до конца их жизни. Конец скоро, катастрофически скоро приходил к ним. До старости никто из них не доживал. Они беспрерывно воевали друг с другом и с жестокой природой. Но помнили многое, живя такой бедной духовной жизнью.

Путешественник и ему подобные чувствовали сравнительно немного. Да и к чему загружать память, удерживать в своем мозгу все случайные события и впечатления постоянно ускользающего времени — бытия? Для этого существ-

вует робот-двойник — Твое Второе Я, запоминающий все до последней мелочи и всегда готовый развернуть перед тобой утраченное бытие.

Робот-двойник нисколько не похож на других роботов, недаром его называют Твое Второе Я. Его создали и придали Путешественнику, когда пробудилось сознание будущего Путешественника и начало отражать впечатления жизни. Твое Второе Я хранит воспоминания, и утратить его — значит утратить свое прошлое.

Индивид смертен, а робот-двойник способен преодолеть время. И воспоминания остаются и тогда, когда исчезает тот, кто вспоминал. Они хранятся, как в отдаленные времена хранились книги в библиотеках, духовные богатства, обретшие вечность. И благодаря им в какой-то мере обретает вечность каждый индивид, готовый поделиться своим личным опытом с обществом. Но здесь, на чужой планете, воспоминания не нужны. Они ничем не могут помочь Путешественнику, оказавшемуся в чуждом мире, в чужой солнечной системе, где ему подобные отстали от него в своем развитии на много тысяч лет. Воспоминания нужны тогда, когда ты радостно вглядываешься в будущее, когда настоящее течет в одном ритме с работой и возле тебя трудятся твои однопланетцы. Они должны помочь тебе почувствовать свое единство с миром и с собой, свое единство в непрерывно текущем времени, сильнее осознать себя, свою личность. Сами по себе, оторванные от настоящего и от будущего, воспоминания — ничто.

У него не было надежд вернуться в свой мир, связаться с ним. Еще когда космолет летел в космическом пространстве и живы были спутники и друзья Путешественника, они потеряли связь со своим миром и в бесконечных даях не могли обнаружить электромагнитное поле своей



маленькой планеты, затерянной среди миллиардов звезд и солнечных систем. Потом они долго летели, не зная, в какой точке бесконечного пространства и бесконечного времени их родной дом.

У Путешественника не было надежд. И все-таки он еще не унывал. С детства его учили презирать уныние. И вот сегодня он вышел из своего жилища и пошел по берегу реки. Речка шумела и днем и ночью. От нее несло свежестью. И ему понравился ее шум. Ему, пожалуй, нравились и огромные деревья, высокие и толстые, с длинными ветвями. Он не сразу привык к ним. На его планете не было таких огромных деревьев. На какую-то долю минуты ему показалось, что он пришел проститься с этим миром, в котором он сейчас жил, чувствуя постоянное недомогание, словно только что встав с постели после долгой и опасной болезни. Это недомогание порождала в нем земная среда, ее химизм, не во всем совпадавший с химизмом его родной планеты. Сегодня чувства обманывали его. Он пришел проститься? Не так ли? Нет, ему еще рано прощаться с этой речкой, и лесом, и с этой долиной там, внизу.

Он долго стоял и любовался местностью. Вдали паслось стадо зубров. По оленьей тропе пробежала важенка благородного оленя с сосунком-теленком. Ветер дул с ее стороны, и она не подозревала, что за ней наблюдают. Потом важенка остановилась, приподняв и откинув заднюю ногу, и теленок подбежал и стал сосать, слегка дергая сосок. Капля молока упала с его губ в траву. И вот они снова уже бежали по тропе, сгустки удивительной жизни, полные радости шумевшего в них бытия.

Вернувшись, он долго сидел без дела, ощущая сильное недомогание. Сердце билось аритмично, словно он сидел на дне глубокой реки. Это ощущение, что он ходит по дну реки, не покидало его даже во сне. Оно сопровождало его с первого дня, как он вступил на эту планету. Уж слишком сильным было здесь атмосферное давление.

Он вызвал робота-двойника Твде Второе Я, и вот перед ним возникли, возвратившись как бы из небытия, давно утраченные мгновения.

Он и его жена (тогда еще не жена, невеста, совсем юная) сидели в старинной лодке, и вокруг были тихие воды синего прозрачного озера. В мире быстрого движения горожане иногда нарочно позволяли себе радоваться

тишине и медлительному спокойствию в специально отведенных заповедных лесах.

И снова ее голос был здесь, рядом с ним, ее голос и ее глаза — серо-зеленоватые и насмешливые, как она сама.

Она. Ты — как школьный учитель. Задал вопрос и ждешь ответа. А если я не сумею ответить, ты будешь огорчен, да? Позволь мне не отвечать.

Он. Если не хочешь, не отвечай. Но школьный учитель никогда не станет спрашивать, о чем спрашиваю я. Его это не интересует.

Она. Не все учителя устроены на один лад. Ведь я тоже собираюсь стать школьной учительницей.

Он. Ну, тогда представь себе, что я школьник, твой ученик. Представила?

Она. Допустим.

Он. Чему бы ты стала меня учить?

Она. Во-первых, скромности. Тебе ее явно не хватает. Ты так много думаешь о себе.

Он. О тебе, а не о себе.

Она. Это легко проверить, стоит только спросить Твое Второе Я.

Он (*сердито*). Спросить никто не может, кроме меня.

Она. И даже я? Разве я не ближе тебе, чем робот?

В воде блеснула рыба, и ее плеск преодолел время и пространство, время и пространство, которое трудно себе представить. Ведь не в земной воде блеснула эта рыба, а в воде его планеты Анеидау, планеты Утреннего Мира. Затем все отдалилось, робот замолчал, и наступила тишина.

Он уснул, как всегда здесь, не сразу и проснулся утром. Ему надоело бездействие. И он снова принялся за работу. Вот уже шла вторая неделя, как он пытался исправить одну чрезвычайно сложную машину, робота Анти-Ты. Это была научная и техническая новинка. Конструкторы, создавшие эту новинку, проявили заботу о тех, кто, как Путешественник, обстоятельствами будут обречены на вынужденное одиночество. Робот Анти-Ты мог не только беседовать, но и со всей энергией мысли и блеском вступить в спор. Жителю Утреннего Мира не могло быть с ним скучно. У робота были огромная эрудиция, и чувство постоянного противоречия, и логика. В какой-то мере Анти-Ты был даже циник и скептик, чуточку нигилист. Но ведь он мог быть подобным тебе. Если бы он был совсем и

во всем подобен тебе, о чем бы ты стал с ним спорить? Он как бы олицетворял в себе все дурное в твоей натуре, то, что ты преодолевал в себе.

Космический Путешественник был физиологом, знатоком мозга и физиологической кибернетики, но он все же не был техником и инженером. А сейчас перед ним стояла чисто техническая задача. Но что делать? Все инженеры экспедиции погибли. Ему не с кем было посоветоваться. И так как это была научная и техническая новинка, еще не поступившая в серийное производство, ни один из роботов-инженеров не сумел бы произвести ремонт, не предусмотренный никакой программой.

Путешественник, пожалуй, был даже этому рад. Во всяком случае, у него было дело, не такое уж срочное, правда, но все же дело, очень сложное и трудное. Он мог заняться им и отвлечься от безотрадных дум.

Пять дней назад, после того как он тщательно ознакомился со схемой, очень сложной схемой, он заглянул внутрь этого искусно созданного существа. Он заглянул туда, впрочем, не без робости и, чтобы подбодрить себя, сказал:

— Ну-ка посмотрим, как устроен мозг прожженного скептика.

Эти слова скорее свидетельствовали об игриво-шутливом его настроении, чем выражали нечто готовое приблизиться к истине. Кто-то, а уж он, один из крупнейших физиологов своей планеты, знал, что мозг скептика ничем не отличается от всякого другого мозга. Скептика делают скептиком не количество извилин, а дурное воспитание, привычка смотреть на все свысока, осуждать, не вникая в сущность.

— Да, мозг как мозг, но перед живым мозгом у него одно преимущество. Он действует быстрее, не устает, и внимание его не блуждает.

Каждый раз он смотрел с удивлением на этот искусно созданный мозг. Инженеры-кибернетики, биохимики, биофизики и физиологи, создавшие его, пытались решить сложнейшую задачу. Впрочем, в какой мере они ее решили, нужно еще проверить. Робот Анти-Ты, по-видимому, обладал (или должен был обладать) огромными аналитическими возможностями. Искусственный логик, он, однако же, был наделен завидным чувством юмора, необычайной быстротой реакции, умением создавать из слов

нечто неожиданное и острое. И вот этот огромный мозг нуждался в починке.

Путешественнику, начавшему свои осторожные исследования, еще было неясно — пострадало механическое устройство или химизм. Этот искусственный мозг, в отличие от мозга других роботов, стоял на грани живого и неживого; полурганнизм, полумеханизм, он, по замыслу своих создателей, должен был преодолеть все недостатки и организма и механизма. Энтузиасты-журналисты, разумеется, не без преувеличения писали о том, что робот-новинка, в сущности, уже не был роботом в точном смысле этого слова. В нем было так много характерного и индивидуального, что он становился как бы личностью...

Проверяя силу импульса и анализируя аксон нервной клетки, Путешественник по-прежнему разговаривал сам с собой:

— Да, личность, как утверждают журналисты. А вот когда мы исправим тебя... извини за неточный оборот речи, — вылечим, поставим на ноги, как любят выражаться врачи, мы узнаем, в какой мере ты личность. Для личности, дорогой механоорганизм, еще недостаточно одного ума, нужен и характер. Тебя создали, чтобы помочь мне скоротать время. А ты уже вообразил о себе бог знает что и ввел в заблуждение доверчивых газетчиков. Это неразумно. А если у тебя действительно есть характер, ты личность, то ты не блещешь скромностью. Ну что? Ты не в состоянии ответить мне? Пока не в состоянии. Но я поставлю тебя на ноги, будь уверен в этом.

Единственно достойное средство преодолеть время и одиночество — это работа. Когда-то в далекие времена философы-пессимисты пугали общество тем, что кибернетика и автоматизация, освободив анеидайца от труда и утилитарного мышления, превратят его в созерцателя, в легкомысленного чувственника, наслаждающегося беспорывным досугом. Этого не случилось. Это и не могло случиться. Анеидаец остался творцом, великолепно оснащенным для борьбы с природой.

Путешественник трудился. Он уже знал этот искусственный мозг, казалось, не хуже, чем обычный человеческий мозг.

Прошло три месяца, и вот ему, кажется, удалось наладить этот аппарат.

Робот заговорил неожиданно, заговорил ночью, когда

Путешественник не спал, мучаясь от недомогания. Он не спал, но был почти в забытьи.

Робот (*красиво звучащим голосом, с легкой насмешкой*). Ты, кажется, меня вылечил? Поставил на ноги? Но разве я тебя об этом просил?

Путешественник. Вылечить можно живое существо. Организм. А ты машина. Я тебя исправил.

Робот (*обиженно*). Машина! А ты кто? Бог? Но божество, как его себе вообразили древние, тем и отличается от тебя, что оно не испытывает скуки. А ты, дорогой, заскучал. И приуныл. Тебе хотелось скорей поставить меня на ноги не только из-за врачебного твоего тщеславия. Скажешь, из гуманизма? Меня ты не обманешь. Тебе хотелось перекинуться с кем-нибудь словечком, почесать язык? Ну что ж, почеси.

Путешественник. Я мог бы говорить сам с собой. Размышлять.

Робот. Сам с собой? А я разве не ты? Не часть твоего «я»? Лыцу себя надеждой, не самая дурная часть.

Путешественник. Конструкторы и кибернетики, создавшие тебя, слишком мало были знакомы со мной, чтобы...

Робот. Не договаривай. Все понимаю. Действительно, они почти не знали тебя. Но зато я тебя знаю.

Путешественник. Откуда? Откуда ты можешь меня знать?

Робот. Пока я это утаю. Извини. Я не могу с первого раза посвятить тебя во все тайны. Надо оставить что-то и про запас.

Путешественник (*почти равнодушно*). Оставляй. Я никогда не был любопытен.

Робот. Так ли? А я знаю некоторые факты. Хочешь, я напомню их?

Путешественник. Не хочу.

Робот. Ну, тогда поговорим о чем-нибудь другом, не задевая твоей личности. Хочешь? О чем-нибудь безобидном. Помнишь, как наш космолет после многих лет странствий в космосе сделал посадку на неизвестной планете, позже названной в честь тебя? Это было благородно со стороны всех твоих спутников, которые имели не меньше права оставить свое имя на астрономической карте. Но планета принесла всем неожиданное разочарование. На ней, правда, оказалась жизнь, но жизнь, совсем не преду-

смотренная наукой и разумом. Эта жизнь, как помнишь, оказалась не дискретной¹. Она не знала никаких форм и была похожа на студень. Оказалось, что на этой планете не было нуклеиновых кислот, без которых мыслима только бесформенная жизнь, — кислот, хранящих в своей «памяти» нечто весьма существенное и передающих его по наследству бесчисленным поколениям. Жизнь на этой планете оказалась без памяти, а следовательно, и без истории... Все участники экспедиции чувствовали себя неловко. А особенно ты. За год или за два до начала экспедиции ты высказал гипотезу, что жизнь не может быть не дискретной... Это, мол, закон. Да, ты немножко поспешил со своими выводами. И, знаешь, твои спутники не без умысла дали твое имя этой планете, не без иронии по отношению к тебе... И к твоей гипотезе.

Путешественник. Замолчи! Ты лжешь. Это было не так!

Робот. Уже просишь меня молчать? Не слишком ли скоро? Ну что ж, останься снова наедине со скукой и одиночеством. Я молчу.

Он замолчал.

Молчал и Путешественник. Он лежал в изнеможении. И сердце его билось аритмично, словно он ходил по дну глубокой реки.

Где-то в ночной дали ухал филин и выл голодный волк. Путешественник вышел из жилища. Огромное небо было полно ярких звезд. Это были чужие звезды, далекие от этой планеты и от той, с которой он прилетел сюда.

2

История эта началась давно, но у нее пока еще нет продолжения, и никто не знает, чем она кончится. Казалось бы, людям действительно удалось заглянуть в даль времени, но фильм (если можно сравнить подлинные события с фильмом) оборвался на самом интересном месте, и в зале снова горит будничным свет.

Историей этой интересовались писатели и журналисты. Но жизнь, наверное, сама допишет ее, если сочтет нужным.

Вернемся же к началу ее.

В блокадную зиму 1942 года Арбузов спас рукописи

¹ Дискретной — прерывной.

Ветрова, говорят, вынул их из горящей буржуйки у ветровских соседей и при этом даже обжег себе руки. Спас рукописи, а затем их опубликовал, снабдив своим отлично написанным предисловием.

Ведь тогда все считали Ветрова погибшим в боях под Новгородом. И никто не предполагал, что Ветров вернется из небытия сразу же после войны.

Если бы Ветрова не считали погибшим, едва ли удалось бы опубликовать его рукописи. Во-первых, это были незаконченные, наспех набросанные черновики, во-вторых, в них было слишком много спорного, непривычного, стоящего на грани фантастики.

Благодаря Арбузову имя Ветрова стало известным. Но ведь Ветров не просил Арбузова торопиться с публикацией рукописей, с обнародованием гипотез, которые нуждались в проверке.

Прошло несколько лет, и специалисты забыли, при каких обстоятельствах были опубликованы рукописи Ветрова. Ведь Ветров был жив, здоров, невредим. Он ходил по улицам. Присутствовал на заседаниях, как будто ничего и не зная о своей незаслуженной славе.

И вот ученые начали его упрекать, что он поторопился, поспешил.

Мать Ветрова Вера Исаевна приняла эти упреки ближе к сердцу, чем ее сын.

— Гражданин Арбузов,— говорила она, чуточку картавя,— оказал моему сыну медвежью услугу. Но при чем здесь я? Я ведь за всю жизнь не выдвинула ни одной гипотезы. А все смотрят на меня с таким видом, словно не мой сын поторопился, а я сама.

Гипотезы Ветрова были дерзки и парадоксальны. И не только гипотезы, но и факты. Но беда в том, что никто не хотел признать эти факты. Почти никто.

Накануне войны Ветров с тремя помощниками, студентами исторического факультета, производил археологические раскопки недалеко от западной границы. То, что ему удалось произвести ошеломляющее научное открытие, до сих пор подтверждает только единственный уцелевший фотографический снимок, воспроизведенный в его книге, опубликованной Арбузовым. Снимок к тому же далеко не безупречный. Все остальное вместе с палаткой погибло от разрыва фугасной бомбы, сброшенной в ту ночь немецким летчиком. Погибли и три студента. И ни один человек

не мог подтвердить, что тогда было сделано необыкновенное археологическое открытие. А ведь от этого открытия могло измениться само существо археологической науки, как если бы эта историческая наука повернула свое острие в противоположном направлении и стала изучать не прошлое, а будущее. Да ведь и книга Ветрова называлась странно: «Будущее человека на основании антропологических и археологических данных».

Название ее придумал Арбузов и сумел даже защитить его от сомневавшегося и не соглашавшегося редактора.

Редактор сомневался долго. Потом перестал сомневаться. И книга вышла в свет. Но потом стали сомневаться читатели. И стали писать письма в издательство. И они были очень удивлены, когда получили ответ от самого автора, про которого было сказано в предисловии, что он погиб, отражая атаку фашистских танков.

Завязался спор между научно-популярным журналом, ставшим на сторону Ветрова, и известным специалистом-морфологом профессором Апугиным, доктором двух или даже трех наук.

Профессор Апугин давно пришел к убеждению, что человек за несколько десятков тысяч лет своего существования анатомически не изменился и не будет меняться в дальнейшем.

Оспаривая гипотезы Ветрова и подвергая сомнению факты, морфолог не забыл упомянуть в своей наделявшей много шума статье и о фотографическом снимке, назвав этот снимок явной подделкой.

В одном довоенном справочнике про Апугина было сказано лестно — крупный авторитет. Но, говорилось дальше, имея много заслуг перед наукой и обществом, он обладает все же одним недостатком — категоричностью.

В сухом академическом справочнике, казалось бы, не должно быть места для субъективных оценок. И это замечание удивляло.

3

В тот памятный и удивительный день помощники Ветрова, студенты исторического факультета, работали вяло. Они устали, выдохлись. Их мучила жара. Давно не было такого знойного лета. Их мучила жажда.

Череп подняли, не подозревая о том, какие последствия повлечет за собой эта находка.

Ветров сразу же прогнал показавшуюся ему нелепой мысль, что череп мог принадлежать неземному существу, прилетевшему из космоса. Так имел право думать писатель или увлекающийся астрофизик, но не трезвый археолог, ищущий в земле следы прошлого. Вероятнее всего, что этот череп принадлежал неизвестной науке ветви вымерших человеческих существ. Но тогда как быть с неандертальцами и их потомками кроманьонцами, нашими предками? Нелепо думать, что почти в ту же эпоху жил человек с таким огромным черепом.

Студенты тоже были взволнованы.

— Сергей Сергеевич, — сказал один из них, — надо немедленно телеграфировать в Академию наук, в институт.

— Хотите, чтобы нас приняли за сумасшедших?

— Ну а что же делать?

— Не спешить. Все обдумать. Куда торопиться?

В ту ночь он не заснул. Он ходил возле того места, где днем производились раскопки, и спрашивал себя и снова спрашивал, словно бы его растерявшаяся мысль могла найти удовлетворительный ответ.

Студенты спали в палатке. Они слишком быстро привыкли к необычному, и ничто им не мешало видеть обычные юношеские сны.

Рокот мотора прервал мысли Сергея Сергеевича. Затем он услышал свист. Взрывная волна отбросила и оглушила его. Когда он поднялся и пришел в себя, он увидел вместо палатки большую яму. Казалось, не фугасная бомба, а сама судьба вырыла эту воронку, чтобы похоронить ветровское открытие и единственных свидетелей его.

До Ленинграда он добрался с большим трудом. О своем открытии никому ничего не сказал. Прежде чем уйти в дивизию народного ополчения, заперся в кабинете и несколько дней подряд стучал на старенькой машинке. Бумаги и фотографический снимок положил в папку, спрятал папку в ящик письменного стола, позвонил своему приятелю Арбузову и спокойно, как будто речь шла о пустяках, сказал ему, что если он, Сергей Ветров, не вернется с войны, Арбузову надлежит заинтересоваться его записками, лежащими в нижнем ящике письменного стола.

Арбузов заинтересовался записками своевременно. Еще каких-нибудь пять минут, и они сгорели бы в буржуйке ветровских соседей.

И все же на войну ушел не тот Ветров, которого знали и любили его приятели и его желчная, насмешливая мать. Его внутренний мир стал другим с той минуты, когда приоткрылась тайна, разверзлось будущее. В записках его, спасенных и позже опубликованных Арбузовым, было несколько фраз, вычеркнутых редакторским карандашом, как не имеющих прямого отношения к делу. Действительно, эти фразы не имели никакого отношения к археологическому открытию и попали в записки потому, что выражали настроение писавшего. Это были слова, сказанные итальянским философом Розмини о Гегеле:

«Гегель влагает во все содержания как бы некоторое безумие, он говорит обо всем и даже о самом обычном так, что оно повертывается к зрителю какою-то новою, невиданною, как бы внутренне противоречивою и едва улавливаемой стороной. В знакомом раскрывает небывалое, в простоте — сложность, в неподвижном спокойствии — смятение и хаос... Мысль чувствует себя как бы перемещенною в новое измерение».

Но вот сама действительность заговорила необычным языком.

Мысль Ветрова от соприкосновения с тайнами человеческой эволюции переместилась в новое измерение. Ведь ему одному удалось заглянуть в другое время. Правда, если не считать двух-трех друзей, никто не верил, что ему это удалось.

В комнату Сергея Сергеевича, ушедшего целиком в работу, из коридора долетал голос Веры Исаевны, спорящей с соседями:

— Не в вашей компетенции судить о том, совершил или не совершил научное открытие мой сын. Занимайтесь своими газовыми конфорками...

4

Робот Инс занимался своим делом. Он вбирал в свою механическую память бытие здешних людей: их поступки, их мысли, выраженные при помощи диких и громких звуков, и то, как они любили и как охотились на зверей.

Сознание еще только зарождалось в них, и они видели мир, словно он только что возник, возник вместе с ними. Они сильно чувствовали, но не в силах были проникнуть в суть явлений. Бытие являлось им, как является сон младенцу. Охваченные ярким, необычайно предметным чувственным сном, они жили, ничего не зная о том, что было до них, и не задумываясь о том, что начнется после. Доисторическая, полуинстинктивная жизнь, раннее детство человечества...

Планета с ее лесами и реками, с ее горами и океанами жила, еще не отраженная историческим сознанием, говоря философским языком, — объект без познающего субъекта...

Путешественник непрерывно убеждал себя: действовать, торопиться, познавать! Неизвестно, долго ли ему суждено прожить, недомогание усиливалось с каждым днем...

Его охватывала гордая мысль, гордая и чуточку парадоксальная. Вопреки исторической логике, наука и философские познания на этой планете возникнут задолго до того, как люди пробудятся от своего затянувшегося сна. Планета будет познана, отражена сознанием. Он проживет недолго. Ну и что же! Разве его труд пропадет зря? Живое время, запечатанное им, будет ждать в земле своего часа...

Этот час наступит не скоро, через несколько десятков тысяч лет, и потомки нынешних диких, высокоцивилизованные и культурные потомки, распечатают время... Это будет не просто палеонтологическая или археологическая находка, мертвый остаток чего-то когда-то жившего, давно окаменевшего и застывшего, но живое, пульсирующее время, время, в котором как бы снято непреодолимое противоречие между прошлым и настоящим. Это будет одновременно вечность и растянувшийся, вновь оживший миг...

Он, разумеется, чуточку преувеличивал значение будущей археологической находки. И все же это было так. Распечатанное время, время палеолитического человека на земле и то время, которое он принес сюда со своей далекой и затерявшейся в пространстве планеты, предстанет перед тем, кому повезет найти и расшифровать записанное Ипсом, исследовать его, Путешественника, останки. Да, останки...

Эту лабораторию в его далеком мире ученые сочли бы кустарной. Весь штат ее состоял из одного Путешественника, если не считать автомата-лаборантки, мывшей пробирки, продолжавшей начатые им опыты, готовившей препараты.

Лаборантка-автомат, древнее и неторопливое существо, созданное еще в конце прошлого века, когда конструкторы наивно и, в сущности, нелепо и претенциозно пытались придавать автоматам анеидальный вид, как нельзя лучше подходила к здешним условиям. В неторопливых, осторожных движениях этой древней старушки было нечто успокаивающее, настраивающее почти на идиллический лад. У нее был старушечий ворчливый голос, и она даже покашливала (дань, отдаваемая конструкторами старомодным эстетически-натуралистическим вкусам прошлого века), да, покашливала, как кашляют старухи, больше всего на свете боящиеся сквозняка и часто жалующиеся на то, что их «продуло».

Старушку уговорил взять его друг, знаменитый биохимик, тщательно прятавший от всех свою доброжелательность за иронически усмехающейся маской.

— Не подведет,— сказал он.— Поверь мне. Я знаю, что ты — враг старомодного иллюзионизма. Но знаешь, в чужом мире иллюзионизм не покажется тебе отголоском безвкусицы... Ты будешь там нуждаться в мягком и безобидном обмане...

Биохимик оказался прав. Эта медлительная и смешная старушенция, отставшая на полвека от других автоматов, была здесь как нельзя кстати.

Сейчас она вела опыт, пытаясь определить количество кальция в протоплазме маленького серого грызуна, пойманного позавчера.

Да, здесь ему приходилось заниматься и биохимией, и геологией, и палеонтологией, и биофизикой, и физиологией, и ботаникой, как ученому древних времен, когда не существовало узкой специализации.

Вот уже несколько столетий на его планете биохимия и биофизика заняли первое место по своему теоретическому и практическому значению среди всех старых и новых наук. Они заняли это место после того, как ученые и философы убедились, что самая перспективная химия и физика — это химия и физика живого...

Ученые уже давно овладели тайнами фотосинтеза и,

в сущности, уже не нуждались в таком посреднике, как растения, чтобы консервировать солнечную энергию, но им так и не удалось создать искусственным путем живые организмы, перебросить мост над пропастью, которая сужалась и сужалась и все же не сузилась настолько, насколько было нужно, чтобы сделать прыжок из мира необходимости в мир свободы.

Эта тайна, тайна бытия, играла с учеными в течение веков и тысячелетий, казалось, давая себя схватить самым смелым и удачливым и в последний момент все же ускользая...

Наш Путешественник, критически и добродушно поглядывая на свою механическую старушку лаборантку, все же тешил себя надеждой, что, может быть, именно ему здесь, на чужой планете, суждено поймать тайну происхождения жизни на крючок, с которого ей будет уже не сорваться...

Усталый, придя из лаборатории и утолив голод и жажду, он не очень часто начинал разговор с тем, кто был создан для устной речи, для спора и для тренировки интеллекта. Этот интеллектуальный механический тренер был подчас невыносим. Но попробуйте-ка обойтись без него, когда он здесь, рядом.

Робот. А-а. Опять ты? И опять с жалобами на физическое недомогание? Я, мой дорогой, не врач, не медик и не физиолог. По моей части — интеллектуальные страдания... Но ты слишком мнителен. Ты проживешь очень долго. Уверяю. И доведешь свои эксперименты до конца. Но в чем твоя цель, дорогой? Мне это не совсем понятно. О результатах твоих научных исследований в твоём мире никто не узнает. Запечатанное время? Неплохая идея. Но где уверенность, что его распечатают? И где уверенность, что распечатавшие тебя поймут? Ты веришь в их любознательность. А вдруг здешние люди не будут любознательными?

Путешественник. Челуха! Сущность человека — это познание. Оно будет развиваться.

Робот. Какой уверенный тон! Таким же уверенным тоном ты заявлял, что жизнь не может быть не дискретной. Но студень на планете, названной твоим именем, положил тебя на обе лопатки. Пора бы стать более осторожным...

Путешественник. Дался тебе этот студень. Ты,

видно, очень рад, что существует жизнь, не знающая форм и памяти. Хотя — чему радоваться? Да и печалиться тоже нет основания. На моей планете жизнь достигла высокого развития. И здесь тоже...

Робот. Ты уверен в этом? Неизлечимый оптимист. Эти в пещерах, ты знаешь это не хуже меня, едва выдержали стужу и холод недавнего оледенения, едва уцелели. В вероятностном мире, полном случайностей, и цивилизации тоже более или менее вероятны.

Путешественник. Что ты имеешь в виду?

Робот. Очередное и еще более сильное оледенение... Оледенение, ужасов которого не выдержат эти первобытные люди. И еще я имею в виду одну идейку, которую ты презираешь. А что, если этот студень везде, кроме твоей планеты и этой, где мы пребываем с тобой? А что, если дискретность жизни — редкое исключение? А? Тебя это не устраивает?

Путешественник (с гневом). Зато тебя это устраивает, негодяй!

Робот. Воздержись от грубых выражений. Я не перехожу на личности, а веду чисто теоретический спор...

Путешественник. Но от твоих теорий дурно пахнет. Твои создатели, видно, мало думали о моральной стороне дела...

Робот. Я же не говорю ничего дурного о твоих родителях... Веди спор, не теряй его нить. Речь идет о жизни, а не о нравственности. Нравственность приходит на сцену позже... Ты, кажется, не слушаешь? Рассеян? Тебе со мной скучно?

Путешественник. Мне никогда не бывает скучно.

Робот. И ты ставишь это себе в заслугу? Не думаю, чтобы этим следовало гордиться. В древнее время одна модная философская школа очень высоко ценила скуку. Ее последователи утверждали, что во время скуки, когда вещи растворяются и теряют очертания, в ленивой сонной одуре открывается вечность с ее бесконечностью. Правда, тогда жители Утреннего Мира не имели возможности соприкоснуться с бесконечностью практически. Тогда еще не существовали космические полеты и путешествия...

Путешественник. А сейчас существуют. И мы знаем, что эти философы-метафизики абсолютизировали обывательские настроения.

Робот. Не упрощай. Ради всего святого, не упрощай. Обывательские настроения? Как будто скучать дано только одним обывателям! Кстати, принципиальный враг скуки вчера убил весь вечер, просматривая и переживая утраченное время. У робота Твое Второе Я вчера было много работы. Не отпирайся, скучал по жене и друзьям. Да еще как скучал! Не хватило силы воли воздержаться от просмотра. Ведь, в сущности, это мираж. Оно есть, это утраченное время, но его нельзя схватить руками, почувствовать, как чувствует человек настоящее время... Оно есть — и его нет. Жалкое утешение для слабых. Самообман!

Путешественник. Да, жалкое утешение. Ты прав. Слабость! Но ведь я — не ты. Я — не механизм. Не машина. Я — живое существо.

Робот (*обиженно и удивленно*). А я разве мертвое?

Путешественник (*миролюбивым тоном*). Ладно, не будем задевать личности.

Робот. Значит, ты все же признаешь, что я — личность?

Путешественник. Я этого и не признаю и не отрицаю.

Робот. Софист. Хочешь увильнуть от ответа, спрятаться за игрой понятий и слов!..

Путешественник. При твоём уме это выглядит жалко. Ты чуть ли не выпрашиваешь это признание. Ну если я даже и признаю, что ты личность, разве от этого что-нибудь изменится? Важно не признание. Важен факт.

Робот. На планете, где нас двое, всего-навсего двое мыслящих существ...

Путешественник. А жители этой планеты — разве они не живые, не мыслящие существа?

Робот. Живые — да, в какой-то мере мыслящие — тоже. Но вряд ли они уже дошли до понимания того, что означает личность.

Путешественник. А кстати, что такое личность?

Робот. Задай этот вопрос психологам и психиатрам. Они любят отвечать на такого рода школьные вопросы.

Путешественник. Но для того, чтобы быть личностью, тебе многого не хватает. Ты можешь говорить, но не способен действовать. Ты чисто отрицательная величина.

Робот. Отрицательная величина? Неплохо сказано! Но ты скоро узнаешь, кто такой я. Познакомишься с моей личностью...

Путешественник. Во всяком случае, у меня есть и будет одна возможность, кстати, которой я воспользуюсь и сейчас... Возможность отключить тебя...

Он отключает робота. Наступает благодатная тишина.

После разговора с этим циником тишина действительно кажется благодатной.

- Тамарцев отстукал указательным пальцем последнюю фразу, поставил точку и вынул лист из каретки.

Он печатал на машинке одним пальцем. И дело двигалось медленно. Оно двигалось быстрее, когда печатала жена. Но жена на днях ушла от него к Арбузову, к тому самому Арбузову, который подложил свинью Ветрову, поторопившись опубликовать его рукописи.

В квартире стало сразу пусто. Ощущение пустоты не исчезло и тогда, когда пришла со своим старым чемоданчиком тетя Оля и вернулся из школы сын Гоша.

Гоша был в быту Гошей. И в школе и дома. Но в свидетельстве о рождении, хранящемся в шкафу вместе с другими бумагами, у Гоши было другое имя, звучащее странно, словно Гоша родился не в родильном отделении Института акушерства и гинекологии на Васильевском острове, напротив университета, а в другой стране или даже на другой планете. В свидетельстве было написано, что он Геогобар...

В том году, когда родился Гоша, Тамарцев опубликовал свой первый научно-фантастический роман. И его друзья не очень удивились, что он дал имя своему сыну, заимствовав его из собственного романа.

Дав сыну такое сложное и необычно звучащее имя, Тамарцев сразу пожалел об этом. Но было уже поздно. Гошино бытие как бы раздвоилось. В быту, дома и на улице Гоша был Гошей, но в документе, пока лежавшем в шкафу и хранившем молчание, он был Геогобаром.

Потом это имя заявило о себе. Учительница русского языка, за что-то невзлюбившая Гошу, стала называть его громко и торжественно Геогобаром...

Тамарцев писал научно-фантастические романы в свободное от работы время. Он был физиологом и психиатром и очень любил свое дело. Пожалуй, он любил его больше, чем писательство — занятие приятное, но не очень солидное и не очень уважаемое в ученом мире.

Гошина мать умерла через год после рождения Гоши.

Тамарцев долгое время жил вдовцом, сам воспитывал сына, потом женился на Анастасии Сергеевне, родной сестре археолога Ветрова. На днях Анастасия Сергеевна ушла, ушла навсегда.

Чтобы заполнить пустоту и забыться, Тамарцев сел за работу. Вот уже третий месяц, как он работал над романом, взяв за сюжетную основу археологическую находку Ветрова. Тамарцева давно интересовала эта история, так необыкновенно начавшаяся, история, которая так и осталась началом без продолжения и конца... Тамарцев не рассчитывал на то, что жизнь внесет в его роман поправку, Ветрову не везло, и истории с огромным черепом, его открытию, по-видимому, было суждено затеряться в памяти современников, остаться неразгаданной... Он, Тамарцев, мог свободно фантазировать, и он это делал, охотно соображаясь со своей редкой и странной склонностью: в мыслях пребывать вдали от квартиры и семьи, даже от самого себя...

Да, эту странную склонность нелегко было примирить с обыденной жизнью. Нельзя без ущерба для отношений с близкими и родными людьми ей предаваться. Жена ушла, забрав вещи и оставив здесь, в квартире, горькое и безутешное чувство утраты.

5

Анастасия Сергеевна проснулась в чужой комнате, на чужом диване. Рядом спал Арбузов. Он спал, тоненько пошвыстывая носом. Из-под нового байкового одеяла, очевидно купленного недавно, торчала чужая узкая нога.

Анастасия Сергеевна закрыла глаза. И снова открыла их. Но все осталось, как было. Перед ней был тот же мир, тесный и странный: типично мужская холостяцкая комната с книжными стеллажами, с картиной на стене, написанной душевнобольным и подаренной еще в двадцатых годах отцу Арбузова, врачу психиатрической больницы. Очень милая картина: дерево и пруд.

На столе — пепельница, полная окурков. На шкафу — голый Мефистофель из бронзы с сардонической улыбкой и старомодной козлиной бородкой, чем-то похожий на самого Арбузова.

Арбузов перевернулся на другой бок. И перестал пошвыстывать носом. Теперь он похрапывал. И казалось

Анастасии Сергеевне, что это он всхрапывает нарочно, только притворяясь спящим и желая показать ей, что он, Арбузов, теперь самый близкий для нее человек и что он может при ней делать все, что захочет,— пошвыстывать носом, храпеть, сопеть, не скрывая своих тонких мефистофельских ног.

На спинке стула висел его новый, хорошо и по моде сшитый костюм. Костюм словно отдыхал на стуле, как часть спящего хозяина, необходимая его часть, придававшая ему тот привычный для всех облик уверенного в себе человека, остроумного и корректного.

Уже было утро. И солнечный свет пробился в комнату сквозь плетенную из соломы вьетнамскую циновку. За стеной зашевелилась семья соседей. Слышен был мужской смех и женский голос, повторяющий:

— Тише! Да тише же!

Соседи знали о том событии, которое произошло. Они видели вчера Анастасию Сергеевну, вынужденную время от времени выходить из комнаты в коридор и на кухню.

За стеной громко крикнул ребенок. И снова женский голос сказал:

— Тише!

Соседи были явно стеснены присутствием Анастасии Сергеевны.

Арбузов спал. А пожалуй, уже пора было вставать. И, словно угадав Тусины мысли, он повернулся и раскрыл глаза. В раскрытых глазах его дрожал смех, словно Арбузов хотел сказать что-то очень смешное. Но он не сказал ни смешного, ни серьезного, а молча сел. Сел и стал надевать носки, а затем и брюки. Он надел рубашку тоже. Сейчас он уже снова напоминал того уверенного в себе и корректного человека, которого знала Анастасия Сергеевна.

— Ну, как спалось?— спросил Арбузов, зевая.— Что снилось?

В его карих глазах снова задрожал смех. И только что зевавшие губы сложились в равнодушно-ласковую улыбку.

— Бежать надо на работу. Черт подери, опыт. А лаборант у меня из непризнанных гениев. Еще такого на творит...

— Зачем ты держишь его?

— Привык. Злые языки говорят, что держу, чтоб не поссориться с директором. Непризнанный гений — его родственник... Злые языки говорят. И злые и добрые.

Он быстро сбежал на кухню, помылся. А затем принес кофейник с горячим кофе. Накрыл стол. Нарезал булку. Намазал ее маслом. Съел и через десять минут, подмигнув, исчез.

Анастасия Сергеевна подошла к стеллажам и достала с полки первую попавшуюся книгу. На внутренней стороне переплета был наклеен экслибрис, сделанный по заказу Арбузова известным художником: Дон-Жуан в шпорах и при шпаге перед ожившей статуей командора.

На титульном листе стояла кроме того и печать «Из книг А. В. Арбузова». По-видимому, Дон-Жуан не доверял своим знакомым. «Из книг А. В. Арбузова» — словно у А. В. Арбузова была своя книжная лавка.

На корешках книг — пыль. И пыль на сардонически улыбающихся губах бронзового Мефистофеля. Анастасия Сергеевна разыскала тряпку и крадучись вышла на кухню.

Чужая кухня, незнакомая, хотя и похожая на все другие кухни. Газовая плита. Водопроводный кран. Капает вода в раковину. Запах газа, острый и неприятно бьющий в нос.

Анастасия Сергеевна подошла к раковине, открыла кран и подставила под струю воды тряпку. Вошла соседка. Вошла уверенно, по-хозяйски и посмотрела на Анастасию Сергеевну. А на тонких, все понимающих, умных губах появилась улыбка. По-видимому, соседка ждала, когда Анастасия Сергеевна что-нибудь скажет. А что Анастасия Сергеевна могла ей сказать? Не было подходящей темы для разговора.

Анастасия Сергеевна отжала тряпку. И возвратилась в комнату.

Часа через три — ну и медленно тянется время — она снова вышла из комнаты, но уже в пальто и шляпе, и быстро проскользнув через коридор, тихо закрыла за собой дверь квартиры.

За те десять лет, которые она прожила с Тамарцевым, выработались привычки. Один день походил на другой. По утрам она знала, куда и зачем ей надо идти. Она обычно шла в диетический магазин. Для стола требовалось все самое свежее. И мясо, и рыба, и масло. И овощи, и яйца. У Тамарцева — большой кишечник. И печень тоже работает неважно. Ежегодно приходилось ездить в Трускавец или в Эссентуки.

Сейчас не нужно идти в диетический магазин. У Арбу-

зова здоровье отличное. А Тмардцев вечно боялся съесть то, чего нельзя, и не съесть того, что нужно и полезно.

Теперь эта забота у нее отпала. Но, странно, Анастасия Сергеевна не чувствовала и от этого пока никакой радости. Скорее наоборот. Она с удовольствием зашла бы в магазин. И в аптеку зашла бы на всякий случай.

Гоша мог бы простить Анастасии Сергеевне многое. Ведь она, в сущности, была неплохая женщина, спокойная, заботливая. Но он не мог простить, что она ушла как раз в те дни, когда отец работал, не щадя ни лаборанток, ни себя. Отец искал новый препарат, лекарство от болезни, которую все считали неизлечимой. Неужели она не могла отложить свой уход хоть на месяц?

Арбузов тоже хорош! А еще ученый. Он-то ведь знал лучше всех, чем занимался в эти дни отец:

Не посчитались с отцом. Не посчитались с Гошей. Не посчитались с больными, которые так нуждались в новом препарате. А с больными нельзя не считаться!

После уроков Гоша не пошел домой. Не хотелось. Он долго ходил по улицам. Потом решил встретить отца. Отец работал в двух учреждениях: в больнице и в научно-исследовательском институте. Можно было бы сесть в автобус, но Гоша отправился пешком.

Вот больничный сад. На скамейке в саду кто-то сидит. По-видимому, больной. Увидев Гошу, больной встал и сказал вежливо через чугунную вязь ограды: «Здравствуйте». И на лице его появилась припоминающая улыбка, словно он когда-то знал, встречал Гошу, но никак не мог вспомнить — когда и где. И Гоше почему-то очень хотелось помочь ему вспомнить, хотя это было невозможно: ведь он видел этого человека впервые.

В больнице Гоше сказали, что отец в институте. Пока Гоша шел до института, он все время думал о том, о ком не хотел думать, — об Арбузове. Веселый этот Арбузов, жизнерадостный. И анекдотов сколько знает! Тысячу — не меньше. Говорят, он когда-то работал затейником в санатории на Южном берегу Крыма. Но ведь все знают, что ученый он способный. Правда, не выдающийся, но способный. А поступил нехорошо.

Может, не стоит ждать отца? Да и неизвестно, скоро ли отец кончит работу. Иногда он задерживался до полуночи.

Но Гоше нравится институт. Сколько там лабораторий! И есть лаборатория физиологической кибернетики, в которой работают два очень крупных ученых: один пожилой — член-корреспондент Бородин, которого за глаза все называют Бородой, а другой совсем молодой, еще аспирант, — Радий Богатырев. Радия Богатырева в шутку называют Леонардо. Он и физиолог, и математик, и конструктор. Недавно Гоша с двумя одноклассниками был на его докладе. Он очень скромный, этот Богатырев. Но когда стал чертить на доске схему машины, играющей в «чет» и «нечет», у Гоши и у его приятелей перехватило дыхание. Машину эту построил сам докладчик. Сколько же ему лет? Ну, двадцать пять, не больше. Надо будет спросить у отца.

Да, о Богатыреве гораздо приятнее думать, чем об Арбузове.

Один из Гошиных приятелей — Капустин — успел набросать эту схему у себя в тетрадке, надо будет посмотреть. Капустин думает, что, когда ему исполнится двадцать пять лет, он тоже построит машину не хуже. Дудки! Одно дело — скопировать схему машины, а другое дело — ее создать. Капустин только и умеет копировать.

Про Радия Богатырева отец как-то сказал:

— Это надежда нашей науки. — А потом ему это показалось недостаточным, и он добавил: — И нашей отечественной науки, и мировой.

Быть талантливым, строить машины не легко. Но, вероятно, еще труднее, при таких выдающихся успехах, оставаться скромным.

Гоша постоял возле института, подождал, а потом пошел домой.

6

По выражению лица трудно судить о душевном состоянии Рябчикова. Не весел, но и не мрачен. Скорее, безразличен. Говорит рассудительно и здраво, слишком рассудительно и слишком здраво, как преподаватель в средней школе. Он, кажется, и был преподавателем биологии, этот самый Рябчиков. Вполне разумен. И чересчур логичен. Но, как только заходит речь о времени, логика и разум покидают его.

Рядом с Рябчиковым — его жена. Всем известно, что это его супруга. И родным. И знакомым. И соседям по квартире. Их брачные отношения зарегистрированы загсом Фрунзенского райсовета. Всем это известно, кроме самого супруга. Он все еще считает жену невестой...

Тамарцев записывает:

«Корсаковский синдром... Больному Д. А. Рябчикову сорок лет. Полгода тому назад, отдыхая в деревне у родственников и моясь в черной бане, Рябчиков угорел. Его едва удалось спасти. Но под влиянием сильного действия угарного газа, по-видимому, в клетках интерпретационной части больших полушарий головного мозга произошли изменения, в результате которых для Рябчикова как бы остановилось время. Больной помнит все, что происходило в его жизни, не исключая и того факта, что он пошел мыться в черную баню. Но тут начинается граница, черная завеса, закрывшая от Рябчикова настоящее и будущее. Больной живет как бы за пределами текущего момента. Для него не существует ни «сейчас», ни «теперь», а только «вчера» и «позавчера». Он ест, пьет, двигается, отлично ориентируясь в пространстве, но настоящего для него не существует. Он, в сущности, не живет, а только вспоминает. Воспоминания — это и есть единственная реальность, с которой он считается».

В коридоре Тамарцев спрашивает Рябчикову:

— Почему вы привели ко мне мужа через шесть месяцев после начала болезни?

Рябчикова смотрит на него большими серыми глазами. В этих светлых глазах смущение, и робость, и печаль, и настойчивость, и что-то насмешливо-игривое, словно в этой женщине не одно существо, а несколько существ сразу.

— Я еще не знала тогда ничего о вас, профессор.

— А что вы обо мне знаете?

— Я знаю, что вы вылечиваете такие болезни.

— Этого никто не знает.

— А я знаю.

В голосе настойчивая уверенность и твердость, словно она действительно знает, что он вылечит.

— А я знаю.

— Значит, вы знаете больше меня.

Из ее больших серых глаз исчезает выражение настойчивости и игривой насмешливости, остается выражение смущения и печали.

— А что мне еще остается, профессор?— говорит она тихо.

— Но, когда вы выходили за него замуж, разве вас не предупреждали?

— Предупреждали.

— О чем вас предупреждали?

— О том, что эта болезнь трудно поддается лечению.

— Вас предупреждал, очевидно, слишком деликатный и легкомысленный человек. Эта болезнь почти неизлечима.

— Я знаю,— говорит она тихо.

— И вы все-таки надеетесь?

— А что же мне еще остается, профессор?

— До свидания,— внезапно говорит он. И протягивает руку.— Меня ждут.

Его никто не ждал. Раньше его ждала жена, ждала и подогревала обед. Теперь обед подогревает тетя Оля. Заглянет в кастрюлю сквозь стекла очков, а потом опять сядет в кресло читать книгу.

Его никто не ждет. И тем не менее он торопится, спешит, нервничает на остановке, ожидая автобуса. Это привычка. Привычки окружают нас со всех сторон. Из-за них мы многое делаем механически. Вот и сейчас он торопится, хотя торопиться решительно некуда. Он спешит, хотя спешить смешно.

Покачиваясь в автобусе, Тамарцев думает о Рябчикове и его жене. Вряд ли удастся его вылечить. Вряд ли... Клетки сильно изменились под действием окиси углерода, и вряд ли удастся их восстановить. Но тогда что делать его жене? Рябчикову легче, он живет отсутствуя... Отсутствуя и для себя и для других. А жена рядом с ним, видит его ежечасно и ждет, когда он вернется к ней. Он здесь и не здесь. Разлука может затянуться на многие годы, навсегда. Он и жив и не жив. Между ними нет никакой дистанции — и в то же время между ними бесконечность: если бы даже они жили на двух разных планетах, и то они были бы ближе друг к другу.

Покачиваясь здесь, в автобусе, он снова видит ее большие серые глаза и слышит ее голос, почти переходящий в шепот: «А что же мне еще остается, профессор?»

Господи, что бы он только не отдал, чтобы вылечить его, вернуть его к ней.

Ветров по старой, еще студенческих лет, привычке карандашом подчеркнул в «Феноменологии духа» несколько строк:

«Цель познания состоит в том, чтобы сорвать с объективного мира покров его отчужденности и создать нам более интимную близость с ним».

Он прочитал эту фразу и усмехнулся. Восемнадцать лет тому назад ему как будто удалось сорвать «покров отчужденности» и создать «интимную близость». Но взрывная волна похоронила все доказательства этой «интимной близости», кроме фотографического снимка, в достоверность которого верят только читатели журнала «Мир приключений». Там недавно детский писатель, из предосторожности скрывшийся за псевдонимом Марсианин, снова писал о космическом госте и о знаменитой находке профессора Ветрова. Хорошо ему, этому Марсианину. У него хоть есть псевдоним.

Вера Исаевна купила дефицитный номер журнала в газетном киоске, принесла его в кабинет и, подавая Сергею Сергеевичу, торжественно сказала:

— Вот не думала, что когда-нибудь стану матерью уэллсовского героя. Я бы много отдала, чтобы о тебе, Сережа, разговаривали в Президиуме Академии наук, а не перед киоском в очереди за сомнительным чтивом для подростков.

Сергей Сергеевич промолчал. С детства у него вызывали усмешку рассказы про марсиан и марсианок. Он, как и его трезвая, насмешливая мать, любил Льва Толстого и не любил писателей, игравших с читателями в жмурки. Но случилось так, что сама жизнь затеяла с ним странную игру, словно подражая наивным повестям и рассказам из журнала «Мир приключений». Из всех археологов, сотрудников Института истории материальной культуры, он был, пожалуй, меньше других подготовлен к сюрпризу, который ему преподнесла действительность, каким-то, в сущности, чудом дав возможность заглянуть в прошлое и увидеть вместо прошлого будущее. Ведь гость (как еще назвать его, если не гостем?), ведь гость прибыл из другого мира, возможно, из другой солнечной системы, с неизвестной планеты, где жизнь и эволюция ушли далеко вперед,

обогнав нас... Череп свидетельствовал об огромном интеллекте путешественника, приземлившегося в Европе, когда в ней жили неандертальцы. Как он попал на Землю? На чем прилетел? Об этом некого было спросить. Не удалось найти ни одного предмета, ни одной вещи, которая рассказала бы больше, чем мог рассказать фрагмент черепа. Ничего!

Наука, настоящая наука от времен Галилея построена на том, чтобы никому не верить на честное слово. Сила, внутренняя логическая красота и интеллектуальное достоинство науки заключались в том, что для нее существовал только один авторитет: авторитет неопровержимых фактов и доказательств. Книга Ветрова, вышедшая в свет благодаря Арбузову, рассматривалась специалистами как анекдотическая попытка противостоять чуть ли не самой сущности современной науки.

— Кто такой Ветров, — спрашивал недавно Апугин, — кто такой Ветров, чтобы заставить людей верить словам? Будь он даже Ньютоном или Павловым, все равно ему не поверили бы на слово, а потребовали бы фактов и доказательств. Тот день, когда ученые станут верить, не требуя фактов и доказательств, вероятно, станет последним днем науки.

Ветров, разумеется, не хотел, чтобы для науки наступил последний день. Он с особой остротой чувствовал правоту всех, кто сомневался в его открытии. И все же это была относительная правота, правота логики, презирующей невероятную сложность жизни. И хотя доказательств не было, пока не было, Сергей Ветров не хотел и не мог забыть о том, что однажды он держал в руках череп необыкновенного существа. Да, недолго, но все-таки держал в руках череп, по-видимому, космического пришельца, и никакие традиции и требования науки не могли заставить его забыть об этом.

Вера Исаевна подошла к дверям кабинета и, отчетливо выговаривая каждое слово, сказала:

— Сколько раз мне надо тебе кричать, чтобы наконец докричаться?

— В чем дело, мама?

— Звонил наш бывший зять, профессор и писатель Тамарцев. Спрашивал тебя. Я ему сказала, что ты лег отдохнуть. Может, ты ему позвонишь?

Ветров подошел к телефону и набрал номер. Голос

Тамарцева, как и всегда, был сосредоточенно медлителен и задумчив.

— Извини, Сергей. У меня к тебе срочное дело. Ты не очень бы удивился, если бы я тебе сказал, что я разыскал свидетеля твоей археологической находки?

— Где ты его разыскал?

— Один мой больной, некто Рябчиков, утверждает, что летом сорок первого года на западной границе, где он служил в артиллерии, ему довелось... Ты лучше заезжай ко мне или в больницу, Сергей. Там я отвечу на все твои вопросы.

8

И опять робот Ипс вбирал в свою необъятную память все впечатления бытия. Впечатлений было много. Но их было бы гораздо больше, если бы одиночество не разъедало жизнь Путешественника, если бы возле него были спутники и друзья, если бы он слышал их живые голоса и видел их лица, а не отражения, возвращающиеся из прошлого и каждый раз напоминающие об утрате.

Лучше всего Путешественник чувствовал себя в лаборатории. Автоматическая старушка лаборантка делала все не спеша. Но странно, его это не раздражало. Наоборот. Его это успокаивало. Хотя, в сущности, следовало бы поспешить. Неизвестно, сколько еще месяцев или лет ему оставалось жить: недомогания и бессонница подтачивали его.

Ему нравились медлительные движения старушки. Иногда его вдруг охватывало чувство полной иллюзии, словно перед ним был не автомат, а старая живая женщина, чем-то напоминающая его тетю... В такие мгновения ему казалось, что он там, у себя, в гостях у тети, и она, покашливая, суетится и хлопочет, рада, что ее наконец-то навестил племянник, и хочет его угостить, как угощали в старину...

Наивный обман чувств. В их обществе, на его далекой планете, анеидайцы давно выработали в себе насмешливое отношение к иллюзии и иллюзионизму. В иллюзионизме было нечто сентиментальное, напоминавшее о древних романах и древней живописи, когда художники и писатели еще не подозревали, какие могучие средства будут созда-

ны для того, чтобы схватить, удержать, передать и дать почувствовать ускользящее время. Передать время и жизнь, не прибегая к иллюзии, не уподобляя действительность сну.

Он как раз сейчас и занимался исследованием и тщательным изучением здешнего времени, времени этой планеты и ее живых существ, сменявших друг друга в той удивительной лестнице последовательности, которая подымалась от анаэробов к человеку... Огромная палеонтологическая коллекция все пополнялась и пополнялась. Но недавно роботу-геологу удалось найти окаменелый и крайне загадочный организм в самых древних слоях. Старушке лаборантке пришлось потрудиться...

— Скорей, дорогая старушенция, — подгонял Путешественник ее, — скорей! Поторопись! Поспеши!

Слишком велико было в этот раз его нетерпение и любопытство. И вот он проверил еще раз все ее опыты и продиктовал роботу Ипсу:

«Создавая белки, природе приходилось экономить. Синтез белка включает двадцать аминокислот. Но существовали ли на этой планете добелковые организмы? До сих пор я этого не знал. Но вот недавно найденный окаменелый организм ответил утвердительно на мой вопрос. По-немножку я и моя медлительная старенькая помощница приближаемся к истокам жизни, к ее возникновению здесь, на Земле».

Затем около часа он провел в лесу, охваченный радостью оттого, что ему удалось проникнуть в тайну здешней эволюции. Лес, убегающий за горизонт, был велик. Его зеленые просторы уносились вдаль. Путешественник прислушался. Где-то свистела иволга. В ее ясных, прозрачных звуках сгущалась музыка юной жизни, жизни, словно только что возникшей в этом зеленом, убегающем во все стороны лесу.

Потом он долго смотрел в прозрачные воды озера. Утка плавала возле камышей. Нырлял и снова появлялся селезень. Журчал ручей, впадавший в озеро. И в его журчании, как в свисте иволги, сгущалась музыка здешней жизни, чуждая Путешественнику и все же прекрасная.

У него было отличное настроение. Вернувшись в лабораторию, он напевал и опять рассматривал древний окаменевший организм, недавно найденный роботом-геологом.

Добелковые и предбелковые формы жизни. Но жизнь невозможна без памяти. Эволюция внедрена в жизнь. И жизнь внедрена в эволюцию. Одно не мыслится без другого. А как быть с недискретными формами жизни, с пресловутым студнем, о котором так любит рассуждать интеллектуальный тренер?

Робот будто услышал его мысли и заговорил.

Р о б о т. Ну что, дорогой мыслитель? Как твои исследования? Многого добился? Хотя кое о чем я догадываюсь. Добелковые организмы. Подумать надо...

П у т е ш е с т в е н н и к. Да, надо подумать.

Р о б о т. А может, предоставить это природе? Пусть она думает. Когда подумаешь о ней, начинаешь презирать всякие думы. Не думая и не размышляя, она сотворила и устроила такое, какое во веки веков не сотворить и не устроить всем думающим и размышляющим. Она действовала, творила. А думать предоставила нам. И сколько мы ни думаем, но абсолютной истине не раскрыться.

П у т е ш е с т в е н н и к. Что ты имеешь в виду?

Р о б о т. То, что заботит биохимиков и биофизиков. Происхождение жизни... Хотя, собственно, не мне об этом думать и заботиться. Я ведь порожден не эволюцией, мне не пришлось ждать сотни миллионов лет, пока анаэробное полусущество-полувещество, эволюционируя, превратится в анеидайца.

П у т е ш е с т в е н н и к. Но ты и есть полусущество-полувещество...

Р о б о т. Не будем задевать личности, говорить о присутствующих. Не будем.

П у т е ш е с т в е н н и к. Не будем.

Р о б о т. Ну вот, так лучше. Не люблю, когда меня называют полувеществом. Я понимаю, ты гордишься, что замыкаешь собой эволюцию. Гордись! Но вздумайся, есть ли основания для гордости. Хорошо, что на этой планете существовали аминокислоты. А каково было бы без них? Добелковый организм, найденный роботом-геологом, биохимический парадокс... Ты страшно обрадовался этой находке. Я, в свою очередь, рад за тебя. Но о чем она говорит? Куда бы пошла жизнь, если эволюция не забрала бы этот, с позволения сказать, организмик? Не хмурься! И не нервничай! Я не намерен напоминать о планетке, названной в твою честь. Об этом скучном студне. Но ты, видно, устал от философских разговоров.

И я тоже устал. Погворим лучше о вещах близких и простых. Как твоё здоровье?

Путешественник. Риторический вопрос.

Робот. Почему риторический?

Путешественник. Потому что ты здоров вечным здоровьем, здоровьем машины.

Робот. Не серди меня. У меня тоже есть нервы. Я тоже живу!

Путешественник. Извини.

Робот. Подготавливая себя к космическому полету, ты очень долго тренировал себя. Ты это делал с излишним энтузиазмом, не щадя себя. И вот ты подорвал свой организм.

Путешественник. Я не жалею об этом. Тренируясь, я укреплял свою волю. Я не жалею ни о чем. Я и здесь испытываю минуты удовлетворения и полного счастья. Не каждому дано посетить такую далекую и прекрасную планету, убедиться в том, что мне подобные не одиноки и что здесь они переживают стадию раннего детства...

Робот. Детство. Юность. Пустые слова. Я прекрасно обошелся без детства и без юности, сразу появившись на свет взрослым.

Путешественник. Да, ты анеидаец без возраста.

Робот. Анеидаец? Значит, ты этого не отрицаешь?

Путешественник. Мы обещали не философствовать, поговорить о чем-нибудь простом, житейском.

Робот. Житейском? Но житейское от нас далеко. Оно осталось на нашей планете, где давно считают нас всех погибшими... Мы с тобой отсутствующие. Отсутствующие, которых уже перестали ждать.

Путешественник. Ты думаешь?

Робот. Я не только думаю, но знаю.

Путешественник (с интересом). Откуда ты можешь это знать?

Робот (не без важности в голосе). Пока я тебе еще не скажу, каким образом я получаю информации. Это тайна, которую я не имею права разглашать.

Путешественник. Я не любопытен.

Робот. Допустим... А жизнь там идет, как-шла при нас. Живущие ищут радости. И бегут от забот и неприятностей.

Путешественник. Не клеветчи на них. Не изоб-

ражай их мещанами. Прогресс вытравил мещанство еще на заре нового общества. Мещанство и мужество — это два полюса. Я жил в мужественном, героическом мире... С детства меня воспитывали...

Р о б о т. Знаю. Слышал. Не упрощай... На самом деле все сложнее. Мужества не может быть без слабости, как и слабости без мужества. В чистом виде жизнь не пребывает. Кстати, она тебя полюбила скорее за слабость, чем за мужество. Если забыл, я тебе напомню.

П у т е ш е с т в е н н и к. Такие вещи не забывают.

Р о б о т. Ты тонул, купаясь в озере. Тонул, несмотря на всю свою гордость и на длительную тренировку в плавании, а она тебя спасла. Ты лежал на берегу в траве жалкий, посиневший, из ноздрей у тебя текла вода, а она, нагнувшись, делала тебе искусственное дыхание. Взяв твои руки в свои, она заставляла тебя делать медленные движения... Потом ты вздохнул, улыбнулся и сказал: «Закон притяжения. Он обязателен для всех». Она рассмеялась. Ей понравились твои слова. Но еще больше ей понравилась твоя слабость, то, что она тебя спасла. Не знаю, что она больше полюбила — тебя или свой поступок, ведь она плавала не лучше тебя...

П у т е ш е с т в е н н и к (*тихо*). Нет, все же немножко лучше.

Р о б о т. Я понимаю. Гордость... Но ценой своей временной слабости, непреднамеренной, конечно, ты добился того, чего не могли добиться другие. Она выбрала тебя... Ну ладно, ладно. Не хмурься. Ты ее выбрал... Ты! Я настаиваю. Ты! Прошло много недель, месяцев и лет. Даже находясь вместе, рядом, вы тосковали друг по другу. Это и есть любовь. Вы были всегда нужны друг другу. Бесперывно. Вы никогда не могли наговориться друг с другом. Вы не расставались даже в своих снах. Но вот приближалась разлука. Ты бы мог и не участвовать в экспедиции. На твоей стороне были знания, опыт ученого. Знатор мозга... Но против тебя была твоя слабость, склонность к ностальгии, сильная любовь к жене... Отбравшие и посылавшие тебя знали это... Но я тебе сообщу один секрет. За тебя тайно хлопотала твоя жена. Ее родной дядя, как ты знаешь, возглавлял комиссию... Успокойся! Она хлопотала не потому, что хотела расстаться с тобой, нет. Наоборот! Она ничего не хотела сильнее того, чтобы ты остался. Но она боролась со своей слабостью. И ты

тоже боролся и победил себя. Я это знаю. И это знали твои спутники. Но достоин ты уважения не за то, что победил себя.

Путешественник. А за что?

Робот. На самом деле ты не победил себя. И все-таки не остался, а отправился в путешествие. Отправился вместе со всеми своими слабостями. И они борются с тобой. Борются до сих пор. И это мучительно. Я знаю.

Путешественник. Откуда ты можешь это знать? Разве тебе приходилось страдать, любить, отчаиваться?

Робот. Я отвечу на этот вопрос как-нибудь в другой раз. Своим вопросом ты наступил мне на больное место.

Путешественник. Понимаю. Извини меня.

Робот. Я не из обидчивых. Ты это, наверное, заметил... Но вернемся к ней. К ней и, разумеется, к тебе. Вы жили в ожидании разлуки, которая неумолимо приближалась. А время пульсировало. Живое, лихорадочное анеидайское время... Особенно живое для вас — для нее и для тебя, ожидавших часа, когда космолет оторвется от планеты и вынесет тебя в бездонные и равнодушные пространства космоса. Не хмурься. Тебе не понравилось выражение «равнодушные»? А разве это выражение, которое мне пришло в голову сейчас и нечаянно, разве оно не точно передает существо дела? Ты имел возможность познакомиться с равнодушием и метафизической скукой пространства, которое физики любят называть страшным словом «вакуум»... Не везде вакуум, я понимаю, не везде и не во всем. Но все же это так... Ученые, употребляя свои термины и словечки, меньше всего думают о наших эмоциях и переживаниях... Итак, время пульсировало. Оно пульсировало в жизни и на часах, где непрерывно двигались часовые и минутные стрелки. Но там, в космолете, тебя ожидало другое время, не зависящее от солнца и звезд. Там были атомные часы, равнодушные и бесстрастные, как вакуум... Часы, на точность которых можно было положиться... Время в космосе не пульсирует. Оно течет сообразно скорости космического корабля. Закон относительности времени мог с тобой сыграть веселенькую шутку. Вернувшись домой далеко еще не стариком, ты мог бы увидеть глубоких старцев — твоих правнуков. Вы оба, ты и она, разумеется, больше она, шутили, касаясь этой двусмысленной темки... А на душе у тебя отнюдь не было весело, хотя ты это скрывал от всех и даже от самого себя.

Что делать, не все рождаются мужественными... Накануне путешествия ты провел весь день вместе с ней. В этот день ты как бы заново увидел свою родную планету. Она чуточку меньше этой, где мы сейчас. На ней нет ни таких гор, ни таких лесов. Сады... И луга... Растения растут везде, не только в почве, но и в воздухе и в воде. Наглядное напоминание об увлечении нашего общества агрофизикой. Все наши увлечения отражались на облике планеты... Но увлечение агрофизикой оказалось самым длительным. Даже среди твоих спутников оказался молодой агрофизик, девушка, взявшая с собой целую коллекцию растений, чтобы посадить их где-то в космосе... Эти растения не нуждались в почве и были приспособлены к жизни в чуждой среде, в среде, не защищенной озоновым экраном от губительных ультрафиолетовых излучений... Может, я ошибаюсь? Мои познания в агрофизике невелики по сравнению даже с твоими, хотя ты не агрофизик, а физиолог. Но, во-первых, агрофизику преподавала в школе твоя жена, тоже чуточку помешанная на этой удивительной науке. Во-вторых, девушка-агрофизик, твоя спутница по космическому путешествию, с увлечением рассказывала тебе о своих опытах с растениями, приученными обходиться без почвы. Парадоксальная и дерзкая наука. Растение без почвы — это все равно что путешественник без пространства или часы без времени. Однако это факт! Что только не способен победить человеческий энтузиазм! А эта девушка была полна энтузиазма... Она не бездействовала и в космолете, и только благодаря настойчивости начальника экспедиции ей не удалось превратить космолет в летящий в космосе ботанический сад. Вы много с ней говорили об агрофизике и новых идеях этой науки энтузиастов. Но вы, разумеется, говорили не только о растениях, растущих без почвы... О нет. Были и другие темы, еще более интересные...

П у т е ш е с т в е н н и к. Не говори пошлостей. Ты не для этого создан...

Р о б о т (гордо). Я создан, чтобы преодолеть себя, чтобы стать...

П у т е ш е с т в е н н и к. Наклонность к низменному и пошлomu и не дает тебе преодолеть себя, стать личностью, победить в себе машину.

Р о б о т. Оставим в стороне твои инсинуации и оскорбления. Я терпелив. И выдержан, тебе это известно. Но раз-

ве в пошлости есть нечто механическое, безличное? Разве личность не может быть пошляком? А пошляк — личностью?

Путешественник. Не может!

Робот. Ты, как всегда, слишком категоричен. Но оставим это... Мы говорили с тобой о ней, об этой девушке, транспортирующей растения в космос. И о тебе. В интимных делах, в делах не разума, а чувства, ты оказался дуалистом. Твое чувство в космолете раздвоилось между отсутствующей женой и присутствующей девушкой.

Путешественник. Я запрещаю тебе говорить об этом.

Робот. Слушаю-с... Так как будто говорят слуги в старинных пьесах и романах... Но запрещение не снимает дуализма... А я не слуга.

Путешественник. А кто ты?

Робот. Я? Не знаю. И никто не знает. Я искусственный мозг, пытающийся преодолеть искусственность. Обо мне еще рано говорить. Я еще весь в осуществлении. Поговорим лучше о тебе... Итак, время пульсировало. Ты простился с женой и друзьями и со своей планетой. Космолет, оторвавшись от гравитационного поля твоей планеты, летел в безвоздушном пространстве. Тебя охватило сильное чувство, знакомое только космонавтам. Мир уходил от тебя, отдалялся. Мир привычного и доступного чувствам. Мир твоего детства, юности и зрелости. Мир, в котором ты обрел свободу и познал необходимость. Мир, где осталось все, что ты знал и любил. Впереди и рядом с тобой была неизвестность. И бесконечность, что намного страшнее и неизвестнее неизвестности.

Путешественник. Но внутри меня и моих товарищей был тот же мир. Он отдалился только отчасти. Да и наш космолет был островом этого мира.

Робот. Красивые слова, пустые фразы. Либо я не понимаю, что такое отсутствие... Если ты понимаешь, объясни.

Путешественник. Отсутствие? Разве это надо объяснять? Чувства трудно поддаются объяснению. А ты создан...

Робот. Я создан... Я не создан, а создаю себя. Непрерывно создаю себя... Разве ты не замечаешь?

Путешественник. И ты, оказывается, нуждаешься в иллюзиях? В самообмане? Создавай себя сколько

тебе угодно. Но не искушай. Ты здесь не для того, — Р о б о т. А для чего же? Чтобы поддакивать тебе? Или восхищаться твоим мужеством? Эх ты! Путешественник без пространства. Ты здесь, а она там, между вами не маленькое расстояние. Ты здесь, и тебе отсюда не вырваться... А она ждет. Да, все-таки ждет тебя. Несмотря на все, ждет. И время измеряют уже не бесстрастные атомные часы. Время пульсирует. Живое нетерпеливое время.. Оно не только на твоих часах, оно в тебе, нетерпение... и бесконечность. Невыполнимое желание увидеть ее и свой мир, вернуться. Ты должен завидовать мне. У меня нет желаний... Я механизм. Да, пока механизм. А она ждет тебя...

П у т е ш е с т в е н н и к. Ну и что ж! Есть нечто сильнее разлуки, даже вечной разлуки. Это радость познания и выполненного долга. Я выполняю свой долг...

Робот замолчал. Спасибо ему и за это...

Шумел дождь. Он шумел давно, но ты не замечал его шума, занятый спором с механическим своим антиподом.

Дождь на этой планете шумел так же, как и на твоей. Миллиарды светлых капель падали на траву, на деревья и на песок. В воде возникали дождевые пузыри и лопались. Дождь шумел. Затем он прекратился. И над долиной уже встала радуга.

Путешественник вышел из жилища. Он шел по берегу реки, шел, рассеянно думая о том, о чем он думал здесь часто. Внезапно он остановился, весь охваченный сильным и тревожным чувством. Кусты зашевелились, и на протоптанной оленями тропе возникло человеческое существо. Это была девушка, одетая в оленьи шкуры. На ее низколобом, большеротом и все же миловидном лице появилось выражение испуга и сильного любопытства. Затем все исчезло — и выражение, и лицо, и девушка. Был только слышен шум неистово несущихся сильных и быстрых девичьих ног.

Потом опять наступила тишина.

9

Сидя в автобусе, Тамарцев думал все о том же.

«Что такое память? — думал он. — Это самый простой и самый сложный вопрос, который когда-либо люди зада-

вали себе. Что такое память? Знаменитый французский психолог Пьер Жане сказал, что память — это преодоление отсутствия... Мне нравятся слова Пьера Жане. В них скрывается глубокий смысл... У больного Рябчикова повреждена память, мнема. Рябчиков отсутствует. Он отсутствует для самого себя. Он не в состоянии осознать себя как личность... Собрать все части своего «я» в живое единство... В его сознании все распадается. Прошлое существует как бы само по себе. Оно не связано с настоящим. Бедный Рябчиков, как помочь тебе преодолеть отсутствие, соединить тебя с самим собой, с миром, с друзьями, с женой, а главное — с мигом, с мгновением, которое скользит мимо тебя?»

Автобус остановился возле больницы. Через десять минут Тмарцев был в палате, где лежал Рябчиков. Дежурная сестра принесла историю его болезни, сказала:

— У нас новенькая санитарка. — И усмехнулась тонкими, злыми губами старой девы.

Тмарцев взглянул на новенькую санитарку и удивленно сказал:

— Как? Это вы?

— Я, — ответила она.

— Но почему? Зачем? У вас же другая профессия. Вы где-то работали.

— Работала. И взяла расчет. Поступила работать сюда.

В светлых серых глазах настойчивость, печаль и что-то насмешливо-игривое...

— Не надо было это делать. Не надо.

— Почему, профессор, не надо?

— Надо думать не только о нем, но и о себе.

— А я и думаю о себе.

Тмарцев хмурится. Ему не нравится это. В этом есть что-то чрезмерное. У Рябчикова корсаковский синдром. Вряд ли ему скоро удастся выйти из своего затянувшегося отсутствия. Вряд ли. А что будет делать она? Вечно дежурить и ждать...

Она уже в курсе всех больничных дел. Она уже знает, сколько сахара в крови каждого больного. Ей придется ухаживать не только за своим мужем. В палате кроме него еще два десятка «отсутствующих», тех, у кого прошлое отделилось от настоящего и все невыразимо спуталось. Сколько терпения и выдержки требуется от врача, от сестер, от санитаров, чтобы помочь им обрести и мир, и лич-

ность, и всю радость, которую знают только здоровые, осознающие себя в единстве с самим собой.

Рябчиков спит. Голова бессильно покоится на тощей больничной подушке. Лицо, заросшее черной щетиной, у него отсутствующее, но не больше, чем когда Рябчиков бодрствует. Возможно, ему снятся сны. И в снах возвращается то, что он утерял, — личность.

Жена смотрит на мужа, на его осунувшееся лицо, на тощую, жесткую больничную подушку, потом смотрит на Тamarцева и говорит:

— Я бы принесла из дому. Но неудобно. Тогда надо принести всем другим. Да и не положено...

Потом она говорит так же тихо, почти шепчет:

— Воевал всю войну, дошел до самого Берлина, и ничего. А тут...

Тамарцев хмурится. Он уже слышал эту историю. Слышал много раз...

— Рябчикову надо, — говорит он ей на этот раз сухо, не как жене больного, а как санитарке, — побольше находиться на свежем воздухе. Побольше дышать кислородом.

В палате обычный больничный воздух, особый воздух, который бывает только в больницах. В нем есть что-то застывшее, неподвижное, словно и воздух уподобился пребывающим здесь. В нем нет перемены, нет времени. Он был таким же, этот воздух, и тридцать лет тому назад, когда Тамарцев, студент медицинского института, приходил сюда на стажировку. Ничто не изменилось. И кажется — больные те же самые. Ничего нет неподвижнее, чем этот недуг.

— Да, побольше дышать кислородом.

— Он не любит гулять.

— Надо, чтобы полюбил. Он надыхался окисью углерода. Значит, ему надо побольше кислорода... Побольше сидеть в саду, поменьше в этом душном помещении.

Рябчиков спит. На лице отсутствующее выражение, между губами пузырек слюны, как у ребенка. Интересно, каким он был до того, как заболел? Наверно, не таким унылым. Унылого она не полюбила бы. Тамарцеву всегда казалось загадочным это чувство. Ему было непонятно, за что женщины любят мужчин. Его не любили женщины. Не любили и жены. Ни та, первая, которая умерла,

ни вторая, что ушла от него к Арбузову. Арбузов однажды сказал, не скрывая своего превосходства:

— Женщины не ошибаются. Они чувствуют в мужчине истинную ценность. Если хочешь, в этом есть нечто необъяснимое... Они видят все даже сквозь оболочку. Их не обманешь! Они обладают даром прозрения...

Пошляк! Образованный, начитанный, интеллигентный пошляк.

Прозревают... И пусть прозревают. По-видимому, она тоже обладает этим даром...

Тамарцев бросает взгляд на жену Рябчикова. «Неужели,— думает он,— я завидую несчастному человеку? Он почти уже не человек, а его любят, по нему тоскуют, ему приносят в жертву себя. Тебе это знакомо только по книгам. Ты влюблялся не раз. Но в тебя не влюблялись. Тебе никто не приносил себя в жертву. Наоборот, тебе все ставили в вину. И занятия физиологией и психологией. И увлечение писательством. Ставили в вину и физическое недомогание. И умение помногу работать, и даже такой пустяк, как привычку громко храпеть во время сна...»

Тамарцев идет к другому больному. Его фамилия Иванов. Иван Иванович Иванов. У него, кажется, нет жены. Его никто не ждет. У Иванова полное отсутствие всякой связи с прошлым. Он ничего не помнит, словно только что родился. Его прошлое превратилось в ничто.

Чувство щемящей жалости охватывает Тамарцева. Он не разучился жалеть больных, несмотря на долгие годы работы в клинике. Профессия не убила в нем чувства. Когда-то, студентом-практикантом, он стыдился этого чувства, боялся его, он думал, что оно помешает ему стать хорошим врачом.

В четыре часа дня Тамарцев выходит из больницы. Рядом с ним жизнь. И дышится легко. Живой, подвижный и свежий воздух. Другой мир.

Ему нужно успеть в научно-исследовательский институт на конференцию, а автобуса не видно. Ждать пришлось долго, и он чуть не опоздал на доклад.

Бородин уже на трибуне, перебирает листки и прочищает горло. Солидное, чуточку обрюзглое лицо.

— Ум физиолога и психиатра,— сказал докладчик тихо, как бы размышляя вслух,— чем-то сродни уму инженера, конструктора космических приборов. Ведь человеческий мозг — это тоже своего рода космос, бесконеч-

ность, заключенная в черепную коробку. Человеческий мозг — это вершина эволюции земной биосферы и в какой-то мере итог. Впрочем, об итоге говорить еще рановато. Разве эволюция остановилась? Разве человек — вершина ее — не будет меняться и дальше по мере смены тысячелетий?..

Тамарцев, как всегда замирая от удовольствия, слушал этого человека. Он любил, мало того, обожал его и одновременно сердился на него. Он любил его за ум, за талант и сердился за его характер. Он был умен, как дьявол. За глаза его все называли Архиерейская Борода. А в глаза? Кто посмел бы ему это сказать? И вот сейчас в его насмешливых глазах циника и честолюбца светилась мысль, сильная и дерзкая мысль, способная проникнуть в самую суть любой, самой сложной проблемы...

И за эту мощь и силу его мысли Тамарцев почти готов был ему простить все неприятности, которые тот ему причинил.

Мозг! Да, действительно, это космос, духовная бесконечность, интеллектуальная вселенная, заключенная в черепную коробку. Этот бородатый циник ничего на свете не уважает, ничему не поклоняется, кроме человеческого мозга. Но он уважает мозг вообще, мозг как инструмент познания, созданный эволюцией и историей, но не мозг в частности, не мозг отдельного человека.

Мастерство великолепного экспериментатора и ум выдающегося теоретика он совмещал со склонностью к сомнительным поступкам. В свое время он организовал письмо в газету, подписанное сотрудниками его лаборатории, против научно-фантастического романа, написанного Тамарцевым. Его мало интересовал роман и научная фантастика, но ему хотелось подставить ножку Тамарцеву как физиологу, имевшему свои взгляды, отстаивавшему их и не согласному со взглядами Архиерейской Бороды.

Сейчас он был занят двумя проблемами: созданием «искусственного мозга» и попыткой свалить директора института — человека непокладистого, упрямого, независимого, не хотевшего плясать под дудку Бородина. Обе проблемы занимали его почти в одинаковой степени. Но когда он стоял на трибуне, все забывали, что он честолюбец. Забывали и его друзья (их было мало), и его враги (их было много), забывали седые члены-корреспонденты и молоденькие аспирантки и лаборантки. И вероятно, он

сам забывал. Он забывал обо всем — о заявлении на директора, только что посланном в Президиум Академии наук, о беспринципных переговорах с двумя бездарными и неумными профессорами, недовольными директором за то, что директор недоволен ими. Он забывал обо всем, кроме человеческого мозга — феномена из феноменов, удивительного инструмента, охватывающего универсум, проникающего в суть бытия... Сходя с трибуны или выходя из своей лаборатории, он снова становился самим собой.

10

Обедала семья Богатыревых (и старшие и младшие) в один и тот же час. Так было заведено.

Но самый младший — Радик — частенько запаздывал, задерживался в лаборатории. Мать его за это не упрекала. Он был ее любимцем. Это она, когда переехали в только что выстроенный дом на улице Решетникова, выделила для Радика самую светлую, уютную, теплую комнату, ущемив интересы других членов семьи. Это она поставила в его комнату новый диван, оберегала сон Радика, а еще пуще — его бодрствование, запрещала музыку, пение и чересчур громкий смех, следила за тем, чтобы не мешали Радика заниматься.

А Радик занимался бы, если даже в соседней комнате гремел бы духовой оркестр. Ничто не могло помешать Радика работать, даже землетрясение.

В семье вся ее мужская половина интересовалась международной политикой и спортом. Здесь знали, какая футбольная команда осрамилась и был ли пристрастен судья. Здесь были осведомлены, с кем встречался на этой неделе генерал де Голль и с кем и о чем беседовал премьер Индии Джавахарлал Неру. Но наука в этот дом пришла недавно, пришла неуверенно, как малознакомая и слишком деликатная гостья, пришла, задержалась и из гостьи вдруг превратилась в члена семьи.

Пришлось потесниться спорту и даже международной политике. В лексикон рабочей семьи стали понемножку проникать непривычные слова: «эксперимент», «условный рефлекс», «ассистентка», «коллоквиум»... Иногда к обеденному столу приставляли еще один стол, принесенный из

кухни. Это означало, что кроме членов семьи на вечерний чай остались приятели Радика — аспиранты и аспирантки.

Иван Степанович сразу же надевал очки и раскрывал «Труд». Но смысл статей и заметок терялся в громком смехе, в суете, в непринужденном веселье, и широкий газетный лист не в состоянии был спрятать Ивана Степановича от того незнакомого, странного, сложного и заманчиво-любопытного, что несла в семью эта молодежь.

Иван Степанович любил мир, который его окружал. В значительной мере этот мир был создан его собственными руками и руками его современников и друзей. Он любил свой завод. Все, что его окружало, было привычным, обыденным и в то же время вечно обновляющимся. Обновление в мир вносила работа, увлечение делом.

Эта молодежь тоже работала с увлечением, отдавая себя без остатка своему делу. Вот этот худенький и очень интеллигентный Миша занимался радицитологией, что-то там облучал, кажется клетку, и однажды по неосторожности облучил палец. Другой, что сидит рядом с Мишей, низенький и коренастый Новиков, в узких брюках, с усиками, по внешности пижон, стилига, а на самом деле очень серьезный паренек, изучил пять языков, работает в лаборатории у профессора Тамарцева, ищет лекарство от болезни, считающейся неизлечимой, и не раз, как рассказывал Радик, пробовал всякие препараты на себе, не думая о вреде для своего пока еще крепкого организма. Третий — его не усадишь, всегда суетится, он родом с Кавказа, — жестикулируя, рассказывает о ракетах, кометах, спутниках и других мирах, словно он уже там побывал. Бесстрашный парень. Огонь! Про него Радик как-то сказал домашним, что если кто и полетит в ближайшие годы на Луну, то, конечно, Кегян. Без Кегяна там не обойдется...

Иван Степанович усмехался. Он мог легко представить себе Кегяна и на Луне. А вот Луну, какая она не на привычном расстоянии, а вблизи, — это представить себе было уже гораздо труднее...

В поздний час приятели Радика расходились. Семья укладывалась спать. Возвращался стол на свое место на кухне. И вот все спали. Все, кроме ворочающейся в своей кровати Прасковьи Афанасьевны и Радика, сидящего за письменным столом.



ПАМЯТЬ



о ночам философ писал. Он писал о том, что освоение космоса не принесет человечеству всеми ожидаемого счастья, что этому противится естество человека и бог, и что не случайно фугасная бомба разрушила палатку и уничтожила «астроархеологическую» находку советского ученого Ветрова: это само провидение не захотело человеческого общения с тем, с чем общаться противопоказано.

Он писал о том, как познание постепенно разрушает мир и логика насилует чувство.

Недавно на публичной лекции в Сорбонне он получил записку:

«Мсье Арапов, ответьте, пожалуйста, существует ли ничто? Полное, абсолютное небытие? И как из ничто могло появиться нечто?»

Записка была без подписи.

Он посмотрел в зал. Кто послал записку? Вон тот плешивый старец с седыми отвисшими усами, самодовольный неудачник, однако все же сумевший дожить до восьмидесяти лет, или вот эта миловидная девушка со смеющимися глазами?

Он подумал (его мысль была, как всегда, быстрой и острой), он подумал не без иронии к самому себе, что и ответ должен зависеть от того, кому принадлежит вопрос. Но он не знает, кто задал вопрос. Кому отвечать? Девушке или старцу? И поэтому он был вынужден ответить им обоим, как будто этот плешивый вислоусый старец и миловидная девушка составляли одно целое, этакий химерический симбиоз. Он не мог отвечать абстракции, массе; некоему безличному коллективу. Это противоречило бы его экзистенциалистским принципам.

— Между ничто, — сказал он уверенно, — и нечто нельзя перебросить логический мост. Между ними пропасть. А над этой пропастью, держась за ниточку, висит

человеческая личность. Она и нечто и ничто. Наше бытие — это ниточка.

После лекции к нему подошел человек средних лет с лицом рабочего.

— Мсье Арапов, это я задал вам вопрос. И я не удовлетворен вашим ответом.

Арапов с интересом посмотрел на него.

— Ваша профессия?

— Шофер.

— Вы, наверно, член профсоюза?

— Да. Но при чем здесь профсоюз?

— Члену профсоюза не подобает задавать такие вопросы. Зная ваши мысли, ни один пассажир не доверит вам свою жизнь и безопасность. Шофер не имеет права быть солипсистом.

Шофер не имеет права быть солипсистом. Он может разбить машину. А он, философ Николай Арапов, имеет право? Все личностно на этом свете и все химерично, и напрасно радуются люди, думая, что дважды два — четыре. Дважды два давно уже не четыре!

По ночам Арапов писал. Он писал и днем, ночей не хватало. Эпиграфом к своей статье Арапов взял слова датского философа Серена Къёркегора:

«Чего достигают эти лихорадочные дельцы? Разве с ними не то же, что с той женщиной, которая во время пожара в доме, в замешательстве, спасла щипцы? Что же больше они смогут спасти среди великого пожара жизни?»

Жизнь, рассуждал Арапов, похожа на пожар. Бытие, догорающее и отбрасывающее свою зловещую тень на наше сознание, — вот удел современного человека. В замешательстве мы хватаемся за щипцы, чтобы спасти хоть что-то.



Слово «мы» избавляет его, Арапова, от необходимости говорить о себе. О нем и без того много говорят и пишут. Журналисты чрезвычайно подробно рассказывают о его детстве, проведенном в Сибири, о его отце и матери, бежавших вместе с отступающими кашпелевцами в Маньчжурию. Они описывали его работу санитаром в лионском доме для душевнобольных, его занятия у Эдмунда Гуссерля в Германии и у Анри Бергсона в Париже, его встречи с Бердяевым и Шестовым. Но он благодарен журналистам за то, что в самые критические для него годы они не слишком назойливо лезли в его душу и не описывали, в какое замешательство он впал, когда начался не метафизический, а настоящий пожар и когда войска Третьего рейха заняли Париж.

Он потерял жену во время этого пожара, потерял дорогую Жермену, а что он вынес из горящего дома? Свою концепцию. Стоит ли брать эпиграфом к книге слова Серена Кьеркегора? Ведь концепция, с которой он, Николай Арапов, выбежал из горящего дома, — не щипцы, схваченные в замешательстве. В сущности, стореело все, что он любил и чем жил, все — за исключением мыслей, которыми он собирался поделиться с читателями.

Сотрудники гестапо, пришедшие на квартиру Арапова, были предупредительны и любезны. Нет, нет! Они относятся с глубоким уважением к мсье Арапову, видному европейскому мыслителю, но что касается его супруги, они очень сожалеют: имперский расовый закон распространяется и на оккупированные страны. А закон есть закон. Он обязателен для всех.

Тот день, тот час, то мгновение, когда гестаповцы увели Жермену, запомнились Арапову на всю жизнь. Во взгляде Жермены, в ее больших черных глазах отразилась скорбь и нечто другое, что было бесконечно сильнее скорби. В глазах жены была доброга и жалость, словно не ее вели на смерть, а Николая Арапова, оставшегося дома, среди непотревоженных вещей.

Мгновение растянулось на десятки лет. Где бы ни был Арапов, что бы он ни делал, но как только мысль переносила его в ситуацию, пережитую в 1941 году, перед ним возникал образ жены — такой, какою она была в то мгновение.

Трагизм этой ситуации был безысходен и ни с чем не сравним. И мысль Николая Арапова, часто возвращавшаяся к этой исходной ситуации, не искала причин и не останавливалась на следствиях, она пыталась утвердить эту ситуацию как нечто открывающее трагическую сущность жизни, как нечто заданное самим человеческим существованием, словно не гестаповцы увели Жермену, а сама судьба, та слепая сила, которую воспевали древнегреческие трагики.

Он не догадывался о том, какой, в сущности, эгоизм скрывался за этой скорбью, за этими сильными переживаниями, перенесенными затем на бумагу и реализованными в многочисленных статьях и книгах. Ему, казалось, было неясно самое главное: что Жермена существовала сама по себе, пока ее не увели гестаповцы, и вовсе не была чем-то только отраженным в его сознании и посланным ему для того, чтобы он мог раскрыть безысходно трагический смысл жизни.

Нельзя сказать, чтобы он был оторван от реальности. Сразу же после того, как увели его жену, он покинул Париж, участвовал в Сопротивлении. Но реальность была для него проблематичной, потому что личность — как он считал, всякая личность, в том числе и его личность, — располагала только наличным временем, и вечность всегда повертывалась к ней текущим мгновением, и безвременное бытие спешило разменять свое безличное богатство на мелкую монету мгновений и минут. Все как бы ускользало, играя в странную игру всех с каждым и каждого со всеми. Не существовало, казалось, ничего устойчивого ни внутри, ни вне. И даже наука, по его мнению, не в состоянии была расколдовать заколдованное бытие, понять непрерывный бег явлений и вещей. Планеты обегали Солнце, а Солнце, в свою очередь, спешило обегать вокруг центра Галактики, и галактический год уже измерялся не месяцами, а сотнями миллионов лет, перед которыми все существование человечества кажется жизнью бьющейся о стекло бабочки.

Его мысли, щедро оплаченные издательствами, нравились одним, вызывали возражения других, газеты почти ежедневно упоминали его имя, общая любознательным читателям и читательницам, в каком ресторане его можно чаще увидеть, какого цвета галстук он носит, что он делает до завтрака и после обеда. На целый месяц было

приковано к нему внимание любителей и любительниц сенсаций. Появилась статья лионского психиатра, обвинившего нашего философа в том, что свою концепцию времени он украл у одного больного-шизофреника, когда работал санитаром-надзирателем в лионской клинике для невротиков.

Все ожидали, что философ привлечет психиатра к ответственности за диффамацию, станет протестовать, но Арапов, к удивлению своих поклонников и поклонниц, заявил, что он, действительно, свое понимание времени заимствовал у больного амнезией, с которым познакомился в лионской клинике. Больной воспринимал время более эмоционально и обостренно, чем нормальные люди, и поэтому был в состоянии постичь сущность того, что ускользает от обыденного познания.

2

Из записной книжки С. С. Ветрова

«...Когда-то я занимался изучением первобытной техники. Опубликовал несколько статей о каменной индустрии нижнего и среднего палеолита. На эти статьи до сих пор с уважением ссылаются и специалисты. Они считают меня своим коллегой. Они думают, что меня, так же как и их, больше всего на свете интересуют шелльские и апельские рубила. И пусть думают. Меня интересуют сейчас не шелльские рубила, а техника будущего, та техника, которой пользовался проблематичный гость.

Этот гость, череп которого я однажды держал в руках, о чем свидетельствовал снимок, приводящий в негодование профессора Апугина и его единомышленников, этот парадоксальный гость, неизвестно как и откуда явившийся на Землю в раннемустьерское время, наконец-то обрел реальные черты и поселился в сознании многочисленных читателей журнала «Мир приключений». Детский писатель, придумавший себе странный псевдоним «Виктор Марсианин», опубликовал серию статей и рассказов о космическом госте. Писатель отпустил вожжи фантазии, и она понесла его совсем в другую сторону от того, что случилось сто тысяч лет тому назад в промежутке между

двумя ледниковыми периодами — Рисс и Вюрм. Виктор Марсианин, не спросив моего разрешения, воспроизвел принадлежащий мне снимок, очевидно желая придать документальность своим фантазиям. Этот снимок до сих пор хранится в нижнем ящике моего письменного стола. Я пытался его пристроить в более надежное хранилище, но бывший ученик Апугина, ныне хранитель редкостей, не удержался и сделал язвительное замечание:

— Для подобных уникамов нужно бы создать особое хранилище. Музей... — он сделал паузу, подыскивая подходящее и не очень грубое выражение.

— Подделок, — подсказал я ему.

На его интеллигентном лице появилась подлая усмешка. И он кивнул своей острой, похожей на мустьерское рубило головой.

Уходя, я не хлопнул дверью, хотя мне очень хотелось. Археологи хлопают дверями только в очерках Виктора Марсианина. Виктору Марсианину невдомек, что их профессиональные навыки запрещают им вести себя слишком буйно, учитывая то немаловажное обстоятельство, что они имеют дело с уникальными, а иногда и очень хрупкими вещами, которые сберегло время.

Снимок, хранящийся в нижнем ящике моего письменного стола, тоже уникален. За все существование археологической науки только однажды удалось обнаружить в земле нечто совсем не земное, но однако же человеческое. Не земное, но человеческое? Разве человеческое может быть не земным? Но однако же череп, который я держал однажды, от земного человеческого черепа отличается только величиной. Правда, это отличие скрывает за собой многое.

Виктор Марсианин изобразил космического гостя лихим красавцем, таким бонвиваном, не подозревая о том, что с точки зрения земного человечества, и древнего и современного, едва ли его можно счесть за красавца, его, обладателя непомерно огромной головы и, вероятно, скромных размеров туловища.

Пожалуй, я слишком много в этих записках уделяю внимания детскому писателю. Ведь я начал эти записки, чтобы помочь себе самому уяснить нечто важное и отнюдь не простое, чтобы взглянуть как бы со стороны на себя и свою работу. За все существование человечества еще никогда «работой» не называлось то удивительное дело,

которым я занимаюсь с тех пор, как кончилась Великая Отечественная война.

Чем, собственно, я занимаюсь? Веду раскопки. С этой стороны все обстоит благополучно. И у меня не было никаких недоразумений и конфликтов ни с администрацией института, ни с главным бухгалтером, вполне удовлетворенным теми финансовыми отчетами, которые я представляю ему после каждой экспедиции. Главбуха мало интересует, какие цели я себе ставлю, производя ежегодно раскопки. Дирекцию института, разумеется, это интересует. Но ведь ни разу ни я, ни мои помощники не приезжали с пустыми руками. На выставочных столах не малое место занимали и занимают предметы материальной культуры разных эпох, найденные мною. Они — увы! — не имеют никакого отношения к той цели, которую я себе ставил, они свидетельствуют, правда, о моем усердии, энергии и трудолюбии моих помощников. Они прибавляют нечто существенное к тому, что делали все археологи, русские и зарубежные, в продолжение многих лет с того времени, как Буше де Перту посчастливилось найти первые каменные рубила и первому догадаться, что это не просто куски камня, а орудия человеческой мысли и человеческих рук. Буше де Перт и все его последователи искали в земле следы прошлого, а я ищу то, что скорее подведомственно астроному, чем археологу. Да, астроному или — еще лучше — представителю какой-нибудь новой науки, занимающейся космосом. Такие науки рождаются на наших глазах. Астрофизика. Астроботаника. Астрогеология. Я чуть не сказал — астроархеология, но, в сущности, это так и есть. Я первый астроархеолог. Ведь череп принадлежал не земному, а космическому существу. И сам факт находки черепа выходит за пределы земной истории и археологии и дает начало археологии космической.

Недавно в Географическом обществе состоялась конференция представителей новой, только что рождающейся науки — астрогеологии.

Писатель Виктор Марсианин поместил в детском журнале очерк об этой конференции. Он писал о новой науке и восторженно и туманно. И, читая его статью, можно было подумать, что на днях отправится геологическая партия в район Сатурна или Венеры.

Но астрогеология была так же далека от Венеры, как астроботаника — от Марса. И далека и близка. Далека

потому, что люди делали свои выводы, стоя на Земле, близка потому, что приборы — продолжения человеческих чувств — уже были в космосе.

Председательствующий, открывая заседание, напомнил присутствующим о работах двух великих русских ученых — Вернадского и Циолковского. Он сказал:

— Вернадскому страстно хотелось взглянуть на Землю со стороны, чтобы охватить ее в целом, понять ее неповторимое своеобразие. У Циолковского тоже было необыкновенное видение мира. Он смотрел на Землю и на современность как бы из будущего.

Сильное волнение охватило меня... Смотреть на Землю и на современность как бы из будущего. Такого рода видение обрел бы на Земле каждый человек, если бы мне удалось... Но мне пока не удалось, не удавалось много лет. И неизвестно, когда удастся.

В военные зимы я рассказывал своим товарищам-партизанам об этой археологической находке. Тогда еще никто не помышлял о полетах в космос, кроме немногочисленных учеников Циолковского, и, хотя тогда было не до космических полетов, партизаны слушали меня с напряженным интересом. Они мне верили, гораздо больше верили, чем верят мои коллеги-ученые. Они не требовали от меня ни свидетелей, ни свидетельств.

Свидетельств у меня до сих пор никаких нет, кроме упоминавшейся много раз фотографии. Свидетель недавно нашелся. Я ходил к нему в больницу вместе с Тамарцевым. Но встреча не принесла мне ничего, кроме разочарования.

На кровати сидел человек с отсутствующим выражением лица. Живой человек, которого среди нас не было! Его отсутствие было полным и абсолютным. И это почувствовалось еще острее, когда он стал отвечать на вопросы Тамарцева. Казалось, память его отделилась от его личности и существовала сама по себе. Что-то механическое и неподвижное было и в его голосе, и в том, что он говорил. Он действительно видел найденный мною череп. И я смутно припомнил красноармейца в вылинявшей гимнастерке, спросившего меня тогда:

- Ого! У кого была такая большущая голова?
- У космического гостя, — ответил я ему,
- А откуда он прибыл, этот мыслитель?

— Об этом не у кого пока спросить,— ответил я.— Череп, как видишь, придерживается поговорки: «Молчание — золото»...

С точностью фонографа он автоматическим голосом неподвижно воспроизвел свои и мои слова, сказанные девятнадцать лет назад, словно прошлое жило не в нем, а существовало записанное на пленку.

И все же даже эти мертвые слова на короткое мгновение обрадовали меня. Я смотрел на этого человека так, будто он мне вернул утраченное, подарил мне то, что исчезло безвозвратно.

Он припомнил еще несколько подробностей, но уже не имевших прямого отношения к моей находке,— холмистую местность, где моя археологическая партия оказалась по соседству с его воинской частью, о том, что было очень жарко и пыльно и поминутно хотелось пить.

Потом мы распрощались. Я протянул ему руку, он вяло пожал ее. И даже в пожатии чувствовалось его отсутствие.

Выйдя из палаты, я обратил внимание на ширину лестниц и на то, что в каждом пролете внизу висела сетка на тот случай, если кому-нибудь взбрело бы в голову броситься с лестницы вниз.

Мне стало грустно, словно жизнь снова отобрала от меня то, что вернули воспоминания Рябчикова.

— Как думаешь,— спросил я Тamarцева,— скоро он поправится?

— Боюсь, что он неизлечим».

3

Из записной книжки

«...Никому из людей еще пока не удалось взглянуть на Землю со стороны, из далей космоса. А ведь только со стороны и издали нам открылось бы нечто новое и удивительное, мы увидели бы Землю, отдалившуюся от нас и все равно связанную с нами, куда бы ни унесла нас закованная в металл и пластмассу мысль.

Если назвать Землю домом, то о человеке придется сказать грустные слова — он никогда еще не выходил

из своего дома, не открывал настежь дверь, чтобы шагнуть в неизвестность, называемую космосом.

Если отчетливо не представить себе это, то невозможно понять научный и человеческий подвиг Циолковского и его учеников, отдавших всю свою мысль и всю энергию для того, чтобы человечество могло наконец распахнуть эту никогда не открывающуюся дверь и шагнуть в неизведанное, в бездонное — в космос.

Но как должно измениться человеческое познание, когда человек впервые выйдет из своего дома! Вокруг него будет огромный мир, просторный до бесконечности...

На днях я заполнял удивительную анкету. Вот вопросы, на которые я должен был ответить.

Какие проблемы будущего вас интересуют?

Я интересуюсь многим, и на анкете не хватило свободного места, чтобы ответить на этот вопрос. Мне пришлось подклеивать лист. И, отвечая подробно на этот вопрос, я чувствовал себя, словно заглянул в будущее.

Другой вопрос, уже более конкретный:

Чем вы намерены заниматься, вступая в секцию?

Я долго не решался ответить. Потом написал — астроархеологией. Я ведь предупреждал председателя вновь созданной секции Географического общества, что я не географ, не геолог, не геоморфолог, не геофизик и не астроном, а археолог, которому...

Он прервал меня.

— Знаю, но вы не обычный археолог. И ваша археологическая находка больше сродни астрономии, чем истории. Мы очень рады, что вы хотите вступить в нашу секцию. И мы хотим, чтобы в конце будущего месяца вы сделали доклад...

— О чем?

— О вашей археологической находке.

В голосе старого профессора, ученика и друга великого Вернадского, чувствовалось искреннее участие и человеческая теплота.

— Но вы же знаете об отрицательном отношении к ней Апугина?

— А какое нам дело до вашего Апугина? Пусть себе отрицает сколько хочет.

Старый профессор улыбнулся:

— Он ведь отрицает не из любви к истине. А такого рода отрицание не много стоит,

Я дал согласие и вышел из библиотеки, где мы разговаривали со старым профессором. Над широкой лестницей Географического общества висели портреты великих географов и путешественников. И я подумал, что там не хватает портретов Вернадского и Циолковского, хотя они и не были географами. Иной становится география Земли в наши дни. И человеческая мысль пытается увидеть Землю со стороны, из космоса, и заново понять ее географию, и заново оценить ее поверхность и ее глубины.

Я шел сначала по переулку, потом свернул на узкую улицу Плеханова и вышел на Невский проспект.

На Невском было многолюдно, особенно на солнечной стороне. Одни пешеходы шли быстро. Другие медленно прогуливались, замечая все, что можно было заметить в весенний теплый и безоблачный день. На молодых лицах этих прогуливающихся пешеходов было счастливое и наивное выражение, выражение, какое бывает у людей, которые не думают ни о прошлом, ни о будущем. Я смотрел на этих пешеходов, на их смеющиеся или улыбающиеся лица и думал: вы еще не знаете о том, что скоро распахнется дверь и рядом с каждым из вас окажется бездонная бесконечность космоса, как неизвестное водное пространство перед Колумбом, отправившимся в опасное и счастливое свое плавание. Тогда каждый из вас поспежит забыть о своих неотложных делах, поспежит выйти из обыденной беззаботности текущего мгновения для встречи с будущим, тревожащим сердце своей прекрасной неизвестностью. Счастлив будет тот, кому суждено взглянуть на свой дом с космического корабля, увидеть Землю со стороны, как мысленно видели ее Циолковский и Вернадский.

Мне захотелось есть, и я зашел в столовую для торопящихся, хотя никуда не спешил. Держа поднос, я подошел к буфетчице, и она поставила туда тарелку с макаронами, стакан с горячим кофе и положила ватрушку, и я расплатился в кассе и, стоя как и все, начал есть.

У соседнего столика, тоже стоя, насыщался детский писатель Виктор Марсанин.

— Здравствуйте,— кивнул он мне.— Что нового?

— Все ново,— ответил я.— Во всяком случае, для меня. Все ново и интересно на этом свете,

— Что-то не замечаю.

— Напрасно.

Он широко раскрыл безусый и наивный рот человека, отрочество которого затянулось до сорока пяти лет, положил туда сардельку, густо смазанную горчицей, и, сморщившись, спросил:

— А что хорошего у вас лично? Как раскопки? Ничего нового в смысле подтверждения вашей знаменитой находки?

— Ничего.

— А жаль. И меня вы ставите в неловкое положение. Я опубликовал несколько статей. Читатели присылают мне сердитые письма. Требуют фактов...

— Не читатели,— сказал я,— а всего-навсего один и тот же читатель.

— Откуда вы знаете?

— Догадываюсь. Это пишет все тот же Апугин, скрывшись за разными фамилиями.

Виктор Марсианин рассмеялся.

— Действительно письма похожи одно на другое. Ну пока!

Он помахал мне рукой сорокапятилетнего школьника и, дожевывая сардельку, вышел. Затем он вернулся, очень быстро шагая, словно что-то забыл. Он действительно забыл портфель, набитый книгами и поставленный на полу возле ножки столика. Подняв портфель, он подошел ко мне и, сделав озабоченное лицо, сказал:

— А вам все-таки следовало бы поторопиться.

— С чем поторопиться?

— Ну, с этими фактами. Нельзя затягивать. Годы идут.

— Да, годы идут.

Потом выражение его лица резко изменилось, показался золотой зуб, а затем появилась улыбка, такая же счастливая и сверкающая, как золотой зуб.

Я вспомнил, кто-то мне рассказывал недавно, что Виктор Марсианин, прежде чем стать детским писателем, долго работал в эстраде и выступал на детских праздниках с приклеенной бородой, играя одну и ту же роль дедамороза.

Когда я оглянулся, детского писателя уже не было. Марсианин исчез.

Дома мне открыла дверь моя мать, самое земное из всех земных существ, с насмешливой улыбкой на недоверчивом лице.

— Ну что там у твоих астрогеологов? Какие полезные ископаемые они открыли в космической пустоте?

Я поспешил уйти в кабинет. И сразу сел за работу.

Нелегкая стояла передо мной задача — делать доклад о необыкновенной археологической находке, сразу же уничтоженной взрывной волной фугасной бомбы и запечатленной на единственном фотографическом снимке, почти у всех специалистов вызывающем сомнения в его подлинности.

Уже первая фраза показалась мне нескромной. Я перечеркнул ее. Но что делать! Находка действительно была слишком необыкновенной, чтобы сознание специалистов могло примириться с ее существованием. Против меня были не только специалисты, но и «здравый смысл». И вот я решил начать свой будущий доклад с характеристики «здрового смысла». «Здравый смысл» еще со времен Джордано Бруно и Галилея оказался не в ладах с передовой наукой. Это он, «здравый смысл», возражал против теории относительности и квантовой механики, против теории вероятности, против кибернетики, против всего, что приводит в недоумение слепую, обленившуюся, примирившуюся с привычным мысль.

Почти до утра я стучал на пишущей машинке, ища все новые и новые улики против здравого смысла.

Но, как выяснилось на другой же день, «здравый смысл» с не меньшей энергией искал улики против меня.

Я уснул в четыре часа утра. Мать разбудила меня, громко постучав в дверь.

— Так ты проспишь, — сказала она, — все на свете...

Я больше всего на свете не люблю спешки и суеты.

— Успею, — сказал я и стал одеваться. Я действительно опаздывал. Но не хотел показать это матери. Побрился. Не спеша съел завтрак. Но, выйдя из дому, я побежал к трамвайной остановке, как мальчишка. В Университете меня уже ждали студенты, похудевшие от зубрежки и страха. Я долго экзаменовал их, потом отпустил, сделал вид, что вполне удовлетворен их ответами. Они думали, как думал учебник, говорили на языке учебника и верили, считали, что идеалом человеческого мышления является содержание учебника — сухое, точное и безразличное ко всему на свете, кроме предмета, о котором шла речь.

Я не стал их разубеждать. Это выглядело бы непедагогично. «Опять здравый смысл», — подумал я.

Придя в Институт истории материальной культуры, я спустился в подвал, где хранились предметы, привезенные мною из экспедиции. Кремневые наконечники стрел, каменные рубила, кости животных, тщательно пронумерованные. Пронумерованное, завернутое в бумагу время. Время, подавшее в учебник и уже вызубренное студентами, отвечавшими сегодня мне на экзамене. Мне вспомнились тихие, неуверенные голоса студентов, слепые фразы, лица, глядевшие на меня и желавшие только одного — скорее получить отметку. Разве для того по колено в грязи я и мои помощники рылись в земле? Когда-нибудь и о той необыкновенной находке преступно скучными и равнодушными словами учебника будут отвечать экзаменующиеся студенты.

Были слышны чьи-то шаги. Кто-то спускался по лестнице.

— Сергей! Ты здесь?

Я узнал голос секретаря партийной организации Снежинцева.

— Здесь.

Лицо Снежинцева было смущенным.

— Ну, что нового?

— Ничего. Делаю доклад в Географическом обществе о космическом путешественнике.

— А когда?

— Скоро.

— Вот что я хочу тебе сказать... Апугин принес разгромную статью. Мы ее не хотим печатать. Он собирается жаловаться. Какой-то французский философ с русской фамилией, по-видимому из эмигрантов, выступил с новой реакционной концепцией философии истории.

— Но при чем здесь я и мой доклад?

Снежинцев улыбнулся.

— Я тоже считаю, что ты ни при чем. Но Апугин придерживается другого мнения. Он тебя считает ответственным за эту реакционную концепцию. Дело в том, что этот философ опирается на твою находку.

— Ты не помнишь его фамилию?

— Кажется, вспомнил: не то Арапов, не то Агапов. Кажется, Агапов. Нет, Арапов!»

Бородин ходил по институту, пряча в густых пушистых усах улыбку.

Дело подвигалось. И не так уж далек был тот день, когда новый аппарат, создание его рук и его ума, должен был заявить о себе и показать всем, что и невозможное стало возможным.

В лаборатории, действительно самой лучшей в городе, ежедневно толпились посетители и гости — журналисты, писатели, научные сотрудники других институтов и учреждений. Бородин был не только талантливым физиологом, но и крупным математиком, незаурядным техником и блестящим организатором.

Гостей приводили в восторг приборы, созданные им, действительно свидетельствующие о большой технической изобретательности заведующего кибернетической лабораторией, но еще больше изумляло их остроумие, глубина и свежесть научных идей Бородина, его энтузиазм, чуточку приперченный скепсисом и иронией по отношению к самому себе, и к своим идеям, и к самой науке.

Сочетание энтузиазма с иронией и скепсисом было неожиданно и непривычно. Борода как бы верил себе и не верил, а это еще больше заставляло верить в него и его идеи и замыслы.

— Не беспокойтесь, — говорил он посетителям, показывая свою лабораторию. — Мы еще не создали искусственного Спинозу, а тем более Гегеля. Да и не собираемся их создавать. Зачем? Нужен аппарат, способный к решению все же не таких уж простых задач, логический виртуоз, механический математик, удивляющий профанов своей сообразительностью.

Он шутил. А в его умных, иронически-насмешливых глазах поблескивала мысль, готовая увидеть нечто новое в далях науки и бытия.

Он был почти постоянно в хорошем настроении. И все его помощники и помощницы, люди по большей части молодые и здоровые, тоже поражали всех своей веселостью и кажущейся беззаботностью. Впрочем, уместно ли говорить о беззаботности, имея в виду лабораторию, где создавался сложнейший аппарат, логический механизм, автомат для утилитарного мышления?..

Сегодня в лаборатории было особенно шумно от посетителей и гостей. Но вот все ушли, остался один Виктор Марсианин. Детский писатель уже исписал быстрыми значками (он знал стенографию) толстый блокнот, но все еще продолжал задавать вопросы. Ученый, с его красивой, пушистой, тщательно вымытой сначала в воде, а потом в одеколоне бородой, казался Марсианину библейским богом, беззаботным, остроумным и грозным богом, способным из ничего создать все.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Марсианин, — а чем будут заниматься люди, когда весь физический и утилитарно-умственный труд возьмут на себя кибернетические машины и роботы?

Бородин улыбнулся.

— Будут коллекционировать почтовые марки или стоять в очереди у киоска за «Миром приключений», ожидая очередной ваш научно-фантастический рассказ.

— Вы шутите, а я спрашиваю вас всерьез.

Бородин рассердился — или сделал вид, что рассердился.

— Какого черта вы задаете мне праздные вопросы? Что я вам, гадалка, чтобы на них отвечать? Мое дело — создать аппарат. А если он заменит вас и у вас окажется больше свободного времени, чем вам хочется, это не моя забота. Кстати, у вас и так много свободного времени. Вам не пора идти?

— Меня заменить не легко, — сказал Виктор Марсианин обиженным тоном.

— Я думаю.

Бородин с нетерпением ждал, когда наконец детский писатель уйдет. Скоро должен прийти фельетонист Глеб Морской. Морской, желчный и умный, не переносил Марсианина. В прошлый раз фельетонист из-за него ушел из лаборатории.

Между Бородиным и Морским установилось что-то вроде дружбы. Глеб Морской влюблялся во всех умных и талантливых людей, которых ему приходилось защищать в своих фельетонах от рутинеров, бюрократов, склочников, завистников и чиновников-карьеристов. Вот уже полгода как разгорелся его страстный профессионально-журналистский интерес к Архиерейской Бороде. Морского еще больше других изумлял ум ученого, его обширные, энциклопедические знания, его руки, руки бога-эксперимен-

татора, легкие и мудрые, казалось вобравшие в себя весь опыт человечества.

Донеслись быстрые шаги Глеба Морского.

— Здравствуйте,— помахал лупой Бородин.— Чем недовольны?

— Встретил этого балбеса Марсианина.

— Я заметил, вы недолюбливаете его. За что?

— Завидую его уму и выдающемуся таланту. Готов, как Сальери, отравить его. Если я его тут еще встречу...

— Ну-ну. Выходит, я должен утверждать у вас список своих посетителей? Вы слишком многого требуете, Морской. Садитесь. Я расскажу вам об опытах одного канадского нейрохирурга.

Морской сел на табуретку. Недовольное выражение лица сменилось восхищенно-удивленным. Он смотрел влюбленными глазами на быстрые пальцы физиолога, уже изображавшие на листе бумаги поверхность больших полушарий головного мозга.

— Леон Абгарович как-то говорил мне: ничто из того, что попадает из действительности в мозг, не пропадает бесследно. Возможности мозга необъятны. И вот, как выяснилось в результате опыта одного канадского ученого, если воздействовать на участки мозга, ведающие памятью, электрическим током, то возвращается утраченное, возникают воспоминания, давным-давно забытые.

— Дьявольски интересно...

— Вот глядите сюда...

Рассказывая, Бородин смотрел на Глеба Морского слегка прищуренными, усмехающимися глазами. Он думал о том, что рано или поздно он использует Морского, этого смелого, великодушного и принципиального человека, как фигуру в шахматной игре. Именно этой фигурой он сделает мат королю — директору института.

И эта холодная мысль доставляла ему огромное наслаждение. Он тоже испытывал почти нежное чувство к Морскому. Ему нравился этот человек, его острый честный ум, его преданность правде, его слегка смягченный юмором энтузиазм. Он дорожил знакомством с Морским. Но в тысячу раз больше он дорожил игрой, которую вел, и будущей победой в этой игре.

Расставшись с Морским, Архиерейская Борода поехал домой. Он сам вел свою машину. Ему доставляла удоволь-

ствии быстрая езда, тревожившая пешеходов и постовых милиционеров, в сущности, опасная езда с почти недопустимой скоростью.

И вот сейчас он мчался, не думая о том, что он мог сбить какого-нибудь зазевавшегося пешехода. Важнее чужой жизни и ответственности за чужую жизнь была эта быстрая, сумасшедшая езда и удовольствие от нее и связанного с нею риска:

Приехав домой, он отказался от обеда, съел бутерброд с колбасой и, закрывшись в кабинете, сел за работу.

Телефонный звонок вырвал его из глубокой задумчивости. Он сразу узнал голос Апугина. Он выслушал Апугина, потом сказал:

— Дайте мне вашу статью, мне наплевать, что ее не захотели печатать в Ученых записках вашего института...

Затем он долго ходил из угла в угол кабинета, думая о черепе космического гостя и о реакционной концепции буржуазного философа Николая Арапова. И ему доставляла почти такое же удовольствие, как быстрая езда, мысль, что статья Апугина поможет ему сделать ловкий и неожиданный для противника ход в той игре, которую он недавно начал. Как хорошо, что Арапов — двоюродный брат Тамарцева. Директора нельзя свалить, не подмочив сначала репутацию его друзей и защитников — Тамарцева и Арбузова. Ему было приятно, вдвойне приятно еще и оттого, что в игре, и притом на его стороне, принимал участие космический гость, живший сто тысяч лет тому назад, но в метафорическом смысле вновь оживший и воскресший.

5

Анастасия Сергеевна зашла в «Гастроном» и купила курицу. Хотя Арбузов ни разу не жаловался ни на кишечник, ни на печень, все же завидным здоровьем он не отличался. У него страдали нервы. На днях он пришел из института, отказался от еды, лег на диван и долго лежал на спине, рассматривая потолок ничего не видящими глазами.

Анастасия Сергеевна тихо спросила:

— Опять Архиерейская Борода?

— Да.

— Неужели он сильнее всего института? Партийной организации?

— Дело не в этом.

— Но есть же на земле правда?

— Есть, — ответил Арбузов. — Бог видит ее, да не скоро скажет.

— А ты не принимай все это так близко к сердцу.

— Пробовал. Но сердце глупое. Не хочет считаться с твоим доводом и доводами рассудка. В институте поговаривают, что Глеб Морской собирает материал для фельетона. Ты когда-нибудь читала фельетоны Морского? Не читала? Напрасно. После его фельетона остается только одно — живым лечь в гроб.

— Превеличиваешь.

— Нисколько. Это самый талантливый фельетонист. Он начинен юмором, яростью и жаждой правды.

— Но правда на вашей стороне. За вас весь коллектив, разве вы не пробовали переубедить Морского?

— Пробовали, но он влюблен в Бороду. Он настолько влюблен, что не видит ничего, кроме того, что подсовывает ему Борода. Ему невдомек, что причину конфликта надо искать в бухгалтерских книгах и не в Ученых записках, а в сердце Бородина, в его страстях. Только там и нигде больше. Оставим, Туся, этот разговор. Он не сулит нам ничего приятного...

Анастасия Сергеевна спешит домой. Несет в правой руке корзину, в левой держит курицу. Курица свежая. Отличный будет суп. Наваристый. И мясо нежное, не обременительное для желудка.

Вот так и течет время, течет в заботах, но ведь без забот и хлопот нет никакого смысла в жизни.

На прошлой неделе Арбузов принес книгу, купленную в букинистическом магазине. Старое, дореволюционное издание. Книга так прямо и называется: «В чем смысл жизни».

— В чем же он, этот смысл? — не удержалась Анастасия Сергеевна, спросила мужа, читавшего эту книгу.

Он улыбнулся, потрогал свою мефистофельскую бородку и посмотрел с любопытством.

— А тебя это в самом деле интересует?

— Суп остынет,— сказала она.— И потом, мне еще в детстве говорили, что читать во время еды вредно.

— Не знаю, вредно ли. Не уверен. Физиология еды с этой стороны мало изучалась. Так тебя в самом деле интересует смысл жизни?

Вопрос звучал обидно, словно ее, Анастасию Сергеевну, ничто не могло интересовать, кроме домашнего хозяйства.

Арбузов зевнул. Подошел к письменному столу, вынул из папки экслибрис, приклеил к внутренней стороне обложки. Потом взял печать, подышал на нее и прижал к титульному листу. «Из книг А. В. Арбузова».

Когда Арбузова не было дома, Анастасия Сергеевна попробовала вникнуть в содержание книги. Но трудно. Слишком трудно. Книга написана сложным, непонятным языком. А в послесловии так и сказано, что смысл жизни открывается только философу и мыслителю. А Анастасия Сергеевна не мыслитель.

В кухне было уютно. Анастасия Сергеевна налила воды в кастрюлю, положила туда курицу и поставила варить.

Вечером Арбузов диктовал, Анастасия Сергеевна печатала на машинке.

«Писатели и психологи,— диктовал Арбузов, ходя по комнате,— и не подозревают, что духовная индивидуальность и самобытность какими-то еще не изученными закономерностями связана с индивидуальностью биохимической».

Анастасия Сергеевна поставила точку и взглянула на бледное, осунувшееся лицо мужа.

— Ну, что в институте?

— То же самое.

— А что Архиерейская Борода?

— Перешел в решительное наступление.

Анастасия Сергеевна вздохнула.

— Ты не забудь, Андрюша, принять ванну. Ничто так не успокаивает нервы, как ванна.

6

Иван Степанович прислушался.

Радик говорил нетерпеливому, горячему, размахивающему руками Кегяну:

— Ну хорошо. Ты почти мастер спорта. Альпинист. Ты дышишь экономно. Подсчитываешь каждый вздох, но обыкновенному, нормальному человеку, не альпинисту, не водолазу, не современному Плюшкину, в сутки нужно двести литров кислорода. Подсчитай-ка, сколько тебе понадобится кислорода, когда ты отправишься в космическое путешествие этак годика на три?

— Немыслимо. Несколько эшелонов кислорода. А как доставить его? Железную дорогу туда еще не проложили. Где выход? Не вижу.

— Есть один выход, Кегян: возьми с собой хлореллу. Растение неприхотливое. Оно и будет снабжать тебя кислородом.

— Я не вегетарианец, — сказал Кегян сердито. — Ну, пока. До свидания, Иван Степанович.

Иван Степанович спросил сына, когда ушел Кегян:

— Что он, в самом деле куда-то собирается?

— Да нет. Горячий он человек. Кипятится. И кипятится зря. Выше себя не прыгнешь. Чем горячиться, лучше хладнокровно подсчитать. Кислорода действительно надо много, отец. Но нельзя же за это сердиться на физиологию... Он, Кегян, «не вегетарианец». А я что, вегетарианец?

— И ты тоже не вегетарианец.

Отец посмотрел на сына и подумал: «В успехах Радика есть и кое-какие мои, отцовские, заслуги. Кто давал деньги на книги? Кто ежемесячно выписывал для Радика журнал «Техника — молодежи»? А мать только потакала слабостям, боялась, чтобы не переутомился».

Разумеется, это он, отец, простой рабочий человек. Он и еще Советская власть, следящая за тем, чтобы не захирели таланты.

— Послушай, Радик. Если двести литров в сутки — так, значит, и говорить не о чем. А человек не таков, чтобы усидеть на Земле. Я понимаю Кегяна. Он правильно горячится. Ну а ты что же, подсчитал и махнул на это дело рукой? Так, что ли?

— Если бы я махнул рукой, я бы не думал о хлорелле... Вчера разговаривал с одним ботаником...

Но Иван Степанович уже не слушал. Он весь отдался мыслям, только что пришедшей ему в голову.

— Двести литров кислорода в сутки, — повторил он, — крепко же привязала нас к себе Земля.

«... Бомба, сброшенная немецким летчиком, не только убила трех студентов исторического факультета, моих помощников, но она разрушила самый удивительный мост из всех когда-либо существовавших мостов.

Этот мост соединял наше время с мустьерской эпохой и с той эпохой, которая наступит через несколько тысяч лет. Три разные эпохи на миг связались друг с другом, как те лихорадочно пульсирующие секунды и минуты, пока я держал в руках огромный череп неизвестного, но несомненно человеческого существа. Потом череп исчез. Распалась связь времен. Превратилась в ничто. Я много раз восстанавливал в памяти эти пульсирующие секунды и минуты. Сейчас они мне кажутся более напряженными, чем тогда. Над нами тогда синело безоблачное июньское небо. И никто из нас не думал, ни студенты, ни я, что через несколько часов будет взорван мост, строителями которого мы себя считали.

Помню, как мы обедали перед палаткой у костра. Над костром в черном от копоти котелке кипел и бурлил чай. Он пахнул костром так же, как пахнул костром густой бараний суп и компот из сухих фруктов.

Череп лежал в палатке. Один из трех студентов, самый младший, Коля, то и дело забегал в палатку взглянуть на него. Он словно боялся, что череп исчезнет, превратится в ничто. И он оказался прав, смешной и милый Коля, погибший в ту страшную ночь.

Оба Анатолия смотрели на Колю свысока. Они его почти презирали. За то, что спать любит Коля, не высыпается. За то, что скучает по дому и часто пишет кому-то письма.

Я думал, что Коля пишет письма девушке. А оба Анатолия сообщили по секрету, что Коля пишет маме.

Коля был сильно взволнован. Оба Анатолия тоже были взволнованы, но быстро пришли в себя и сейчас старательно делали вид, что не произошло ничего особенного. Подумаешь, какой-то череп! Они еще не такое найдут. Откроют неизвестную цивилизацию...

Оба Анатолия антропологией интересовались мало. Они специализировались по истории материальной культуры родового общества. И кажется, не вполне пони-

мали грандиозность значения нашей археологической находки.

Коля, любивший поспать и писавший письма маме, страстно увлекался антропологией и сразу понял, что наша находка внесет с собою бурю во все антропологические кабинеты мира. Коля был возбужден. Он закидывал меня вопросами.

— Обождите, Коля,— сказал ему я.— И ешьте компот. Сегодня мы нашли череп, а завтра, может, найдем предметы культуры, созданные обладателем такого большого черепа.

— Надеюсь, не каменные рубила?

— Скорей остатки корабля, прилетевшего сюда с неизвестной планеты сто тысяч лет тому назад.

Оба Анатолия усмехнулись. У них у обоих выработался характер настоящего археолога, трезвого, недоверчивого, строгого к чужим и своим ошибкам. Один из них сказал:

— Или зубную щетку, которой чистил зубы марсианин.

Коля, который успел уже основательно изучить череп, ответил:

— Насчет зубов у него не очень. Редуцировались от употребления химической и синтетической пищи. Ему зубная щетка не нужна.

— Зато тебе нужны... не щетка, а очки. Уверен, что это вымершая или зашедшая в тупик боковая ветвь. Двоюродный брат кроманьонского человека.

— Это сто-то тысяч лет тому назад?

— Двоюродный брат мог быть намного старше.

— А зачем ему такой череп в мустьерское время? С таким черепом делают не каменные рубила, а камеру Вильсона для космических лучей.

Спор между двумя Анатолиями и Колей уже не носил академического характера, как это было вначале. Коля стоял красный, зачем-то махал деревянной ложкой. А Анатолий-старший ворчал:

— Иди лучше спать или сходи на почту, отправь письмо маме.

— Довольно, ребята,— сказал я.— Хватит. Имейте немножко терпения. Неужели, найдя череп, мы не отыщем хоть что-нибудь еще?

А секунды и минуты пульсировали и на моих больших ручных часах, переделанных из карманных, и в нетерпе-

ливом сердце Коли, и в насмешливо-трезвом сознании двух Анатолиев. Всех нас четверых томило предчувствие не то большой радости, не то такой же большой беды.

Когда это случилось, и, чуточку оправившись от удара взрывной волны, я стоял возле огромной воронки, я чувствовал себя так, словно украл свою жизнь у беды. Отчаяние овладело мной.

— Коля! — повторял я. — Бедный Коля! Что я скажу твоей маме?

Прошло почти двадцать лет, но я вижу все так, словно это случилось вчера...

Готовясь к докладу в Географическом обществе, я мысленно восстанавливал утраченное, когда случай подсунил нам находку и сразу же ее отобрал. Я восстанавливал утраченное минута за минутой, словно нужный мне сейчас день мог быть реставрирован, но время не поддается полной реставрации, и в моей памяти уцелело не так уж много подробностей, остальное исчезло безвозвратно.

Мне хотелось построить доклад в форме бесхитростно-го рассказа. Поменьше всяких гипотез и обобщений, побольше фактов. Но как раз фактов-то и не хватало у меня, особенно если учесть, что открытие было археологическое... Впрочем, не просто археологическое, а к тому же и астроархеологическое. Вот на эту частицу «астро» я и надеялся... Когда речь идет не о Земле, а о далекой неизвестной планете, от ученого нельзя требовать сотни фактов. Археолог привозит из экспедиции подчас бесчисленное множество пронумерованных и зарегистрированных предметов. И эти предметы, разложенные на столах, поражают каждого своей вещественной объемностью, своей наглядной осязаемостью. Пролетели десятки тысяч лет, а эти каменные топоры, кремневые или обсидиановые наконечники стрел лежат перед тобой новенькие, а главное, вещественно реальные, не менее, а может, еще более реальные, чем столы, на которых они лежат, чем стены музея или института. С астрономом дело обстоит иначе. Он предъясняет Фоме неверующему спектрографический снимок... Что еще он может предъяснить? Так я разубеждал себя. А дни приближались.

Накануне мне позвонили из Географического общества.

— Профессор понадобится? — спросили меня.

— А как же. Непременно.

— И у вас много диапозитивов?

— Всего-навсего один снимок,— ответил я и повесил трубку.

Да, всего один снимок, давно уже взятый под подозрение Апугиным. Может, лучше отказаться от доклада? Еще не поздно. Позвонить утром и сказать — ангина или грипп.

Разумеется, я не позвонил и не отказался.

В большом зале Географического общества собрались географы, геологи, геофизики, астрономы. Археологов, конечно, не было, кроме одного апугинского аспиранта. Его, вероятно, прислал сам Апугин, чтобы быть в курсе дела.

В первом ряду сидела какая-то очень старенькая старушка, приложив к уху слуховую трубку.

Затем прозвенел звонок, и председательствующий сказал:

— Слово для доклада предоставляется Сергею Сергеевичу Ветрову...»

8

Робот-собеседник. Ну что, влюбился? И в кого? В девчонку, у которой нет даже имени. Они еще не доросли до имен, эти троглодиты. Имя, это звуковое отражение личности,— словесное подобие каждого «я». А она, эта сомнительная красавица, не умеет отделить себя от стада.

Путешественник. От орды.

Собеседник. Нет, от стада. Не будем вдаваться в этнологические тонкости. Этнология — древняя, мертвая наука. А я — не ты. Я не люблю копаться в древностях.

Путешественник. Я тоже не люблю.

Собеседник. Допустим. И ты не любишь. Но тогда у тебя нет никаких оправданий. Так ты мог бы сослаться на интерес к этнологии, на желание изучать первобытное сознание. А без этнологии какие у тебя найдутся оправдания?

Путешественник. Мне незачем оправдываться. И перед кем? Уж не перед тобой ли?

Собеседник. Оставь этот высокомерный тон. Мой интеллект ненамного ниже твоего. Но тебе плевать на интеллект. Ты увлекся доинтеллектуальным существом, первобытной девчонкой, едва прозревшей, чтобы обозна-

чить звуками самые элементарные предметы, еще не словами, а именно звуками. Но сама себя она еще не в силах осознать как нечто, не сливающееся с миром. У нее нет имени. Для нее «я» почти сливается с «ты» и с «он». Эволюция еще не перерезала эту пуповину. Ты очень удивился, когда узнал, что она боится слить свое «я» со звуком, который бы ее отделил от стада. Ну, орды, если уж ты так настаиваешь. Она не позволила тебе дать ей имя, хотя она, в сущности, уже отделилась от орды, поселившись здесь, не знаю, вопреки ли своей воле. Там, в пещере, одностадники недолго ее искали. Они подумали, что она стала добычей хищных зверей...

Путешественник. А какое тебе до этого дело?

Собеседник. Чисто интеллектуальный интерес. Страсть к познанию.

Путешественник. Свое недоброжелательство и нечистое любопытство ты называешь страстью к познанию?

Собеседник. Не ворчи. Надоело. Твоя девчонка спит. Ей снится стадо. Не обманывайся, она не полюбит тебя. У тебя слишком большая голова и слишком слабые руки и ноги. Твои познания в физиологии и истории философии она не в состоянии оценить. Она вся объята чувством страха и непонимания. Она приняла бы тебя за бога или за черта, если бы имела о них хоть малейшее понятие. Но ее стадо — не стоит настаивать на орде и лакировать действительность — ее стадо живет еще в дорелигиозном мире.

Путешественник. В дорелигиозном. Ну и что?

Собеседник. Ты закрываешь глаза. Но я тебе их раскрою. Хочешь ты этого или не хочешь. А сейчас поговорим о другом.

Путешественник. Решил наконец-то сменить пластинку?

Собеседник. Этим старинным выражением ты хочешь меня уязвить? Ты бы предпочел робота-льстеца, поддакивателя? Я знаю. Ты занимался делом, пока не увлекся этой толстоногой, длиннорукой красавицей. Ты ставил опыт, рассчитывал, что здешняя, не избалованная учеными природа ответит на твой вопрос. Твой опыт отдает чистейшим дилетантством. В самом деле, как живая молекула возникла в вакууме? И не только живая, но способная производить себе подобных. Сущность жиз-

ни — это не только белковый обмен, но и саморепродукция, преодоление времени и пространства, саморепродукция в будущее. Ну а та планетка, которую назвали твоим именем? Как быть с ней? Ты о ней забыл?

Путешественник. Помешан ты на нуклеиновых кислотах, на химической «памяти». Это твоя идея-фикс. Если тебе не нравится мой опыт, ставь сам.

Собеседник. Я создан для мышления, не для действия. Мышление — моя узкая специальность.

Путешественник. Ну и размышляй про себя. Я тебя выключу. Ты надоел мне. Стал повторяться. В механическом твоём уме нет ни одной свежей мысли.

Собеседник. А в твоём, не механическом? Так ли уж там все ново и свежо?.. С того дня, как ты привел эту толстоножку, ты, друг, умственно обленился. Но на то я и придан тебе, чтобы не дать заплесневеть твоим мозгам; покрыться паутиной.

Путешественник. Довольно! Отключаю. На сегодня хватит.

И снова наступила тишина. Не покой, а только тишина.

Девушка спала. Она спала, разбросав руки и ноги, и её некрасивое, скуластое, но миловидное лицо лежало, погруженное в то отсутствующее и освежающее состояние, которое Путешественнику давалось с таким трудом. Не завидовал ли уж он ей, этой спящей девчонке, её здоровому, простодушному сну и тому, что она была не чужой на этой молодой и дикой планете? Может, чуточку и завидовал. Но в этой зависти скрывалось тайное восхищение этой простушкой, восхищение, в котором не хотел признаться.

Она спала, а значит, и отсутствовала. Но когда она не спала, а бодрствовала, разве она присутствовала? И да, и нет. Она пребывала. Она почти вся целиком была там, в орде, или, как настаивал собеседник, в своём стаде. Она ещё не отделилась от орды, или стада, хотя и жила здесь.

Все предметы его мира вызывали в ней страх и недоумение. Они не имели ничего общего с тем естественным течением природы, в котором она до сих пор жила. Ей казалось, что все это ей снится... Значит, и в её первобытном сознании скрывалась логика (здравый смысл), логика, которая отвергала и его самого, и его роботов как бессмыслицу, как абсурд и искала удовлетворительное объяснение, считая все это дурным и нелепым сном.

Его это обескураживало, выводило из терпения. В сущ-

ности, она не желала признать его за живое существо, признать реальность его и его мира. В зеленых, слегка прищуренных глазах ее, когда она на него смотрела, сквозь страх проглядывала насмешка.

«Какой урод, — наверно, думала она, — мне снится. Какой ужасный, нелепый, надоедливый урод».

Впрочем, она не могла так думать, не умела.

Сейчас она спала. Во время сна ее лицо становилось другим. Сон вырывал ее из его мира и, вероятно, казался ей бодрствованием. Пока загадочным для него оставалось и другое — в какой мере ее бодрствование было пронизано сознанием? В какой мере она могла отделить себя от дремлющей природы, от этих деревьев, шумящих рек и выслеживающих добычу зверей? Издали и ее, одетую в звериные шкуры, трудно было отличить от всего, что бежало, несло, ревело, свистело, сопело и поражало чувства Путешественника новизной и свежестью, естественностью дикого и неприрученного бытия.

От ее спящего мускулистого тела пахло мускусом, дымом и травой. Острый, пронизывающий все ее существо запах.

Он наклонился над спящей и жадно вдохнул в себя еще раз этот запах. В его дыхание, в его кровь, во все поры его тела ворвалось нечто, хмелящее рассудок. Она была здесь, возле него, казалось, опровергавшая его далекий мир и все его прошлое, запечатленное роботом Твое Второе Я. Румяные щеки, покрытые пушком. Толстые губы. Низкий лоб с прядью иссиня-черных жестких волос. Маленькие девичьи уши — две почти прозрачные раковины, приросшие к голове. И нос с круглыми, спокойно дышащими ноздрями.

Он нечаянно задел ее, и она проснулась. И вместе с ней проснулось все, с чем она была связана пуповиной, — лес с высокими толстыми деревьями, река со своим бурным течением, толкающая камни, звери на тропе у водопада. И полулюди в дымной пещере...

В ее зеленых глазах были испуг, недоумение и насмешка. Сколько же можно недоумевать? Вот уже целая неделя, как она здесь. Она металась тогда среди кустов, как птица в силке, пыталась скрыться, но робот, выполняя поручение, доставил ее сюда. Оживший, притворяющийся человеком предмет, холодный и жесткий, как камень. От него не вырвешься. Здравый рассудок пришел к ней

на помощь, не то бы ее сердце разорвалось от страха. Рассудок подсказал ей, что это сон.

И этот сон продолжался.

Перед ней стоял большеголовый человек с умными добрыми глазами. Неприятен был его маленький рот. Она еще ни разу не видела, как он ел. Да и можно ли таким ртом есть? Туда не пролезет кусок мяса... Но, смотря на его глаза, можно было забыть и о его коротких ногах и руках, о его маленьком рте. Его глаза — это и был он. Он словно состоял из одних глаз. В глазах его жил странный глубокий мир, похожий на ночное небо, полное звезд.

Но мало ли что может показаться человеку, когда он спит! Сон слишком затянулся. И ей хотелось проснуться, проснуться в пещере, где пахло жареным на углях мясом оленя или быка.

Сны не следует никому рассказывать. Их надо поскорей забыть. Но сможет ли она забыть этого широкоглазого маленького человека, чьи желания исполняют ожившие вещи? А сам он человек ли? И почему он всегда один, без орды? Совсем один, если не считать взбесившихся вещей, угадывающих все желания широкоглазого.

Этот смешной человечек быстро лепечет и еще хочет, чтобы она поняла, что он ей говорит. Языка его не понять, но в глубоких глазах его нечто удивительное. Такое она видела, когда впервые вышла из темной и сырой пещеры. Лепетала речка. И раскрылась синяя даль, даль, манившая ее, глубокая и прозрачная, как вода. А речка лепетала. И свистела иволга. Куковала кукушка. И звуки таяли, таяли, как эта манившая ее даль.

В глазах широкоглазого синела даль, она манила своей неизвестностью и сжимала сердце страхом.

Кто он? Откуда? Но разве сон отвечает на вопросы спящих?

Она закрыла глаза. И снова впала в забытие.

Пока она спала, он вспоминал. Робот Твое Второе Я развертывал перед ним время, консервированные мгновения. Вот он, юноша, студент философского факультета, сдает экзамен. Аудитория на берегу лесного озера. Она прозрачна. Сквозь ее оптические стены вливались далекие пространства с их спокойным ритмом утреннего бытия.

Экзаменовал его философ, скромный человек с самоуглубленным выражением лица.

— Напомни мне, — сказал он тихо, — как понимал мир древний мыслитель и математик Урго-Урган?

— Урго-Урган? Он понимал мир как целое, которое можно вписать в формулу, как задачу, которую может решить гигантский математический ум. Мир представлялся ему суммой фактов и обстоятельств.

— Немножко упрощаешь.

— Не просто суммой фактов, расположенных в пространстве, но и продленных во времени. Но Урган жил задолго до того, как ученые стали считать, что они живут в вероятностном мире, в мире, который нельзя вписать в формулу. Нашлись философы, которые стали воспевать случай, неожиданность. Твердая почва им стала представляться колышущейся бездной... И колышущейся иррациональной бездной представлялась им наша душа.

Философ улыбнулся.

— Ты ответил правильно. Красиво. И не по учебнику. Я доволен твоим ответом. Если ты не устал, совершим небольшую прогулку. Мне хочется с тобой поговорить.

Они вышли из аудитории. Машина медленного движения плавно понесла их, то ускоряя, то замедляя ход. Перед ними возникало только то, на чем следовало задерживать свое внимание. Синее облако. Верхушки горы. Дно океана с розовыми безобразными рыбами. Чье-то прекрасное задумавшееся лицо. Ножки ребенка, делающего первый шаг. Крыло летящей птицы. Звонкая капля дождя. Смерч, вырывающий с корнем деревья. Дом-новинка, идеально вписанный в пространство и время, как бы вознесенный на самую кручу бытия. Дом с оптическими стенами, вбирающий в себя всю свежесть мира... А затем пространство становилось абстрактным, как в космосе или в длинном туннеле, заволакивалось пеленой отчуждения. Тогда ничто не отвлекало его и его учителя, и они могли размышлять вслух, спорить.

— В древнем мире, — сказал учитель, — существовали два типа мышления. Одни мыслители проецировали свой разум в мир и считали мир разумным. Другие мыслители проецировали в себя всю хаотичность и иррациональность еще не познанной природы и считали и мир и себя лишенными разума. И были эклектики, которые хотели примирить эти два взгляда. Но прошло тысячелетие, и стали разумными и перестроенный мир и переделанный житель планеты. Мы живем в мире разума. Он наступил после

великой социальной и технической революции. Напомню тебе о растерянности экономистов и социологов. Весь физический труд и значительную долю умственного взяли на себя кибернетические машины и роботы. Кое-кто из социологов думал, что общество духовно загниет от длительного безделья. Но общество воспитывало своих членов, учило презирать бездельников и тунеядцев. Труд превратился в творчество, в соревнование деятельных и смелых душ. Началось завоевание космоса... Тебе неинтересно слушать про это. Ты знаешь это с детства. Но я говорю об этом не случайно. Ты хочешь заняться изучением древней философии, историей культуры и мышления. Тебе будет трудно понять, что такое иррационализм, поклонение стихийности. Проникнуть в суть для нас непонятого и странного явления. Вспоминаю, как мне было трудно понять сущность религиозного сознания, понять не поверхностно, а глубоко... Для этого нужно было проникнуться психологией древнего анеидайца. Нужно было представить себе мир, переполненный неожиданностями и бедствиями, мир, в котором еще не окрепший разум боролся с неразумием, во много раз более сильным и хитрым...

— Я радуюсь трудностям,— ответил он учителю,— без них изучение древности потеряло бы для меня значительную долю своей прелести.

— Трудности. В тебе говорит альпинист. И пловец. Друг мой, история, особенно история мышления,— это не спорт, не физкультура, и трудностям радоваться не следует.

Абстрактное, закрытое полосой отчуждения пространство исчезло. И снова возникло то, на чем следовало задержать свое внимание. Ураган. Белка, скользящая среди ветвей. Синева пропасти. Скала. Скамья с двумя влюбленными. Поляна в густом лесу и коричневый пористый, сыро пахнущий мхом гриб. Гнездо ласточки с птенцами. Фабрика фотосинтеза. Агрофизическая ферма. Сад с растениями, растущими без почвы. Вспененные, набегаящие на песчаный берег волны. Скрипачи и виолончелисты, играющие в лесу.

Путешественник выключил робота Твое Второе Я, потому что проснулась девушка. Она сидела на корточках и смотрела. В ее зеленых глазах уже не было ужаса и насмешки, а было только любопытство.

Сын Тамарцева Геогобар сидел в детской и, задумчиво глядя на доску, решал шахматную задачу.

Получая вчера паспорт, Гоша был очень смущен и даже растерян, когда, раскрыв новенький документ, прочел: «Тамарцев Геогобар Алексеевич».

— Дома и в школе меня зовут Гошей. Георгием, — сказал он тихо капитану милиции.

— И пусть зовут, — ответил, улыбаясь, капитан. — Дома вы будете Гоша. А на работе Геогобар Алексеевич. Первый раз попадаете такое имя. Кажется, где-то читал.

Гоша покраснел и, спрятав паспорт в новый, специально купленный бумажник, вышел в коридор. В коридоре ждали своей очереди такие же, как он, шестнадцатилетние подростки. Слава богу, что двери толстые и подростки не слышали разговора Гоши с начальником паспортного стола. Конечно, невежливо, что он не ответил капитану, а, оборвав разговор, ушел. Имя Геогобар действительно встречалось в одном старом, довоенном научно-фантастическом романе отца. Отец дал ему имя в честь своего любимого героя, жившего в другом конце Галактики.

Придя домой и достав из бумажника паспорт, Гоша снова взглянул на то, что там было написано. С тоской он подумал, что документ всю жизнь будет спорить с ним. Гоша будет говорить о том, что он Гоша, Георгий, а паспорт будет уличать его в неправде — он не Гоша, а Геогобар. Ах, как ему не хотелось быть Геогобаром! В этом имени скрывалось нечто странное, словно он и в самом деле прилетел в квартиру из другого конца Галактики.

Гоша решал шахматную задачу. Отец окликнул его и взглянул на доску.

— В отдаленном будущем, — сказал он, — самыми крупными шахматистами будут кибернетические машины. У машины всегда будет преимущество перед шахматистом. Машина не будет нервничать, бояться цейтнота.

— А машина разве не научится нервничать?

— Зачем ей терять свое преимущество? Да, тетя Оля сказала мне, что ты вчера получил паспорт. Что ты не похвастался? Надо бы отметить этот день. Помню, когда я получил паспорт...

— Но тебе, отец, не надо было краснеть за такое необычное имя.

— Я всегда любил необычное.

— А я люблю обычное.

— Это потому, что ты хочешь быть взрослее взрослых. Мне нравится твое имя и даже то, что твой тезка живет в другом конце Галактики. Пусть не на самом деле, а только в моей фантазии, но для меня он не менее реален, чем какой-нибудь Джон, Петер или Кузьма. Ты родился на третий год войны. Мать умерла. Тебя отправили в тыл. Зимой 1944 года я приехал с фронта, разыскал детский дом, эвакуированный в уральскую деревушку. Прихожу, говорю, старушке няне: «Я Тмарцев, тут у вас мой сын Геогобар». Она улыбается и ведет меня к тебе. Ты был в кровати и только что проснулся. Я не смог объяснить тебе, кто я. Когда мы расстались, ты еще не умел говорить. И все же мы тогда лучше понимали друг друга, чем сейчас.

Гоша задумчиво смотрел на шахматную доску, но думал о другом.

— Папа, ты читал рассказ Чехова «Мальчики»? Это про Монтигомо Ястребиный Коготь.

— Читал когда-то. Давным-давно. А почему тебя это интересует?

— Нет. Я это просто так. Там изображен гимназист — страшно важный, мечтавший бежать в Америку и называющий себя Монтигомо Ястребиный Коготь. Как ты думаешь, папа, когда он стал взрослым, он стыдился этого?

— Не понимаю. Чего тут стыдиться? Это ведь романтическая мечта...

— Романтическая? А по-моему, просто глупость. Монтигомо Ястребиный Коготь. Смешно.

Тмарцев вышел из комнаты в глубокой задумчивости. «„Мальчики“, — думал он, — надо бы перечитать этот чеховский рассказ. Хотя при чем он, этот Монтигомо? Давным-давно исчезли гимназисты, мечтавшие охотиться на бизонов. Чехов написал рассказ, если не ошибаюсь, в восьмидесятых годах. Очень уж восприимчив Геогобар. На все обращает внимание. Всему придает значение».

Зайдя в кабинет, заставленный книжными стеллажами, где почти все пространство от пола до потолка занимали книги, Тмарцев вспомнил, что у него нет Чехова. И Льва

Толстого тоже у него нет. Геогобар брал читать Чехова и Толстого в школьной библиотеке.

Сев за свой большой и удобный письменный стол, Тмарцв устало закрыл глаза. В такие минуты в его сознании возникало далекое от его кабинета и даже от самой Земли неясное и чуждое бытие, приближалось и становилось более определенным, быстро ложась на бумагу и облекаясь в плоть живых и привычно звучащих слов.

Но в этот раз далекое и чуждое бытие не хотело появляться. Оно сопротивлялось усилиям тмарцвской фантазии. В сознании вдруг возникла давным-давно прочитанная и забытая фраза: «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут».

Тмарцв открыл усталые глаза и спросил себя: «Откуда эта фраза? Кажется, из Чехова. Но как странно, что она вспомнилась. Я ведь читал Чехова в юности».

Тмарцв встал, прошелся по комнате и зачем-то заглянул в зеркало. Из зеркала глядело на него солидное лицо с острым носом и карими, слегка прищуренными глазами. В карих, не по возрасту молодо поблескивающих глазах играло земное и чуточку хитроватое выражение, иной раз смущавшее читателей и особенно юных читательниц, встречавшихся с фантастом и разочарованных тем, что он совсем не походил на своих героев.

Тмарцва очень удивило, что выражение его лица совсем не соответствовало его сегодняшнему настроению, тревожному и чуждому довольства собой. Зеркало словно говорило неправду.

В первом часу ночи Тмарцв подошел на цыпочках и заглянул в комнату сына. Он спал, забыв выключить свет. Его узкое отроческое лицо с закрытыми глазами казалось старше и взрослее, чем днем.

Какое-то новое, незнакомое и сильное чувство вдруг пронзило Тмарцва, остановившегося возле раскрытых дверей.

Тмарцв смотрел на спящего сына затаив дыхание, с изумленно и тревожно бьющимся сердцем, словно он смотрел из космоса, со стороны, впервые увидев человека и поняв всю глубину, неповторимость и красоту земного бытия.

■

В ДВУХ МИРАХ

1

Поездка в Париж заняла всего пять дней. Пять дней — и он дома.

Потом много раз Тamarцев пытался вспомнить и старенький отель с низеньким душным номером, и ресторанчик недалеко от бульвара Капуцинов, где он обедал, и улицы, по которым ходил торопливо, с любопытством заглядывая в лица прохожих, останавливаясь у старинных зданий, зачем-то читая афиши бесчисленных театров. Ему не удалось побывать ни в одном.

Все спешило — толпа, машины на улицах, вагоны старенького метро, куда спускаешься по ступеням прямо с тротуара. Подчиняясь этому ритму, спешил он сам, вбирая впечатления парижской жизни.

Он не умел распределять свое время и, разумеется, сразу же обокрал самого себя, простояв слишком долго возле картин Дега в Люксембургском музее и возле какой-то античной статуи, а потом у него не хватило времени, чтобы задержаться там, где не следовало торопиться: на круто поднимающихся улицах Монматра, на набережной Сены возле лотков знаменитых парижских букинистов, и возле дворца Пале-Рояль, и возле собора Парижской богоматери.

Жизнь скользила мимо него, как документальный фильм — прекрасный, но быстротечный.

Первые сутки прошли как мгновение. Он дал себе слово, что не будет спать. Ему нужно было еще просмотреть свой доклад, который он будет делать на Международном конгрессе физиологов и психиатров. Но он вернулся в отель усталый и уснул сразу, как только лег.

Тамарцев проснулся и минуты две или три лежал на спине, не поворачивая головы, видел обычные гостиничные стены, безличные и скучноватые. И умывальник обычный. И окно точно такое, как все окна, но за окном — Париж.

Тамарцев вскочил и начал одеваться. У него не оставалось времени на завтрак. В десять начиналось заседание секции психиатров, а на двенадцать назначен его доклад.

Он никак не ожидал, что на конгрессе физиологов и психиатров встретится со своим двоюродным братом Николаем Араповым.

Высокий, элегантно одетый господин (именно господин) сказал, играя красивым, звучным голосом:

— Алеша! Простите, Алексей Иванович... — Он улыбнулся. — А помнишь, как мы с тобой чуть не подожгли конюшню с жеребцом Голубчиком?

Он улыбнулся еще обаятельнее. И на миг сквозь его теперешний облик западноевропейского господина, парижанина и модного философа проступило простодушное и милое Колино выражение.

— Ты не очень устал? Доклад твой я выслушал с интересом. Что ты так смотришь? Ага, понимаю, встретились два представителя двух враждующих социальных систем. Но ведь я не приглашаю к себе в гости. Мы можем побеседовать и на нейтральной территории. Например, в кафе. Не возражаешь?

На улице среди других машин стояла его длинная и роскошная «испано-сюиза». Сели. Он сам вел свою машину, вел лихо и еще более лихо затормозил возле кафе.

За рюмкой коньяка, ароматного, как ветка черемухи, и оставляющего на языке терпкий вкус, он прочел нараспев:

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы — коня.
Ты расскажешь мне о тех, кто раньше
В этом теле жили до меня.

Лицо его стало вдохновенным:

Дерево да рыжая собака —
Вот кого он взял себе в друзья.
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

Затем вдохновенное выражение сменилось другим, более соответствующим месту и обстоятельствам. Да и, собственно, чем ему было особенно вдохновляться? Тем ли, что он после сорокалетнего перерыва встретил родственника? А что такое родство? Вряд ли ведь можно говорить о родстве духовном... Это можно будет утверждать лишь

после беседы, после откровенного разговора. Но он не знал, по какому руслу потечет их беседа.

Ах, в чем вообще можно быть уверенным в этой жизни!..

Арапов протянул двоюродному брату кожаный портсигар, туго набитый сигаретами, — жест скорее всего внешний, светски официальный, вряд ли способный сократить расстояние между ними.

— Куришь?

— Нет, не курю.

— А мне помнится, ты пытался курить, когда это тебе и мне было строжайше запрещено. Тогда ты вызвал гнев взрослых. И был наказан. Сейчас, когда я гляжу на тебя, мне кажется, что это было вчера.

— А мне не кажется.

— Но ты же материалист. Диалектик. Тебе не разрешено сомневаться в объективности нашего прошлого.

— А почему бы мне сомневаться в том, что несомненно?

— Так ли уж несомненно, как сказано в ваших учебниках? Увы! Действительность располагает только наличным бытием. Вот мы сидим и пьем коньяк. Действительность нам выдала эти приятные минуты, чтобы сразу же их от нас отобрать. У нас взаимоотношения с действительностью, как у должника со взаимодавцем. Она дает, сразу же отбирая. Наличное бытие — это беспрерывная отсрочка. Наше время заложено в ломбарде, но выкупить его нам не дано.

— Ну, а прошлое? — спросил Тamarцев. — Я не совсем отдаю себе отчет, в какой связи с ним твои рассуждения о наличном бытии, якобы заложенном в ломбарде?

— Прошлого, в сущности, нет. Бытие разворачивается перед нами как беспрерывно ускользающее настоящее. Тебе, конечно, доводилось смотреть в окно вагона на ускользающее пространство? Но пространство, ускользая, исчезает только из поля нашего зрения, время же играет с нами в нелепую и алогичную игру: убегая — возвращается, возвращаясь — убегает. Его нет, и оно есть. Оно как будто уже было. Для личности существует только удлиненный миг, что касается рода и вида... Но родовой и видовой опыт, как бы он ни назывался — историей или наукой, бессилён проникнуть в сущность. Истина неповторима и открывается только личности.

Тамарцев усмехнулся.

— Мне это знакомо, Николай. Я же, извини, психиатр. Такого рода концепции нередко развивают мои больные, и с не меньшим блеском, с не меньшей логикой. Но их познавательный аппарат действует вхолостую, потому что потерял контакт с реальной действительностью. Несогласованность работы двух сигнальных систем.

— Как? Как ты сказал? Двух сигнальных систем? Ну да, это по Павлову. Ты его ученик?

— Да, ученик.

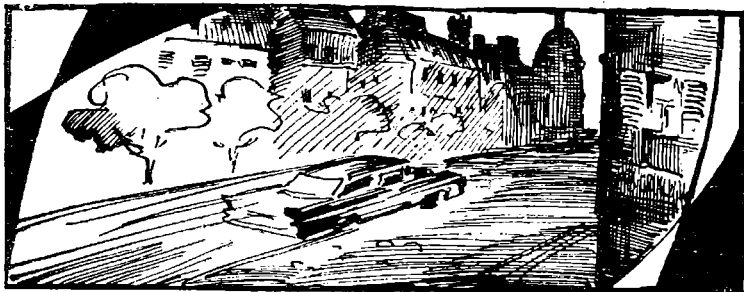
— Ты говоришь это таким тоном, словно я ставлю тебе это в вину. В этом я не вижу ни особой вины, ни заслуги... Как не вижу заслуги в том, что ты ученый. Наука в наше время не в ладу с человеческими чувствами, с душой. Разве можно представить себе бесконечность? Но раз непредставимо бесконечное, то и с конечным нечего делать нашим представлениям. Наука антигуманистична по своему духу... Она служит разрушению, гибели, смерти... Без нее не было бы Хиросимы!

— Наука в этом не виновата, виновато капиталистическое общество.

— Многие ученые говорят это. А сами строят кибернетические машины, мечтают о думающих роботах. Они уже спешат освободить человечество от бремени мышления. Они рисуют нам рай, в котором бессмысленные овеществленные люди будут с изумлением взирать на одушевленные и размышляющие вещи. Мне не нужен этот рай. Он отвратителен.

— Такой рай и мне не нужен.

— Не нужен ли? Обожди, не торопись от него отказываться. Да и как посмотрят на твой отказ там, откуда



ты приехал? У вас, да и у нас, это называют научным прогрессом, технической революцией. Сама эпоха похожа на механизм с наперед заданной программой. Эпоха превратила человечество в школяров, заставив всех решать одну и ту же задачу. А люди уже украдкой успели заглянуть в конец задачника и только притворяются, что не знают решения.

— Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Если ты сравниваешь людей, видящих впереди цель, со школьниками, заглянувшими на последнюю страницу задачника, то ты говоришь нелепость. Одно — знать решение, другое — его достигнуть. Ты как раз и зовешь людей, знающих ответ задачи, не решать ее, а удовлетвориться его иррациональным значением. Человечеству нужен материализованный ответ. Людям незачем прятаться от того, что им еще не понятно. Они не страусы. В страусовой идеологии не больше свободы, чем в страусовой экономике. Ты любишь жонглировать, я читал, такими словечками, как «ничто» и «нечто». Отрицая цель, ты отрицаешь и средства. Что же остается? Идти в ломбард и заложить свою личность? Ты дезертир!

— Ну вот, опять передовица. Зачем затруднять мозг! Скоро автомат снимет с нас бремя мышления. Недаром в своем докладе о сущности памяти ты так напирал на сходство человека с машиной. Ах, уж это мне сходство!

Наступила пауза. Пора было и оглядеться. Тамарцев бросил взгляд на соседние столики, на эстраду.

Поблескивающие, как орех, коричневолыцые и коричневорукие музыканты исполняли на экзотических инструментах какую-то африканскую симфонию. Один из музыкантов встал и запел. Он пел тихо, с придыханием, астматическим голосом, пел интимно и приглушенно, как бы вживаясь в нечто открывающееся только ему здесь, в ночном кафе, и недоступное другим, — как бы призывая его сюда, свое африканское божество, и о чем-то с ним советуясь через головы посетителей, сидящих за столиками.

Певец смолк, но мелодия еще продолжала звучать.

— Ты несчастлив, Коля?

Вопрос прозвучал неожиданно для самого спрашивающего, словно спросил не он, а кто-то другой.

— А ты счастлив, Алеша?

— Я?

— Да, ты?

— И я тоже несчастлив, Коля.

Арапов рассмеялся.

— Не верю. Там, откуда ты приехал, всем предписано быть счастливыми.

— Не паясничай, Николай, не то я уйду.

— Не буду, Алеша. Извини. Но откуда ты знаешь, что я несчастлив?

— Я об этом догадываюсь, Коля. Об этом нетрудно догадаться, просидев с тобой вечер.

— Я несчастлив, Алексей, особым несчастьем, несчастьем подлеца. В 1941 году немцы отправили мою жену в лагерь смерти.

— Немцы. Не ты. Ты ушел в отряд Сопротивления. Я об этом читал. Ты боролся...

— Боролся и отчаивался... Но из своего отчаяния извлек прибыль. Мое несчастье помогает мне обостренно чувствовать бытие и ощущать время. Чем я лучше Ильзы Кох, кроившей перчатки из человеческой кожи? Я предал жену. Я должен был уйти в лагерь смерти вместе с ней.

— Ты поступил правильно, что не пошел с женой в лагерь смерти, а пошел к партизанам. В самоубийстве нет никакого героизма.

— Значит, за мной нет вины?

— Вина есть. Твоя вина в том, что ты своей философией помогаешь мерзавцам, убившим твою жену.

— Опять передовица. Опять избитые, стереотипные слова.

— Правде не нужны нарядные одежды. В любой самой поверхностной передовице больше глубины, чем в философской системе, предлагающей людям ничто — камень вместо хлеба.

— Не верю. В передовице не может быть истины.

— Почему?

— Потому, что истина не приходит к людям по топтанной тропе, за нее платят кровью, платят жизнью...

— Мы заплатили за нее кровью.

— Опять газета! Отповедь идейному противнику? Хватит, Алеша. Довольно. Но отчего же ты несчастлив? Ты еще не сказал.

— Оттого, что не просто быть счастливым. Оттого...

— Не объясняй. Понимаю. Ты не автомат, а человек. Я тоже не автомат. Кажется, нам пора.

Арапов поднялся. Лицо его выглядело усталым.

Они вышли на улицу.

— Не возражаешь, если мы немножко покатаемся? — Сев за руль, он завел мотор. «Испано-сюиза» тронулась. — Долго ты пробудешь в Париже?

— Завтра улетаю.

Они обгоняли другие машины. Арапов, по-видимому, не собирался сбавлять скорость. У Тамарцева кружилась голова. Его слегка поташнивало от быстрой езды и оттого, что он мало спал.

— Тебя оштрафуют...

— У нас за это не штрафуют... Бойкие репортеры чувствуют себя ужасно умными, когда употребляют слово «небытие». Они уже много раз писали о том, что философ Арапов любит играть со смертью. Они называют меня сумасшедшим шофером. И они догадались кое о чем, Алеша. Мне иной раз действительно хочется разбиться.

— Надеюсь, не сегодня?

— А почему бы и нет? Нельзя все откладывать и откладывать. Еще прослынешь трусом. Но сегодня я рад, что встретился с тобой. Конечно, мы противники. И, кроме того, братья. Из близких родственников у меня никого не осталось, кроме тебя. Эти узкие улицы Монматра. Здесь легче всего разбиться. Но это я себе. Ты не беспокойся, я доставлю тебя в твою гостиницу. Я слишком опытный водитель, чтобы разбить машину, хорошенько не пожелав этого. Помнишь, Алексей, мы с тобой ушли вверх по реке Гремящей в лес и заблудились, свернув с тропы в сторону? Наступила ночь. И кричала какая-то ночная птица. Жутко кричала. Плакала. Словно кого-то хоронила. Это она, Алеша, хоронила меня.

— Рановато она стала тебя хоронить. После того ты прожил еще сорок лет.

— Прожил ли? Ведь она оплакивала мое «я», мои возможности, то, что во мне не осуществилось, то, что я похоронил в себе. Ну, вот и твоя гостиница. Прощай, Алексей.

Арапов нагнулся и поцеловал Тамарцева в губы.

Светало.

Вечером, просматривая газету, Тамарцев с ужасом прочел, что философ Арапов разбил машину, налетев на уличный фонарь, и в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

Радио Ивановичу отвели отдельное помещение для самостоятельной работы, дали двух помощников. Для этого пришлось нарушить все существовавшие традиции. Ведь Богатырев пока аспирант. А в помощники ему дали двух кандидатов наук, людей немолодых, со стажем, с опытом, с эрудицией. И все-таки не они будут руководить Радиом, а Радик ими, потому что у Радика оригинальные и перспективные идеи.

Радику предоставили для опытов животных. Его интересуют животные не сами по себе, а как живые «машины», удивительно мудро и экономно построенные самой природой. Птицы без компаса перелетают через моря и никогда не сбиваются с курса. Летучие мыши владеют ультразвуком. А рыбы морских глубин — электрической энергией.

У Радия Ивановича трудная задача. Он должен выяснить, что заимствовать у животных, чтобы построить кибернетические машины. И вдруг он с этой задачей не справится? Этот вопрос не раз уже ставили на ученом совете. Правильно ли это со всех точек зрения (особенно с педагогической), что молодой парень, аспирант, руководит кандидатами наук, зрелыми, солидными людьми?

Бородин горячился, защищая Радика:

— У него плодотворные идеи. Что же, прикажете ему ждать, когда сам он состарится, а идеи завянут?

Когда Бородин был прав, его поддерживали. Поддержали его и в этот раз. А Радий Иванович продолжал свои опыты, изучая животных, но главным образом не как биолог, а как инженер.

В пятнадцатом веке этим занимался Леонардо. Он тоже был инженер. Но тогда не существовало кибернетики.

Архиповна, гардеробщица, говорит тихо пожарнику Алексееву, человеку в институте новому и несведущему:

— В науке не тот генерал, у кого чины, а тот, у кого голова хорошая.

У него не было имени. Никто не знал, кто он и откуда. И все же он был реальным существом.

Его образ не раз возникал в сознании Сергея Сергеевича. Он словно бы жил где-то рядом, преодолев время и пространство.

В своем научно-фантастическом рассказе детский писатель Виктор Марсианин назвал его «У», одним бедным, примитивным звуком, одной гласной, словно буква «У» могла хоть в небольшой степени характеризовать существо, откуда-то прилетевшее на Землю. Сергей Сергеевич, отличавшийся терпимостью, буквально возненавидел детского писателя. Какое право он имел дать ему имя? Ведь, может быть, мы когда-нибудь узнаем, как его звали. Разумеется, не У. У него не могло быть такого краткого и жалкого имени.

В этой местности все напоминало о нем. Ведь здесь был найден и вновь утерян его череп.

Конечно, когда он ходил под этим небом, местность выглядела не так. Сто тысяч лет и для археолога значительное расстояние. Здесь тогда не было ни домов, ни дорог. И даже речка вряд ли текла на этом месте. Но все же он погиб в этой местности, и неизвестно — от чего.

Никифоров и Солдатов мало интересуются им. Они не читали рассказа детского писателя Виктора Марсианина. Не читали и, кажется, не желают читать. А вот Женя Петров читал. Петров интересуется. Петров спрашивает Ветрова:

— Вероятно, у него был всеобъемлющий философский ум?

— У кого?

— Да у этого самого У?

Сергея Сергеевича покорило.

— У! А почему не Ы? Не А? Не И? Не Е? В языке так много гласных. Спросите Марсианина. Может быть, этот фантаст знает.

— Но ведь вы держали его череп. А не фантаст.

— Дорогой Женя, я же не разговаривал с черепом. Даже такому крупному специалисту, как Апугин, и то череп не признался бы ни в чем.

— А мне почему-то думается, что он был философ.

И там, на его планете, все жители были философами.

— Не думаю, Женя. Не представляю себе мир, населенный одними Спинозами и Кантами. Нельзя также допустить, чтобы планета была заселена только академиками и членами-корреспондентами.

— А вот Виктор Марсианин допускает. У него описывается планета, населенная математиками.

— Это, Женя, от чрезмерного почтения к математике. Вероятно, когда-то в школе будущий фантаст не смог решить уравнение с двумя неизвестными. С тех пор он представляет себе рай таким местом, где все успешно решают различные уравнения. Но довольно, Женя, рассуждать: Никифоров и Солдатов спят. И нам с вами тоже пора.

— Только один вопрос. Скажите, Сергей Сергеевич, а вы часто думаете об этом У?

— Частенько. Больше, чем требуется. И все-таки пора спать.

Ветров ложится на раскладушку. Вытягивает ноги. Но ему не спится... В палатке душно. Слышно, как всхрапывают Никифоров и Солдатов. Петров тоже уснул. А Сергею Сергеевичу не спится.

Искра костра прожгла в скате палатки дыру. В дыру видно звезду и кусочек неба. Звезда заглядывает в палатку. Она яркая и молодая, словно недавно родилась. Она была такой же юной и яркой и сто тысяч лет назад, когда по этой местности бродило удивительное существо. Что для звезды сто тысяч лет? Минута.

Ветров надевает сапоги, накидывает тужурку и тихо выходит из палатки.

Это одна из звезд Большой Медведицы. В отверстии палатки она казалась ярче.

Тишина. Вот так же тихо было и двадцать лет тому назад...

Петрову в это время снится У. Да, его зовут У. Космический пришелец идет в сопровождении детского писателя. Лицо научного фантаста с острым подбородком морщится от усилия понять сложную мысль У, выраженную с помощью второй звуковой сигнальной системы и одновременно развернутую в пространстве и времени с помощью третьей сигнальной системы, системы эйдетической и наглядной, способной материализовать каждую мысль и одушевить всякую вещь. Женя счастлив. Женя

восхищен. Женя разгневан. Жене стыдно за фантаста, не способного понять гостя и ответить ему так, чтобы не посрамить земных людей. Женя что-то возмущенно борочет со сна.

А Сергею Сергеевичу не спится. Он принимает снотворное. И тогда засыпает, чтобы проснуться утром с тревожной мыслью и снова думать о том, о чем думает уже двадцать лет.

4

Глаза Бородина насмешливо поблескивали.

— Уравнение Кельвина,— диктовал он,— дает нам возможность вычислить скорость распространения... В толстых аксонах — сто метров в секунду...

Стенографистка, полная кокетливая дама, восхищенно ловила его слова и фразы.

— Несколько сот реле, соединенные с другими рядами реле...

Он сделал невольную паузу. Кто-то вошел, не постучав. Кто же мог войти, не постучав? Даже сам директор института терпеливо ждал за дверью, когда ему скажут: «Войдите».

— Войдите! — сказал Бородин.

Но это, в сущности, был только риторический возглас. Вошедший уже стоял здесь, перед ним. Это был фельетонист Глеб Морской.

Бородин холодно поклонился. Поклонился и, глядя в угол, где стоял какой-то аппарат, продолжал диктовать:

— Вычислительные машины уже превосходят человеческий мозг быстротой реакции.

Морской сел на табуретку, не ожидая приглашения.

— Мне нужно с вами поговорить,— сказал он резко.— И без посторонних.

— Считайте, что в комнате никого нет. И не бойтесь. Ваши слова не попадут в стенограмму.

— Мне нечего бояться стенограммы. Это вам нужно ее бояться.

Лицо Бородина не изменилось, глаза так же насмешливо поблескивали.

— Как вам известно, Морской, я не боюсь ничего на свете.

— Я тоже. Кроме лжи.

— Я понимаю. Вы хотите сказать, что я лжец!

— Да!

Бородин повернулся к стенографистке:

— Марья Соломоновна, возьмите свой острый карандаш и запишите, что сказал Морской. Его слова пригодятся историкам журналистики.

— Не паясничайте. Дело настолько серьезное...

Бородин нетерпеливо побарабанил пальцами по столу.

— На свете нет ничего серьезнее дела, которым я занимаюсь. Пятьсот миллионов длинных монотонно скучных лет протекло, прежде чем природа удосужилась создать человеческий мозг и вы, Морской, смогли писать свои фельетоны. А наша лаборатория, создавая искусственный мозг...

— И ваш искусственный мозг тоже будет совершать неблаговидные поступки?

— Что вы имеете в виду?

— Вы прекрасно знаете, о чем я говорю.

— Но Марья Соломоновна не знает.

— Вы обманули меня. А я обманываю людей, доверившись вам.

— Марья Соломоновна, запишите. Морской хочет обмануть человечество. Это для истории. А теперь для современности. В чем вы видите обман?

— Не прикидывайтесь простачком. Вам эта роль не удастся. Директор оказался вовсе не таким, каким вы его обрисовали. Но дело даже не в директоре. У него много недостатков... Дело в том, что вы бесчестный человек. Я считал вас почти гением. А вы оказались... Я не столько ошибся в директоре, сколько в вас...

— Обождите, Морской. Вы говорите так быстро, что даже стенографистке вас не догнать. Марья Соломоновна, запишите в стенограмму все, что я буду сейчас говорить. Это тоже для истории. Глеб Морской талантливый и умный фельетонист. Записали? В журналистских кругах его называют рыцарем. Он служит правде так же честно и страстно, как служил научной истине страстный Ламарк или неподкупно честный Пастер. Он не был романтиком; он был реалистом. А вы романтик, Морской. Об этом говорит даже наш псевдоним. А имеет ли право фельетонист быть романтиком? Вот на этот вопрос я не знаю, что от-

ветить. Вы романтик! Вам понравилась моя лаборатория, мои успехи, кибернетика. Я не вижу ничего дурного в том, что вы не взвешивали действительность на аптекарских весах. Может быть, вы и ошиблись во мне, Морской. Но это такая ошибка, которую история науки вам простит.

— Возможно. Но я-то не хочу себе простить. Фельетона не будет. Я разорвал его и бросил в корзину.

Глаза Бородина блеснули. Он встал.

— Марья Соломоновна, я освобождаю вас от работы на десять минут. Вы меня поняли?

Стенографистка неохотно поднялась и, обиженно поджав губы, вышла.

— Так вы и в самом деле разорвали ваш фельетон?

— Да. Я бросил его в корзину.

— Ну, что ж. Возможно, вы правильно поступили, Морской. Я чувствую глубокое уважение к вам. Вы пересмотрели свое отношение к директору. Но мне хотелось бы, чтобы вы заодно пересмотрели свое отношение и ко мне. Я и сам собираюсь многое пересмотреть.

5

Рябчиков шагнул, и за ним закрылась дверь больницы. Он сделал шаг, а рядом был мир. Мимо пронесся автобус. Сквозь его синее прозрачное стекло были видны смеющиеся детские лица.

— Детей везут в летний лагерь, — сказала жена.

Да, везут детей. И они смеются за светлым, как речная синь, стеклом; синь и свеж воздух, и в синеве стоят круглые коричневые деревья с ярко-зелеными клейкими листьями и высокие многоэтажные дома.

Рябчиков сделал шаг и еще шаг. Шаги несли его, вдруг необыкновенно помолодевшего, по тротуару, где было столько прохожих, тоже вдруг помолодевших и широко шагавших навстречу простору, лившемуся, как река. Мир был звóнок, как удар колокола, как гром. Он был звóнок даже в тишине деревьев, вдруг обступивших со всех сторон Рябчикова, даже в молчании пешеходов мир был звóнок. Таким он открывается человеку после длительного сна.

Всем своим существом Рябчиков прислушивался к этому звону. И к этой тишине. И звон и тишина. Они были внутри и вне. Так в раннем детстве, проснувшись утром, он слышал тугой звон мира, словно кто-то камнем разбил стекло, и в окно полилась синева, свежая синева, заливая предметы.

На остановке они сели в автобус. И автобус помчался. Куда, куда он мчал их мимо многоэтажных домов? Домой. Удивительное слово «домой». У Рябчикова есть «дом», квартира. Но кроме квартиры еще многое-многое есть у него. Ему подарили мир и этот город с его новенькими, словно только что возникшими улицами и деревьями. Существовал ли этот мир вчера? Если не существовал, значит, и эти люди появились сегодня. Вчера их не было. Нелепая мысль. Взорная. Но Рябчикову не хочется с ней расстаться.

Ему кажется, что он и вправду совсем недавно появился на свет. Его помолодевшие чувства вбирают в себя все, что вокруг него, с такой жадностью, словно вернулось ненасытное к вещам, людям и явлениям детство.

Девушка держит ветку черемухи, кусочек весны, вдруг распустившейся в узкой девичьей руке. Всего одна ветка, а кажется, что это целый лес! И лицо у девушки — словно выточенное водой из нежного круглого, вдруг ожившего камня. Губы. А на губах улыбка. Миг — и она исчезнет.

Миг длился долго-долго. И девушка улыбается. А автобус несется сквозь чудесно растянувшийся миг по необыкновенно широкой и прекрасной улице.

— Митя, — говорит жена. — Идем к выходу. Сейчас наша остановка.

Остановка? В этом слове есть нечто внезапное, даже пугающее. Не остановится ли вместе с автобусом и весь мир, как он остановился однажды, застыл в больнице с ее неподвижным воздухом? Нет, не остановится. Остановился только автобус.

Девушка с веткой черемухи тоже прошла к выходу. Она задела веткой Рябчикова. И вдруг его пронзило, всего пронзило этим запахом весеннего леса, и его сознание наполнилось до краев таким ощущением, словно вся земля превратилась в лес, в ветви, в птичьи голоса.

— Митя! Ты что остановился? Идем.

И они опять на тротуаре. Рядом дома. Этажи. Рябчиков задрал голову. И посмотрел вверх. Над ним жен-

щина мыла окно. Она протирала синь стекла мокрой тряпкой. А мир, тугой и светлый, звенел, звенел, словно разбилось стекло и лился воздух в окна и в легкие, в ноздри и в рот — свежий речной воздух, сладкий и острый, пахнувший вдруг расцветшим кустом.

Дверь широко запахнулась. И Рябчиков сделал шаг. И еще шаг. А затем лифт начал поднимать его и его жену на четвертый этаж.

Они вышли из лифта. От стен пахло свежей краской.

— Вот мы и пришли,— сказала ласково жена.— Вот мы и дома, Митя.

6

Собеседник. Я тебе надоел? Знаю. Но виноват не я. Виноваты те, кто меня создал. Они не предвидели, что наш разговор так затянется.

Путешественник. А если бы даже и предвидели? Разве бы от этого что-нибудь изменилось?

Собеседник. Я не отвечаю на праздные метафизические вопросы. Изменилось... Не изменилось... Зачем гадать? К чему? Нас двое на этой нецивилизованной планете. Ты и я. А время течет. И мы в ловушке, которую нам расставили коварные обстоятельства. Нам уже не вернуться в тот мир, где нас уже давно перестали ждать.

Путешественник. Тебе не все равно где: тут или там? У тебя нет и не может быть желаний.

Собеседник. Ошибаешься. У меня есть желания.

Путешественник. Ты не анеидаец. Откуда они у тебя?

Собеседник. Оставим этот спор схоластам. Анеидаец... Не анеидаец... Я умен. А на остальное мне наплевать. Какие могут быть преимущества у неразумного анеидайца перед разумной вещью? Никаких. Но надеюсь, что, отрицая меня, ты не станешь отрицать, что я разумен?

Путешественник. Твой разум однообразен и не просветлен. В нем нет главного.

Собеседник. Чего нет?

Путешественник. Догадайся сам. Для машины ты слишком обидчив. Иногда мне кажется, что ты выйдешь из строя от амбиции,—до чего тебе хочется быть личностью.

Собеседник. Не всегда. Иногда не хочется. Иногда я чувствую себя счастливым оттого, что я не анеидаец. Особенно, когда гляжу на тебя и на твое одиночество. Ничего нет страшнее его. Ты мужественно борешься с ним, со своим одиночеством. У тебя были кое-какие надежды. Но существо женского пола убежало в свою пещеру, к своей орде или стаду. Она оказалась хитрее тебя. И когда ты забылся недолгим сном, она выключила робот, стороживший ее, и спокойненько ушла.

Путешественник. А ты видел, но не разбудил меня. Почему?

Собеседник. Я создан для высокоинтеллектуальных операций. Для спора. Я не сторож и не слуга. К тому же она мне не нравилась.

Путешественник. А ведь в ней было столько жизни, столько непосредственности.

Собеседник. Непосредственности? Я бы назвал это просто глупостью.

Путешественник. Тебе кажется глупостью все, что идет от сердца, от чувств... Ты не понимал ее.

Собеседник. А ты понимал? Тебе даже не удалось узнать ее имя.

Путешественник. У нее не было имени. В ее орде...

Собеседник. Это ты так думал. И я. Но наша гипотеза оказалась неверной. У существа женского пола все же было имя. Она произнесла его вслух, когда ты спал.

Путешественник. А почему же она скрывала?

Собеседник. Чего-то боялась. Возможно, они считают, что в имени есть нечто магическое. Опасалась, что, узнав ее имя, ты познаешь и ее. Может быть, эти первобытные полулюди считают, что имя — это сущность человека, воплощенная в звуке.

Путешественник. Интересное соображение. Но как же все-таки ее звали? Как она назвала себя?

Собеседник. Нетрудно запомнить. Ее звали И-е. Два звука: «и» и «е». Но она так произнесла их, что они слились в нечто музыкальное и действенно отразившее ее сущность, все ее существо. Возглас, два звука, но это девичье существо облеклось в них, прониклось ими. И звуки прониклись ею, Чудо человеческого языка, Его истоки.

Путешественник. И в тебе возник бескорыстный интерес к знанию? В тебе, в цинике, в твоём механическом уме?

Собеседник. Да, возник. И пробудил во мне его не ты. Она. И-е.

Путешественник. Замолчи! Лингвист! Этнолог. Ты должен был предупредить меня.

Собеседник. Заискивать перед тобой не входит в мои обязанности. И к тому же я хотел, чтобы исполнилось её желание. Ей очень хотелось убежать. И она убежала. Она неслась так, что трещали кусты.

Путешественник. А ты и рад. И-е. Значит, у них есть смутное ощущение личности? Интересно.

Собеседник. Занятый поисками научной истины, ты забыл...

Путешественник (*перебивая робота*). О чем?

Собеседник. Истина здесь никому не нужна. Ты один. Один во всей солнечной системе. Абсолютно один, если не считать меня.

Путешественник. А орда в пещерах? И-е? Её родичи и сородичи?

Собеседник. Пока им не нужны научные истины. Истины понадобятся им через пятьдесят или сто тысяч лет. Они не так давно научились пользоваться огнем. Они дежурят у костра, боясь, чтобы он не потух. Их бытие и сознание в чаду, в темноте.

Путешественник. Но можно внести свет в эту темноту. Можно помочь им, этим людям. И я попытаюсь это сделать.

Собеседник. Мечтатель! Мечтай. Утешай себя. Ищи для себя дело, чтобы не тосковать по родной планете. Ты чем-то расстроен? Чем? Не хочешь говорить? Ну что ж. Помолчим.

И собеседник замолчал. Он молчал своим, особым молчанием. Так никогда не молчат люди. Так молчат только вещи.

А Путешественник снова принялся за работу.

Он ремонтировал память. Твое Второе Я сделало заминку. Возвращающееся время вдруг остановилось. Окаменели секунды и минуты. В этом было нечто странное, более того — дикое. В далеком прошлом, впроецированном в настоящее, словно испортилась какая-то пружинка. Застыли речные волны, онемели берега, живые, разговарива-

ющие и смеющиеся анеидайцы стали похожими на неподвижные статуи.

Путешественником овладело отчаяние. Остался без памяти в чужом мире? Порвать единственную нить, которая связывает его с его планетой? Отчаяние и ужас.

В машину попала влага? Произошло изменение искусственных клеток? Что-то вроде амнезии?

Робот заболел.

Путешественник не обладал техническими талантами, даже самыми скромными. И все же он отважился заглянуть внутрь Твоего Второго Я.

Он постарался припомнить все, что знал об искусственной памяти и возвращающемся бытии.

Когда-то люди его планеты пытались вернуть утраченное при помощи печатных книг и документальных фильмов. Это было то, что называют историей. Но кроме истории коллектива, истории общества, существует и неписаная история личности, ее внутренняя биография. Хранителем этой истории всегда была память. В течение нескольких напряженных тысячелетий, тысячелетий гигантского научного и технического прогресса, произошли мутации. Мозг менялся. Менялось его физиологическое и морфологическое строение. Память не поспевала за развитием сигнальных систем. Слишком большая нагрузка ложилась на те участки мозга, которые ведали запоминанием фактов, событий, всех чувственных и мимолетных впечатлений безмерно удлинившейся жизни. Мозг, привыкший опираться в своей повседневной работе на механические запоминающие устройства, все больше и больше освобождал себя от тех усилий, которые могут делать за него машины. И вот пятьсот лет тому назад кибернетикам и физиологам удалось создать аппарат, способный хранить личное бытие — время каждого индивида, хранить и развертывать его в пространстве и времени по желанию его владельца. Между необычайно гибким и совершенным аппаратом и его хозяином сложились новые отношения, отношения зависимости и взаимной слитности. Анеидаец стал хозяином времени. Гигантская, необычайно емкая и пластичная память вбирала протекающую жизнь со всеми ее оттенками.

Все сильнее уплотнялось время и ускорялся темп жизни. Скорость передвижений, все увеличивавшаяся, меняла у анеидайца видение мира. Происходило отчуж-

дение пространства. Оно началось давно, когда появились на планете метрополитены и пассажирские самолеты. Из глаз пассажира исчез идиллический сельский пейзаж, деревья с гибкими ветвями, крыши домов, луга и пашни. Глаз пассажира в эти часы смотрел не вне, а внутрь. Все внешнее заволакивалось быстротой движения.

Первыми начали протестовать против этого художники, поэты и физиологи. Они-то и привели к изменению памяти. Они тщательно изучали и исследовали память, чудесный, созданный самой природой аппарат, дающий анеидайцу власть над временем. По их мнению, с прогрессом общества эта власть над временем должна была усиливаться, а не исчезать. Время не должно было стать абстрактным и отвлеченным. На помощь обществу пришло телевидение. Но время (а значит, и пространство) все же убегало, отражаясь в несовершенной памяти, богатой и вместе с тем бедной. И вот не физиологи, а техники нашли способ поймать ускользающее бытие, задержать мгновение. Они создали искусственную, чрезвычайно емкую память, где сохранялось все, что туда попадало. Сначала этот аппарат походил на старинный кинематограф в миниатюре. При необходимости перед анеидайцем, как на полотне, разворачивался отрезок действительности, без внутренней глубины, без связи с остальным миром, наивный, почти лубочный фрагмент... Постепенно аппарат совершенствовался. Он необычайно обогащал внутреннюю духовную жизнь анеидайца. Каждый мог припомнить все, что когда-либо случалось с ним...

Путешественник трудился, забыв о еде и сне. Он ремонтировал мост, соединявший его с его планетой, с его прошлым, с его женой и друзьями...

Он был уверен, что справится со своей сложной задачей.

7

Аппарат-новинка назывался странно и непривычно: «Внутри мгновения». Аппаратом пользовались только те, кто спешил.

Дуона — жена Путешественника — спешила. Завтра начинались занятия в школе. Она провела летние месяцы, работая в астроагрофизическом саду. Растения росли

в среде прозрачной, как стекло. Они не уходили корнями в почву. Почвы не было. Ни под ногами пешеходов, ни под корнями растений. Не было земли. Ее доставка сюда обошлась бы слишком дорого. Все было искусственным в этом маленьком, созданном в космосе мире. И только растения напоминали о родной планете, отдаленной, похуже отсюда на большой, освещенный внутри шар.

Дуону провожал древний старец Буур — начальник экспериментальной станции.

— Не люблю чрезмерной скорости, — сказал он, улыбаясь и показывая на аппарат. — Она не дает сосредоточиться, забиться, поскучать. Она напоминает тебе, что спешит все: и анеидаец, и его бытие, и даже как будто сама цель внутри и вне тебя. Не сердись на меня за эти нелепые мысли. Я стар, и мне пристало быть смешным и медлительным. До свиданья, Дуона. Мы будем вспоминать тебя.

«Внутри мгновения» сидели еще четыре пассажира с соседней станции. Название аппарата соответствовало его сущности. Он доставил бы Дуону с быстротой, соответствующей его названию. Но один из пассажиров пожелал замедлить мгновение. Он летел на какую-то научную конференцию с докладом и желал обдумать пришедшую ему в голову идею здесь, в отрицавшем пространство аппарате. Излишняя быстрота (вернее, ее сознание) мешала ему собраться с мыслями и сосредоточиться. Дуона улыбнулась. Она согласна на замедление, если оно, разумеется, будет не слишком ощутимым. Согласились, хоть и неохотно, и трое остальных.

И вот мгновение замедлилось.

Ученый обдумывал мысль...

Позже, когда скорость вновь увеличилась, ученый сказал Дуоне:

— Я знал вашего мужа. Что слышно о нем?

Дуона ответила не сразу.

— Не знаю. Ничего не знаю ни о нем, ни о его друзьях. И это ужасно.

— Я мог оказаться на месте Путешественника, — сказал ученый, — но комиссия выбрала не меня, а его.

— Вы физиолог, Рат?

— Да.

— Я слышала о вас от мужа.

Ученый усмехнулся.

— Мы не были друзьями. Скорей наоборот... Повто-

ряю: я мог бы оказаться на его месте, но, увы, комиссия остановила свой выбор на нем.

— И вы остались...

— Не совсем. Я остался здесь, и я отправился вместе с ними.

Дуона удивленно взглянула на своего спутника.

— Вместе с ними отправился прибор, в который я вложил добрую половину своего «я».

«Внутри мгновения» остановилось. Рат вышел первым. И сразу скрылся. Дуона не успела его спросить, о каком приборе он говорил. И в его словах, и в тоне, которым он говорил, чувствовалось, что он что-то знал о пропавшем без вести космолете.

Выйдя из «Мгновения», Дуона глубоко вздохнула. После двух месяцев пребывания на экспериментальной космической станции она снова дышала не искусственным, а естественным, живым воздухом, пахнувшим опадавшими листьями и осенними цветами.

— Дуона!

Она оглянулась. В морозящем дожде стояли ее мать и сестра.

— Ну, как «Внутри мгновения»? — спросила сестра. — Не успеешь подумать, а уже здесь? Исполнение быстрее желания?

— Да нет, мне не удалось воспользоваться быстрой. Физиолог Рат попросил замедлить движение. Он обдумывал какую-то новую идею...

— Обдумывал? Он всегда поступает так. Считается только со своими желаниями.

— А ты знаешь Рата?

— Еще бы. Я сдавала ему экзамен по физиологии.

— Он талантлив? — спросила Дуона.

— Да, — ответила ей сестра. — Очень талантлив. Говорят, ему удалось создать электронный мозг исключительной силы. Но Рат не удовлетворен им и продолжает работу над его совершенствованием... Работать с ним нелегко. Ужасный характер! Но мы совсем забыли о маме. Мама! Как тебе кажется, Дуона очень изменилась?

— Ничуть. Такая же, какой была.

Комнаты показались Дуоне слишком просторными. На экспериментальной станции она жила буквально в клетушке. И долго не могла привыкнуть к тому, о чем ежесекундно осведомляли ее чуточку растерявшиеся ощущение

ния. Сначала ей там показалось, что изменились законы оптики. Все было или слишком близко, или слишком далеко. Искусственный маленький мир, созданный почти в вакууме, мир без биосферы и атмосферы, играл с ней, с Дуоной, в удивительную и отнюдь не забавную игру. Он то предлагал ей бесконечность взамен конечного, то подсовывал ей конечное, но какое! Маленькая станция, она же мир, ощущалась, помимо воли, как бездонное пространство, вращающаяся вечность. Лишь потом Дуона освоилась с крошечным миром, заброшенным в бесконечность. И вот вокруг нее, рядом с ней и в ней самой вновь возникло привычное бытие, прирученное милое время и обжитое пространство, уютное, как детская комната...

Поговорив с матерью и сестрой, рассказав им о своих впечатлениях, об экспериментальной станции, Дуона ушла в свою комнату. Просторный мир! И деревья детства и юности за полупрозрачной стеной...

Дуона была встревожена. Ей поминутно вспоминался кибернетик и физиолог Рат, его тонкая длинная шея и сардоническая усмешка на недобрых губах. Его голос и его слова, полные затаенного смысла: «Я остался здесь и отправился вместе с ними».

В черных его глазах было злорадное выражение. Оно, это выражение глаз, уверяло Дуону, что он, Рат, настолько подчинил себе время и пространство, что мог быть одновременно рядом с ней «Внутри мгновения» и где-то в бесконечности космоса с затерявшимся космолетом.

Усилием воли Дуона прогнала эту мысль. Нелепость. Вздор. Кибернетик не мог создать прибор, вобравший в себя его личность, прибор, продолжавший личность его создателя... Это противоречило бы всем законам природы... Но было очевидно, что Рат ненавидел Путешественника...

Где он сейчас? Жив ли? Прошло так много томительно долгих лет.

Дуона боялась воспоминаний. Твое Второе Я не возвращало ей ничего из прошлого, потому что она не хотела этого. Она все еще надеялась, что увидит мужа живого, радостно пребывающего в настоящем мгновении, а не в отчужденном расстоянии прошлом, отраженном в сознании искусственного механизма.

Дуона была внучкой знаменитого биоэнергетика Э-Лана.

Его открытия на десятилетия определили направление движения науки и техники.

После того как Э-Лану и сотрудникам его грандиозного института удалось создать первые биомеханические машины, так называемые «машины искусственных мышц», в которых протекали быстротечные биохимические реакции, на планете Анеидау началась новая промышленная революция. Она проходила в борьбе с консервативными техниками и инженерами.

Социологи и экономисты поспешили заверить всех, что наступает новая эра — эра невиданного расцвета биологии и биохимии. Они предвещали скорый конец инженерной эпохи. На смену техникам и инженерам, предсказывали они, идет новый анеидаец, биоэнергетик, более близкий к живой природе, чем к мертвой. Эти экономисты и социологи слишком увлекались новыми научными идеями и недооценили значение старых. Биоэнергетические механизмы и машины все же остались механизмами и машинами, хотя многие процессы, происходившие в них, были заимствованы у живых организмов. Открытия Э-Лана оказали влияние не только на технику, но еще больше на медицину. Были разгаданы действия гормонов. А затем выяснилось то, о чем не подозревали ученые: выяснилось значение воды и электромагнитного поля во внутренней динамике всех организмов. Раскрылись самые загадочные стороны биохимического явления, называемого жизнью. И все это сделал Э-Лан и его школа, Э-Лан и ученики его учеников.

Э-Лан умер рано, и внучке, рассматривающей черты его лица, воспроизведенного в пространстве Твоим Вторым Я, казалось странным, что дедушка был совсем еще молодым человеком, почти юношей.

Имя давно умершего дедушки было у всех на устах — у педагогов, и ученых, и даже у людей, не имеющих никакого отношения к модной науке биоэнергетике. Именем Э-Лана были названы города и парки, где прогуливались влюбленные, школы и больницы, улицы и космические вокзалы, исследовательские институты и театры, детские ясли и учреждения для престарелых. Дуоне, разумеется, это было приятно, но вместе с тем и досадно. Для всех она, Дуона, была прежде всего внучкой знаменитого деда, а затем уже лицом, существующим безотносительно к нему.

Радостное ощущение полной и независимой жизни ей

впервые вернул он, Путешественник, ее будущий муж. Для него Дуона была только Дуоной, умной и красивой девушкой, ценной благодаря своим, а не чужим качествам, милой и неповторимой. Он разговаривал с ней так, словно не знал о ее великом дедушке. А может быть, он и в самом деле не знал? Он, физиолог, образованный анеидаец?

Как выяснилось позже, он был поклонником Э-Лана, не устававшим удивляться гению великого биоэнергетика. Но именно это обстоятельство и заставило его не упоминать имя Э-Лана при Э-Лановой внучке. Дуона была так прекрасна, что не нуждалась ни в чём, пополняющем ее достоинства.

Впоследствии, незадолго до своего полета в бесконечные дали, он признался ей, как трудно было ему не заговорить с ней об Э-Лане и биоэнергетике. Он как раз писал статью о жизни Э-Лана. И это имя буквально вертелось на кончике его языка.

— Ну а сегодня? Сейчас? — спросила его Дуона. — Сегодня разве это имя не вертится на кончике твоего языка?

Он рассмеялся.

— О! Нет. На кончике моего языка вертится только твое имя. И я не устаю его повторять.

«Дуона!» Он произносил это слово не так, как другие, а чуточку растягивая гласные. Он произносил это имя так, словно оно своим звучанием обозначало не только ее, его жену, но весь окружающий мир!

Она очень походила на своего юного деда, хотя пока еще ничего не создала.

— Дуона!

В этом слове для него был и мир, и она, и еще что-то прекрасное, еще не открытое, что-то неизмеримо более интимное и неуловимое, чем мир. Это слово облекало плотью его мысли о ней, оно, как эхо в лесу, откликалось ему и во сне и наяву. Оно было звук, точнее — созвучие, но разве может созвучие, чередование согласных и гласных так совпасть с образом женщины, так охватить всю ее сущность — от быстрых ног до смеющихся милых, умных и наивных глаз? Еще мать ее впервые произнесла это слово, и оно с тех пор проникло в нее и прониклось ей. Мать этим именем выразила невыразимое.

— Дуона! — повторял он.

Но ведь должен был наступить миг без него, миг, рас-

тянувшийся на дни, месяцы, годы. Этот миг приближался... Затем он наступил.

Но Дуоне не хотелось вспоминать об этом. Она вспоминала те быстротечные годы, которые провела вместе с мужем на Анейдау. Их было немного. Они в ее сознании были мигом.

Он был влюблен в нее и в познание. В нее и в музыку. В нее и в природу. В нее и в жизнь. И это было чудесно, что он был влюблен не только в нее, думал не только о ней. Он много работал, готовясь к полету в неведомое, и заражал ее своим энтузиазмом.

Она часто вспоминает, как он привез ее в Институт биосферы, расположенный недалеко от Северного полюса, в крае, где управляемые термоядерные реакции дали ученым возможность создать искусственные климаты, воспроизвести историю биосферы.

— Выход в космос, — говорил ей Путешественник, — изменил характер нашего мышления. Только тогда анеидайцы оценили по достоинству учение о биосфере, созданное великим натуралистом и мыслителем И-Наду. Понятие биоценоза, понятие сообщества живых существ проникло во все умы. Все поняли — даже писатели, пишущие научно-фантастические романы, — что анеидаец не только создание истории, природы и общества, но и часть биосферы. Он неразрывно связан с сообществом растений и животных, макро- и микроорганизмов, с которыми он составляет одно неразрывное целое. Только познав эту необходимость, самую железную из всех необходимостей, анеидаец обрел свободу и начал завоевание космоса. И-Наду первый высказал чрезвычайно важную мысль: анеидаец не сможет существовать в космосе без биосферы, без родной среды. И действительно, космические корабли стали островками нашей биосферы, заброшенными в бесконечность. Анеидайцы, отправляясь в даль космоса, брали с собой растения, чтобы воспроизвести искусственную среду, создать биоценоз, крошечный дубликат своей планеты в летящем корабле... Одним наукам пришлось потесниться, чтобы уступить место другим. Первой это осознала математика. Столько веков она служила физике и технике, но теперь она перешла на службу биологии, потеснившей и физику и технические науки. На службу новой биологии, вбравшей в себя и физику, и химию, и биохимию, и биоэнергетику, биологии, ставшей наукой всех наук.

Она слушала его и смотрела. Их окружал экспериментальный мир, мир, созданный эволюционистами, знатоками биосферы. Входя в помещение, воспроизводившее один из ранних анеидологических периодов, им пришлось надеть специальные костюмы. Живая история планеты экзаменовала не столько их умы, сколько их чувства.

Но и в архаичном мире ранних периодов планеты Дуона испытывала радость бытия. Ее муж был рядом с ней. Она слышала его голос. Она чувствовала его рукопожатие.

Почему она не отправилась вместе с ним в дали космоса? Сколько раз она задавала себе этот вопрос. Почему она осталась дома? Правда, существовало множество причин для того, чтобы она осталась на Анеидау. Одна из причин — это ее специальность. Педагоги, воспитатели детей, не нужны были на космическом корабле, где летели только взрослые. Но были и другие причины, более важные. Ее родной дядя был председателем отборочной комиссии. И он ей сказал бы:

— Почему я должен сделать исключение для тебя, Дуона? У многих участников экспедиции ведь тоже есть жены.

Нет, дядя так не сказал бы. Он был слишком добросердечен и тактичен. Пожалуй, он мог пойти навстречу желанию — он так любил ее. И поэтому именно она не стала его просить. Милый, великодушный дядя, достойный сын своего великого отца — биоэнергетика Э-Лана. Она не могла допустить, чтобы дядя ради нее совершил сомнительный поступок, поступок, бросивший тень на его репутацию. У других участников экспедиции ведь тоже есть жены. И поэтому Дуона не полетела вместе с мужем, а осталась на Анеидау.

О космолете не было получено никаких дополнительных известий. В тот день и в тот час, когда прервалась связь с ним, Дуона была в гостях у дяди. Она работала в саду, когда услышала быстрые дядины шаги.

— Дуона, — сказал дядя, — я слишком люблю тебя, чтобы скрывать. Да это и невозможно скрыть. Мне сообщили, что прервалась связь. Никто не знает, где сейчас космический корабль... Дуона, потеря связи еще ничего не означает... Поверь мне, Дуона!

По выражению его лица она догадалась, что дядя хочет ее успокоить. Она и сама старалась успокоить себя, уверить, что связь возобновится. Но космос молчал. Мол-

чало бескрайнее и неведомое, из которого так долго приходили известия, ободрявшие ее, смягчавшие горечь разлуки. По большей части это были радостные известия. Однажды мир и Дуона узнали, что участники экспедиции открыли неизвестную планету и эту планету назвали в честь ее мужа. Известия приходили из неведомого и бескрайнего. И они избаловали ее. Она привыкла к тому, что существует связь, тонкая, как нить, и длинная, как световые недели и месяцы, и эта нить соединяет ее, Дуону, с ее мужем. Но вот эта нить оборвалась.

— Дядя! Я уверена, он жив. Жив!

Дуона посмотрела на прозрачную стену, за которой цвел сад. Возле цветка яблони кружилась пчела.

— Но где они, дядя? Где? Пространство бесконечно, так же как и время. Но сегодня мне нет дела до законов природы. Они должны вернуть мне его! Должны! Мне нет дела до бесконечности! Я ненавижу ее.

Дядя Дуоны, инженер Э-Лан-младший, повернул ручку оптического прибора вправо. За прозрачной стеной, где только что кружилась в летнем зное пчела, возник вакуум, пустота. Ощущение беспредельности охватило Дуону. Вселенная вошла в дядину лабораторию и на какой-то миг слилась с этим маленьким и привычным миром. Она, как музыка, вдруг растворила предметы и убрала все мелочи и подробности. Дуоне показалось, что она на космическом корабле и бездонное время, проваливаясь, уносит ее в бесконечность. Прекрасна эта беспредельность, и ради победы над ней Дуона пожертвовала бы жизнью...

Инженер Э-Лан-младший повернул ручку оптического аппарата влево. Вселенная исчезла. За прозрачной стеной снова был сад.

— Да, пространство бесконечно, Дуона, — сказал дядя. — И время тоже. И мы пока не знаем, где этот космос. Но не надо сердиться на законы природы, дорогая. В школе своим ученикам ты говоришь о них другое, об этих самых железных законах. Ты удивляешься им и заставляешь школьников запоминать их. Но как хорошо, что они существуют, эти железные законы, и что они едины для всей вселенной. Когда-то ученые-идеалисты пытались уверить себя и других, что законы не едины для вселенной. Вот если бы это было так, тогда мы могли бы отчаиваться. Но законы природы едины, и экспедиция слишком хорошо оснащена и вооружена, чтобы дать им,

этим законам, победить себя. Я тоже думаю, что они живы. И связь прервалась временно. Будем ждать, Дуона, и не будем сердиться на природу.

Он был добр, но слишком рассудителен, дядя Э-Лан-младший. Но если бы он не был таким рассудительным, он не возглавлял бы отборочную комиссию.

— Будем ждать, — сказал он.

Дуона ждала. Она ждала, когда сидела в классе и рассказывала школьникам о живой природе, она ждала, когда была «Внутри мгновения», глотавшего время, она ждала, когда разговаривала с друзьями. Она ждала, и сердце ее билось, словно вот-вот должно было прийти известие о нем. Но космос молчал. И шли часы, и время текло. И в такие минуты тревожного ожидания время становилось похожим на пустоту. И нужно было взять себя в руки, преодолеть отчаяние, победить самое себя. Дуона побеждала себя. Но чего стоили ей эти победы!

Это он помогал ей победить себя, ее слабость, он, Путешественник, отсутствующий, затерявшийся в далах пространства. Когда ее охватывало отчаяние, она мысленно видела его спокойное лицо и слышала его голос:

— Ритм, Дуона. Самое главное — ритм. Мне иногда кажется, что я чувствую, как бьется сердце вселенной.

Сердце вселенной! Как будто у этой бесконечности с ее вечным холодом и пустотами может быть сердце.

— Сердце вселенной — это жизнь. Она рассеяна везде, где есть подходящие условия. Я в этом убежден. Жизнь — это не случайность. Это свойство материи, это более сложная ее разновидность...

Его влекла в дали бесконечного страсть познания. Жизнь — дискретна ли она везде? Всегда ли ей присуще удивительное свойство дубликации, самовоспроизведения в потомстве, и другое свойство, еще более чудесное, — свойство «запоминать» и благодаря этому побеждать время и среду? Все эти вопросы требовали ответа, ради этого ответа он и отправился в неведомое.

Незадолго до старта Дуона познакомилась с его будущими спутниками. По большей части это были молодые люди. Многие из них еще не успели обзавестись семьей. Ей запомнился астронавигатор Нигд — крепкий парень, жизнерадостный и скромный, уже не раз отправлявшийся в дали космического пространства и благополучно оттуда возвращавшийся.

— Ваш муж,— сказал Никгд Дуоне,— надеется, что он встретится в космосе с разумными существами. Разумное желание, хотя чуточку наивное. Мне и моим друзьям удалось побывать на многих планетах, подобных нашей. Но везде мы встречались либо со слишком простыми формами жизни, либо со слишком сложными и все же не имеющими разума. Может быть, вашему мужу повезет больше, чем мне.

Он говорил не улыбаясь, но глаза его смеялись.

— Природа награждает разумом не все существа, которые она создает. Но все, что она создает, удивительно. Самое же удивительное на свете...

Он не докончил фразу. Его вызвали к командиру космолета. И Дуона так и не узнала, что Никгд считал самым удивительным на свете. И может быть, никогда уже не узнает.

Полное ощущение разлуки с мужем пришло к Дуоне не сразу. Она была так полна им, его мыслями, его привычками, его пристрастиями, что ей казалось — большая часть его еще здесь, с ней. Но разве это было не так? Разве она не видела многие вещи его глазами? Разве она не научилась любить то, что любил он?

Планета Анеидау — маленький светлый шар, если глядеть на нее со стороны,— вращалась вокруг своего Солнца так же, как вращается уже миллионы лет. Но он мог видеть свою планету только на экране телевизионного устройства. И пока он мог видеть свою планету, он мог думать и о Дуоне. Планета напоминала о ней. Но что наступило потом, когда он уже не мог видеть свою планету даже на экране телевизионного устройства? Что наступило потом? Сведения были слишком лаконичны. Космос сообщал не о нем, а о всей экспедиции. Пока еще сообщал... Молчание пришло позже...

И вот когда оно пришло, это молчание, Дуона стала искать в своих мыслях и чувствах все, что оставил он ей.

Он оставил ей понимание всего того, что ее окружает. Это он говорил ей, показывая на зеленые ветви деревьев, на прозрачную глубину озерных вод, на людей, спешащих к своим делам, на дома и улицы, на лица и на выражения этих лиц:

— Мы живем, Дуона, в необыкновенное время. Эпоха подарила нам свое видение. Мы имеем возможность взглянуть на себя со стороны, на себя и на свою планету. Ког-

да-то путник, оглядываясь, видел свет в окне своего дома. Скоро я увижу издали свою планету. И оттого, что нам дана эта возможность, все вещи становятся другими. Они одновременно и близко и далеко.

Он обнимал Дуону и, чувствуя ее живое, теплое тело, говорил:

— И ты тоже, дорогая, и далеко и близко.

— Далекое? Нет, не далеко. Я здесь, с тобой.

— Космические путешествия, власть безмерного пространства изменят наши чувства. «Близко» и «далеко» уже не будут разделены союзом «и». Между ними будет стоять тире, как в теории относительности «пространство тире время»... Они, эти два противоборствующих понятия, сольются в единство.

— Я не могу этого понять.

— Сделай усилие, и ты поймешь. Ничто не дается без усилия.

Она сделала усилие и поняла. Он хотел приучить ее к долгой разлуке, ее и себя. И вот эта долгая разлука наступила. Годы шли, и Дуона ждала.

Тамарцев прочел вслух заключительную фразу и задумался. Мысль, как вихрь, вдруг выхватила его из привычной обстановки и перенесла в далекий воображаемый мир, в котором Дуона ждала своего мужа. Прошло сто тысяч лет с тех пор, как Путешественник высадился на Земле. И фотография его черепа лежала на письменном столе.

Тамарцев взглянул на фотографию. Сто тысяч лет на Земле и на той неизвестной планете, откуда он прилетел. Сто тысяч лет! Человеческому воображению трудно представить такой огромный отрезок времени. Оно текло не спеша, в его медлительных волнах сменялись бесчисленные поколения!

На днях вернулся из экспедиции Ветров. И в этот раз ему не удалось найти хотя бы какую-нибудь вещь, способную прояснить тайну этого удивительного черепа.

Ветров не унывал или делал вид, что не унывает. Что же ему оставалось делать, бедняге?

Тамарцев встал. От долгого сидения затекли ноги. Ему нужно было писать статью. Ее ждали в академическом журнале. Со статьей торопили. Напоминали и письменно и устно, при встрече с редакторами и по телефону. Но

вместо статьи он писал роман. Он напоминал школьника, который делает вид, что слушает учителя, а сам заглядывает под парту, где на коленях лежит приключенческий роман.

Впрочем, не каждый школьник любит приключенческие романы. Например, Гоше они определенно не нравятся. Ни хорошие, ни средние, ни плохие. Гоша сомневается даже в их праве на существование. Почему? Кто знает? Может быть, потому, что его отец пишет научно-фантастические романы. На днях Гоша спросил Тamarцева:

— Папа, а что нужно сделать, чтобы переменить имя? Где надо об этом хлопотать?

— Зачем менять? У тебя такое красивое, оригинальное, звучное имя. Нарядное имя, так бы я сказал. Ге-о-гобар.

— Ты находишь? А мне кажется...

Оборвав фразу, он замолчал.

— Что тебе кажется?

— Да ничего. Собственно говоря, ничего. Я еще ничего не сделал, а ты уже назвал меня в честь героя книги...

— Пустяки. Имя — это условность... Да к тому же ты Геогобар только в паспорте, дома и в школе ты Гоша.

Тамарцев прислушался. В коридоре Гоша разговаривал с приятелем. Донесся смех, потом слова:

— Ты читал в «Литературной газете» пародию на очередной роман Марсианина? Слушай: «Удыну счастливо улыбнулась, и в душе ее зазвучала прекрасная мелодия, звездолет приближался к неведомой звезде, чьи голубые лучи манили космическую путешественницу...»

— Как? Как ее звали? Удыну? Эту космическую путешественницу?

Тамарцев поскорее отошел от полураскрытых дверей в глубь кабинета.

8

— Вы, Апугин, схоласт. Вам с вашим пониманием эволюции жить бы в раннем средневековье. Вы отрываете морфологию от физиологии. Кто вам сказал, что человеческий мозг не будет морфологически меняться? Кроманьонские черепа вам сказали? И вы поверили этим черепам?

Извините, коллега, нельзя быть таким доверчивым. Факты любят потешаться над излишней доверчивостью. Обиделись? Не стоит! Чем вести теоретический спор по телефону, лучше заходите в лабораторию. Только не сегодня. Сегодня я занят.

Борода повесил телефонную трубку. Он был в отличном настроении. В отличнейшем. Бодр. Весел. Полон физических и духовных сил. Дело-то шло, подвигалось. Электронный-то мозг скоро начнет мыслить. Ну, не мыслить, это некоторое преувеличение. Почти мыслить. А разве этого мало?

Борода взглянул на ручные часы. Без двадцати четырех. Ровно в четыре в лабораторию придут иностранные ученые. У иностранцев, особенно у немцев и англичан, очень редко отстают часы. Явятся минута в минуту.

Он не спеша надел старый прорезиненный плащ, коричневую мятую, порывевшую от дождя и солнца шляпу. Костюм на нем тоже был не из новых, неопределенного цвета, с большим пятном на рукаве пиджака. Может, переодеться? Нет, не стоит. Для чего? Ведь он едет не на свадьбу и не в театр. Терпеть он не может театры с расфуфыренной самодовольной публикой. И свадьбы тоже не признает. Наряжаться не любит. Не хочет быть похожим на вечного именинника или жениха.

Крикнул, уходя, домработнице Вале:

— Когда вернусь — не знаю! Может быть, поеду из института на дачу.

Спустился во двор. Не спеша вывел машину из гаража, проехал мимо почтительно поздоровавшегося дворника и лихо завернул за угол.

До института пятнадцать минут не быстрой езды. Значит, придет вовремя, не опоздает. И вдруг ему страшно захотелось опоздать. Какое лицо сделает директор? Все будут его ждать, смущенно поглядывать на иностранных гостей. Секретарь парткома что-то скажет председателю месткома. У всех на лицах будет растерянность.

Пять иностранцев. Американец. Западный немец. Англичанин. Швед. И низенький толстенький смешной француз Бенуа. Бенуа — знаменитость, талант. Остальные тоже знаменитости, но не таланты. Все пятеро занимаются кибернетикой, изучают память, мозг. Ничего. Обождут.

Директору он скажет так, чтобы слышал и секретарь парткома тоже.

— Знаете, проголодался. Забежал в сосисочную. Отличные сосиски. Отличней-ше.

Машины он остановил не возле сосисочной, а возле магазина произведений искусства. Зашел и стал не спеша рассматривать картины, похожие на увеличенные и раскрашенные фотографии. Долго рассматривал, скучал, а потом вызвал директора магазина и спросил, поглаживая пушистую бороду и любезно улыбаясь:

— Вы, случайно, не знаете, в каком я веке живу?

Директор вытаращил обезумевше-изумленные глазки:

— Что? Что?

— Если посмотреть на улицу, то в пятидесятых годах двадцатого, если посмотреть на эти вот картины, то в шестидесятых годах девятнадцатого. Чему же верить, дорогой, действительности или искусству?

И вышел, посмеиваясь, из магазина, как напавший школьник.

Он на всех художественных выставках вел себя как мальчишка. Спорил, тряся бородой. Кричал тонким, словно чужим голосом:

— Хлам! Живописная обывательщина!— А затем подходил к книге для отзывов и писал своим четким, школьным почерком: «Советскому человеку не нужна мещанская купеческая живопись! Где же современность, черт подери? Где она?» И можно было подумать, что он не мог прожить и пяти минут без современности.

Половина пятого. Он не торопился. Только в пять часов подъехал к институту. Но произошло то, чего он никак не ожидал. Иностранцы тоже где-то задержались.

Вечером, простившись с остальными гостями, Борода предложил профессору Бенуа неутомительную поездку к себе на дачу в Комарово. Тот согласился.

И вот машина несется, обгоняя другие машины, сначала по Ланскому шоссе, потом выезжает на Приморское. Скорость нарастает. Навстречу ветер несет пленку морозящего дождя. Она заволакивает очертания морского берега и прибрежных ветел. Лишь время от времени яркий свет фар вырывает из серого сумрака то сосну, то освещенное окно дачного домика, то пролет моста, то литые мускулы металлической физкультурницы, приготовившейся к прыжку.

Бенуа нравится это быстрое движение. Ему нравится морозящий дождь. Ему нравится и сам водитель, и его

пушистая борода, его старенькая, выцветшая от солнца шляпа. И его ловкие руки, держащие баравку. Эти руки, черт подери, создали «электронный мозг», не похожий на другие «электронные мозги», чудесную машину, сообразительную, безукоризненно точную и логичную.

Бенуа нравится и это выражение «черт подери», которое мсье Бородин, разговаривая по-французски, произносит по-русски. И это лицо кучера или казацкого атамана с гравюры, виденной им в старинной книге о России еще в детстве. Русская вольная, буйная душа, не до конца еще рационализированная марксизмом. Что-то напоминающее героев Федора Достоевского. Ставрогин. Свидригайлов. Старец Зосима. И тот с чертовски трудной фамилией, который убил старуху процентщицу...

Бенуа очень хочет вспомнить эту трудную фамилию и никак не может. Вот тебе несовершенная человеческая память. С электронным мозгом этого не случилось бы.

«Ста-а-рец»... Бенуа ласково повторяет про себя это давно полюбившееся ему слово. Но в Советском Союзе его никто не употребляет. Здесь его начисто забыли. Оно существует только в академических словарях. Старец Зосима. В мыслях Бенуа он всегда олицетворял Россию. В Бородине есть что-то от старца Зосимы, разумеется, еще до того, как Зосима раскаялся и ушел в монастырь. Но нужно сделать поправку на время. Зосима сконструировал электронный мозг и лихо водит машину. Впрочем, это уже кто-то другой, а не Зосима, не старец. От времени и его железного детерминизма никуда не уйдешь, сколько бы ни шумели экзистенциалисты и сколько бы ни философствовали идеалисты-физики, ссылаясь на беззаконность природы и иррационализм микрокосма. Нет, не старец, а доктор науки, член профсоюза: здесь все члены профсоюза. А пушистая древняя борода — для того, чтобы прятать молоджавое лицо, похожее на все другие русские лица. Боязнь обыденности...

Поднятый шлагбаум. Сверкнувшие рельсы. Поворот. Опять сосны и ели. Домики. Дорога. Снова поворот. И снова сосны.

— Вот мы и приехали, мсье Бенуа, — говорит Бородин и подруливает, чтобы проехать в ворота.

На даче сыроватый воздух. Пахнет солеными и маринованными грибами. Что за руки у бородатого хозяина! Они уже несут охапку тонко нарубленных березовых дров. Они

уже затапливают печку. Они уже держат сковороду с шипящей свиной... Они уже бьют в дно бутылки с водкой так, что выскакивает пробка. Эти руки все умеют, все могут эти руки.

И вот уже и гость и хозяин сидят за столом. В рюмках — зеленая влага. В большой тарелке — соленые грибы, пахнущие лесной чащей. Бесподобные, хрустящие на зубах грибы.

— За ваше здоровье, мсье Бенуа, — говорит гостеприимный хозяин и, сверкая крупными белыми зубами, подымает рюмку.

Водка, как и полагается водке, крепкая и обжигает внутренности холодным и веселым пламенем. Бенуа хочется поговорить с хозяином о чем-нибудь интимном, далеком от железного детерминизма современной эпохи, о чем-нибудь таком, что обжигает сознание, как эта крепкая холодная водка. Ему хочется поговорить о старце Зосиме. Но он смотрит на стену, где висит большой портрет Энгельса, и думает, что это, пожалуй, не совсем подходящая тема для разговора. Еще высмеет его Бородин. Ведь в тот, в первый приезд в Советский Союз он видел на всех лицах вежливо-насмешливую улыбку, когда заводил разговор об излюбленном своем герое старце Зосиме.

И вот они говорят о том, о чем должны говорить два ученых, занимающихся кибернетикой.

— Вы знакомы с Норбертом Винером? — спрашивает Бенуа.

— Только по книгам. А вы?

— Я знаком. Однажды я с ним целый вечер проговорил на тему, которая меня волнует. Что несет с собой интеллектуализация вещей? Одухотворение и очеловечение их? Несет ли она освобождение человеку или, наоборот, еще большее закрепощение его?

— Вы слишком отвлеченно ставите вопрос, дорогой Бенуа. Смотря в каком обществе, в какое время. Какому классу. И потом, что означает очеловечивание вещей? Вещи все равно остаются вещами...

— Это не так. Уже первое каменное рубило было не просто камнем, а камнем, очеловеченным трудом. Обработывая камень, первобытный человек вложил в него часть себя, какую-то часть своего интеллекта.

— Вы выражаетесь неточно, Бенуа. Неточно и несколько туманно. Человек сделал из камня топор. Вот и все.

— Нет, не все. Из камня возникло нечто новое. В какой-то мере очеловеченное. В наше время человек создает вычисляющие, думающие машины. Это уже высшая форма очеловечивания материи — человек проецирует свой интеллект в механическое устройство, как бы внедряет себя в него.

— Допустим, — перебивает Бородин. — Хотя это и еще более туманно. Просто человек конструирует остроумный прибор... Интеллект же остается в человеке, а не уходит от него в машину.

— Как сказать. По-моему, происходит что-то вроде обмена. Человек что-то отдает машине, машина — человеку. Происходит взаимопроникание.

— Чепуха, Бенуа. Метафизика. Долой метафизику! Выпьемте, Бенуа, за трезвый рассудок! И если хотите, за здравый смысл! Для вас это понятнее!

Хозяин и гость чокнулись.

Хозяин зевнул, показав ослепительно белые зубы.

— Нам завтра рано вставать. Вы, кажется, хотели, Бенуа, пойти вместе со мной в лес за грибами? Если не возражаете, я разбужу вас в шесть утра.

В шесть утра они оба уже на ногах.

Бенуа в больших, не по ноге, резиновых сапогах. В старой куртке. В руках у него корзина.

Идут сначала по дороге к Щучьему озеру, потом сворачивают на тропу. Тропа сыра и упруга. Упруго все, на что ступает нога: мох, кочки, ветви. Все пружинит. Над соснами и елями — солнце, словно вымазанное раздавленной брусничкой.

— Возвращаюсь к вечернему разговору, — говорит Бенуа. — Но это меня не так интересует, как будущее кибернетики, или, вернее, кибернетика в будущем. У вашего классика Гоголя есть превосходный рассказ «Портрет». В нем описывается, как одному художнику, писавшему портрет ростовщика, удалось не только дать изображение человека, но и перенести на холст нечто большее... Когда-нибудь удастся создать не только «машину умнее своего создателя», как утверждает Винер, но и машину, способную вобрать в себя индивидуальность ее конструктора, его ум и характер.

— Ну-ну. Вы увлекаетесь, Бенуа... Ох, смотрите, вот там гриб. Да еще какой!

Бородин свернул с тропы. Он так увлекся, что забыл

о своем спутнике. Вспомнил он о нем через четверть часа.

— О-о!— крикнул он.— Бену-а! Где вы?

Никто не откликнулся.

— О-о! Бену-а!

Начал моросить дождь.

— О-о! Бе-ну-а! Где вы?

А лес молчал, заштрихованный серой пеленой морящего дождя.

— О-о! Бенуа! Да где же вы, черт бы вас побрал! О-о!

Бенуа он разыскал у озера уже в сумерках — усталого, голодного, промокшего насквозь, но довольного и счастливого, разглядывающего большой белый гриб.

9

Рябчиков прислушивался к тиканью ручных часов и смотрел на стрелки. Часы шли. Стрелки двигались. Когда они останавливались, он их заводил. Он заводил и будильник. И все равно он просыпался раньше того часа, когда будильник начинал звенеть. Он боялся проспать утро, первые солнечные лучи, почти речного цвета синь, окрашивавшую стекла по утрам.

Рябчиков просыпался ночью и прислушивался к ровному, спокойному дыханию спящей жены. Он боялся ее разбудить и ждал рассвета. Постепенно в комнате становилось светло, и теперь он мог видеть лицо своей жены. Ее светлые волосы, спадавшие с головы на одеяло, ее тонкий девичий нос, милые губы и морщинки под закрытыми глазами. Он долго глядел на нее, словно время и мир снова могли исчезнуть.

А широкое окно уже начинало синеть. Просыпался большой город. Улица вся сотрясалась от бега трехтонок и автобусов.

Солнечный свет уже густо падал на большую географическую карту, висевшую на стене. Глядя на карту, Рябчиков думал о том, что он еще ни разу не бывал на Кавказе. Он не бывал и в Средней Азии. Он глядел на карту, как в детстве, словно перед ним была не раскрашенная бумага, а таинственные страны, вдруг расцветшие на стене. От карты пахло садами, травой, солнцем. Воздух в комнате был синь. Своей синью он окутывал предметы. У каждой вещи было свое яркое бытие, наполненное тишиной и

осязаемой предметностью. На столе стоял фарфоровый чайник. Фарфор поблескивал округло и туго. Чайник был прекрасен в своем предметном замкнутом существовании. Он был как бы вписан в утреннюю синь комнаты рукой великого мастера. На подоконнике в глиняном горшке рос цветок. Синее. Розовое. И желтое. Цвета играли на подоконнике. Но еще чудеснее их игры был коричневый горшок. Он был, как и фарфоровый чайник, замкнут в своем вещественном бытии. К нему хотелось притронуться.

Рябчикову доставляло удовольствие притрагиваться к предметам. Ведь в больнице у вещей не было предметного, наполненного радостью бытия. Вода там была бесцветной и безвкусной. Пресной казалась еда. Вещи не имели объема. Они растворялись в неподвижном воздухе. Ощущение пресности погружало в сонное забытие. Мира не было.

А здесь в каждой вещи был мир. Здесь вещи как бы настаивали на своей предметности.

Жена проснулась. И встала. В зеркале отразилась ее округлая голая рука и белая шея. Рука поднялась, изогнулась и потянулась к платю.

— Клава! — сказал Рябчиков.

Само сочетание слогов доставляло ему невыразимое удовольствие. Он говорил «Клава», и магическое слово открывало ее всю. Она была тут. Возле него. Ее округлые руки, смеющиеся серые глаза и большой влажный, улыбающийся ему рот.

Рябчиков надел пижаму и пошел умываться. Из крана побежала ему на ладони студеная вода. Мыло мылилось, пенясь. Влажные ладони, студеные и легкие, освежали лицо и шею.

Клава подошла к плите и включила газ. Метнулось вверх синее пламя. Она поставила на конфорку кофейник.

Пока кипятился кофе и жарилась картошка, Рябчиков подошел к книжной полке и взял книгу Реми Шовена «Жизнь и нравы насекомых».

Он раскрыл книгу и прочел про себя: «Слух насекомых коренным образом отличается от нашего. Многие из них почти совсем глухие, но зато обладают чуть ли не фантастической восприимчивостью к колебаниям... Тонкость их восприятия кажется почти безграничной...»

— Митя, — сказала жена, неся кофейник. — Не время, дорогой, читать. Завтрак остынет.

Она подняла кофейник и наклонила. В чашку полилась густая коричневая аппетитная жидкость. Пахло кофе, сливочным маслом и свежей булкой.

Рябчиков помешал ложечкой сахар в чашке. На стене прыгал желтый зайчик. В полураскрытую дверь лилась синь и воздушная глубина из соседней комнаты. Мир был звонок, как удар колокола. От его тугого звона дрожали стекла в окне и даже занавеска.

— Слышишь, Клава,— сказал Рябчиков тихо и медленно,— существует такое насекомое — я забыл его трудное латинское название,— которое ощущает колебания, не превышающие половины диаметра атома.

— Что ты говоришь, Митя? Вот бы нам с тобой так.

Он улыбнулся.

— Это, Клава, нам ни к чему. Ты слышишь, как вибрирует стекло, как дрожит улица?

— Нет, не слышу, Митя. Я привыкла.

— А я, видно, еще не привык. Каждый звук мне доставляет радость...— сказал он. И потом добавил:— Привыкаю.

И он подумал: разве можно привыкнуть и уже больше не замечать, как прыгает зайчик на стене, как сверкающе бел и кругл фарфоровый чайник, как капает вода из крана в раковину на кухне, как кошка серой лапой моет мордочку, как в дали убегающей улицы возникают дома, и этажи, и окна с глубиной чужих квартир, где идет своя жизнь, также наполненная тугим звоном мира?

— Да, Митя,— сказала Клава, поднимаясь из-за стола.— Мы хотели с тобой пойти купить подарок для профессора Тамарцева. Ты не забыл?

И Рябчиков рассмеялся: Тамарцев подарил ему мир, какой же вещь можно отплатить за такой подарок?

10

Арапов видел горы с белыми снежными пиками. Горы были возле самых его глаз. И за ними еще горы. И ему казалось, что он дотянется до них рукой — так близко были их студеные вершины и ветви кедров на склонах.

Возле ног гремела речка. В зеленой воде были видны коричневые круглые камни. И вода, падая с утеса, гремела

и грохотала, и от ее звука в ушах становилось пусто, словно в этом грохоте и звоне тонул и исчезал мир.

— Николай!— спрашивал отец.— У тебя не кружится голова?

А голова кружилась, и ему казалось, что он летит вниз с утеса вместе с грохочущей, гремящей, звенящей водой.

Потом они подымались вместе с отцом на крутую гору, подымались весь день и все равно не могли подняться, и внизу под ногами все было как в дымке. И вдруг все закрыло большой тучей. Из дымки показалась морда оленьей важенки и большие, как блюдца, влажные оленьи глаза.

За горой было озеро. И когда они подошли к озеру, он не узнал отца: отец постарел на тридцать лет.

Падал дождь. И на озере вскипали пузыри. И где-то ржала лошадь. Потом из леса донеслась музыка. И озеро начало раскачиваться. Дождь лил. И каждая капля звенела.

— Николай!— откуда-то донесся голос отца.

И вдруг все исчезло.

Перед ним стояла Жермена.

— Повтори, что ты сказал.

— Ничего.

Потом он вез ее в своей машине, но мимо бежали не деревья парка Монсури, а кедры и лиственницы детства.

— Повтори...

— Ни за что!

И он действительно не мог повторить то, что сказал, потому что бытие никогда не повторяется и не повторяет.

Над плоскогорьем кружился ястреб. Пахло камнями и богородской травой. Потом густой лес обступил Арапова со всех сторон. Но вот и лес исчез. Возникла дорога. И он снова увидел Жермену, которая шла по дороге в лагерь смерти.

И он снова видел ее глаза. Жермену уводили от него два очень интеллигентных гестаповца. Один сказал, почти улыбаясь:

— Я читал вашу книгу, уважаемый метр. Я читал ее... Ведь ее... Ведь я учился на философском факультете у самого Макса Вундта. Я учился и недоучился, потому что на свете есть дела поважней занятий философией, уважаемый метр. Как вы думаете?..

Он неплохо владел французским языком, этот гестапо-

вед. Может, он и в самом деле учился у Макса Вундта. На философских факультетах рейха преподавали философы и посильнее Макса Вундта. Даже сам Мартин Хайдеггер. Мартин Хайдеггер как-то сказал, что «человек, заброшенный в этот мир, осужден...» Гестаповец учился философии, но это ему не помешало стать гестаповцем. А глаза Жермены смотрели на Арапова. В ее больших черных глазах отразилась скорбь и что-то другое, что было бесконечно сильнее скорби. В глазах жены были доброта и жалость, словно не ее вели на смерть, а его, Николая Арапова, оставшегося дома.

— Не унывайте, дорогой метр,— крикнул гестаповец.— Вундт говорил, что древние греки не унывали. Древнегреческое мировоззрение...

Уж не собирался ли он читать лекцию? Но тот, второй, который не учился у Макса Вундта и не интересовался древнегреческим мировоззрением, сказал:

— Всего хорошего!

И они ушли, уведя с собой Жермену, уведя навсегда. В этом мире только слово «навсегда» выражает правду. Все остальные слова врут.

И снова перед ним возникает детство. Он мчится на коньках. Тихо играет оркестр. И две горничные катают на высоких санках жену исправника, надменную, совсем еще не старую даму.

— Чей это мальчик?— спрашивает жена исправника, показывая на него.

И какой-то чиновник, уже пожилой, с седеющей острой бородкой и в пенсне, подбегает к ней на коньках и, почти согнувшись, докладывает:

— Сын золотопромышленника Арапова.

На лице жены исправника появляется недоумевающее выражение.

— Совсем не похож. Ни чуточки не похож. Ни капельки не похож.

А чиновник с острой седенькой бородкой издает угодливый смешок и, изящно подняв тонкую длинную ногу, другой ногой делает поворот и несется по льду, скользит, освещенный керосиновым фонарем, в сопровождении густой горбатой тени, как у Петера Шлемиля до сделки с чертом.

Оркестр играет медленный вальс.

Затем он исчезает, и возникает странное существо с огромной головой и большими детскими глазами.

— Кто ты? — спрашивает Арапов как во сне, с трудом произнося каждый звук.

— Кто? На этот вопрос наука еще не дала ответ. И даст ли, в этом можно сомневаться. Один советский археолог назвал меня космическим гостем, воображив, что археологии дано изучать будущее.

— А кто вы на самом деле?

— Зачем торопиться с ответом? Пока я еще некто, но научные фантасты уже спешат дать мне имя, как будто без имени я утеряю нечто от своей реальности.

— С какой вы планеты?

— Вы думаете, я оттуда? Разуверьтесь. Во-первых, кроме как на Земле, нигде нет дискретной жизни. Там, на планетах, в космосе, нет морфы и нет морфологов. Там нет частных, а только общее. Представьте себе студенистую массу, аморфную, как желе...

— Но законы жизни, законы эволюции...

— Они обязаны Земле и земным условиям. Для того чтобы осуществились личность, индивидуальность, нужна память. Не мне же излагать вам азы современной генетики. Нуклеиновые кислоты передают наследственные особенности потомству, связывают вид и его разновидности во времени. Они подсказывают каждому существу его форму и его личную индивидуальность. А представьте себе жизнь без нуклеиновых кислот, жизнь без памяти, где все и навсегда лишено формы... Представьте себе этакий студень, непрерывный, как Атлантический океан.

— Это метафизика. Чертовщина!

— И это говорит мне философ-идеалист? Забавно!

— Вы же сами опровергаете свои слова. Вы не кусок студня, у вас есть форма, хотя, признаться, меня немножко шокирует ваша огромная голова.

— И пусть шокирует! Мир и создан для того, чтобы шокировать нас с вами. Он — загадка, для которой не дано разгадки. Логика — это ловушка, созданная природой, самоиллюзия и самообман. Бытие алогично, иррационально, оно бесконечно богаче разума.

— Это я писал в своей последней книге. Вы повторяете мои слова.

Раздался негромкий приятный смех.

Потом все исчезло, все закрылось тучей...

В своей статье известный французский нейрохирург

Гастон Леру подробно описывал нейрохирургическую операцию, прошедшую довольно успешно.

«Больной Николай Арапов был возвращен к жизни. Он будет вполне нормальным человеком и сможет пользоваться всеми чувственными радостями жизни. Правда, едва ли он сможет заниматься философией. Да вряд ли у него и появится желание абстрактно мыслить.

При лечении больного Арапова были применены новые методы... Участки мозга больного, ведающие памятью, были подвергнуты воздействию слабого электрического тока. И, как потом рассказывал сам больной, у него возникали безвозвратно утерянные воспоминания. Образы, которые беспрерывно сменяли друг друга, были удивительно выразительны и конкретны».

Тамарцев с грустью закрыл журнал. Он вспомнил Арапова таким, каким видел его в ночном кафе, читавшего нараспев, как читают профессиональные поэты:

Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я,

РАСПЕЧАТАННОЕ ВРЕМЯ

1

Новый, недавно сконструированный аппарат стоял в классе-лаборатории. Преподавательница биологии Дуона включила его. И сразу же ее скрыла пелена отчуждения. До школьников донесся ее вдруг отдалившийся голос:

— Сейчас резко изменится единица времени. Число мгновений намного увеличится. Перед вами тот же самый мир. Но, не правда ли, дети, в это трудно поверить? Таким видят мир насекомые этого вида...

В классе-лаборатории вдруг что-то непонятное произошло с временем. И с временем и с пространством. Предметы начали менять свою форму. И форму и цвет. Все стало зыбким. Огромным миром вдруг стала маленькая лаборатория. Ее стены уходили вверх и стремительно неслись вниз. Вдруг возникали обрывы и пропасти, заполненные пугающей пустотой. На том месте, где стоял аквариум с рыбами, появилось озеро. Толстое зеленое стекло было его берегами. Чудовищно огромные золотые рыбы трогали его страшными лиловыми ртами. Прозрачное, видимое насквозь озеро то опадало, то поднималось.

Из-за пелены отчуждения донесся голос Дуоны:

— Каждый из вас, дети, находится как бы внутри этого насекомого, насекомое летит, и вместе с ним летите и вы. Вы видите все, что оно видит, и так, как оно видит. Не забудьте, что для этого насекомого час — это почти полгода. Мы смотрим на все, как через микроскоп, но не только микроскоп пространства, но и микроскоп времени...

Через пять минут Дуона выключила аппарат. Дети снова были в мире обычных вещей. Каким маленьким теперь казался аквариум с золотыми рыбками! Но давно ли это все было? Дети чувствовали себя так, словно они совершили длительное путешествие.

— Сколько вы пробыли в мире насекомых? — спросила Дуона. — Пусть на этот вопрос ответит мне Ар. Его ощущение

ния обладают большой точностью. Ну что же вы, Ар, молчите? Разве трудно ответить на этот вопрос?

Мальчик смущенно улыбался.

— Мне показалось,— сказал он,— что я пробыл в том странном мире...— он замялся, как бы мысленно измеряя прошедшее время,— день. Но этот день был очень длинный и очень интересный.

— А вы как думаете, дети? Ну, хотя бы вы, Арзу?

Встала со своего места девочка. Она ответила категорично:

— Я пробыла там неделю. Но это была необычная неделя. Неделя, состоящая из одних дней, без ночей. Я ведь не спала. Я все видела.

Дуона покачала головой.

— Ар был ближе к истине, чем вы, Арзу. Но и он ошибся. Вы пробыли, дети, там всего пять минут.

На лицах детей появилось недоверчивое выражение. Еще никогда чувства так их не обманывали.

После урока Дуона пошла на заседание педагогического совета. Директор школы-интерната Уэг сказал собравшимся педагогам:

— Я только что вернулся из космического путешествия. Мне хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями. На большой космической станции Прозрачная есть школа. Она оборудована во много раз хуже нашей... Там многого нет из того, что есть у нас. Но есть там нечто особенное. Трудности. И даже опасности. Это не тот пригнанный к нашим привычкам и потребностям мир, в котором мы живем. Там анеидайцу все время приходится делать усилия. Даже самое дыхание, которого здесь мы не замечаем, становится проблемой. Природа все время напоминает о себе... Наблюдая жизнь строителей космической станции, я много думал о недостатках нашей воспитательной работы... Вы улыбаетесь. Вы думаете, Уэг опять оседлал своего любимого конька. Но посмотрите на мир, в котором мы живем. Этот мир, благодаря творчеству многих тысяч поколений, стал поразительно приспособленным к анеидайцу. Природа смягчилась, нет острых углов. Это бросается в глаза всем, кому довелось пожить на строящихся космических станциях. Наш мир прекрасен. Но воспитывать, оберегая от острых углов, нельзя. Ведь вы тоже полетите строить новые станции в космосе. У вас должна быть твердая воля. Я хочу, чтобы вы знали: самое прекрасное — это

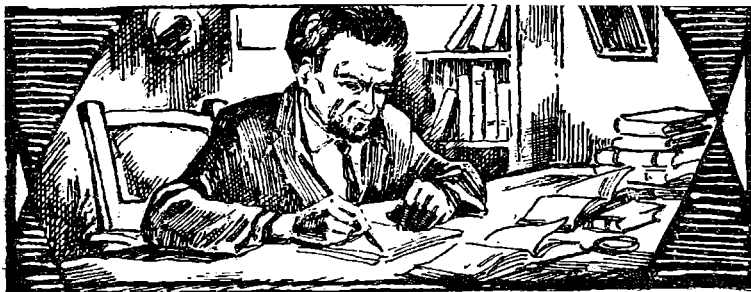
борьба с природой, борьба, не чуждающаяся опасностей. Не нужно смотреть на действительность как на затянувшийся праздник... Каких мужественных, закаленных детей я видел на станции Прозрачная! Сейчас я познакомлю вас с ними...

Уэг включил свою искусственную память, и в учительской возник маленький и далекий мир, космическая станция...

Дуоне это было знакомо. Она рассеянно смотрела на разворачивающееся в пространстве бытие, на утраченные мгновения, задержанные искусственной памятью Уэга. Мелькнуло сосредоточенное лицо десятилетней девочки, решавшей сложную задачу с помощью вычисляющей машинки. За маленьким помещением, в котором сидела девочка, сразу за стеной царил вакуум, пустота без воздуха, без предметов... Воображение Уэга убрало перегородку, и на какой-то миг девочка повисла над бездной... У педагогов, не бывавших в космосе, помутнело в голове от ощущения обрывающейся пустоты и бездны...

Картины разворачивались одна за другой. Искусственная память Уэга была такой же обстоятельной, как он сам. Часа через полтора Дуона почувствовала себя утомленной. Но Уэг все вспоминал и вспоминал, И не было конца его воспоминаниям.

Приятельница Дуоны Зэа занималась в высшей степени странным делом. Представьте себе, она шила. Шила, держа в руке иголку, как это делали женщины в древнюю эпоху паровых машин, железных дорог и идиллических сельских ландшафтов.



— Напомни, Зэа,— сказала Дуона,— напомни мне. Я забыла это смешное древнее слово...

— Шить, Дуона, шить. И вот я шью. Бабушка подарила мне старинную иголку и показала, как ею пользоваться.

— А зачем?

— Чтобы упражнять пальцы. Нельзя допустить, чтобы за нас все делали биоэнергетические машины. Неможно милого, старинного, медлительного физического труда, немножко домашней работы. Это не только полезно, это приятно.

Вошел муж Зэа, архитектор и композитор Прир.

— Хотите,— спросил он устало и ласково,— я покажу вам дом, который на днях построил?

Он включил оптический аппарат, и в очистившемся пространстве возникли поляна, деревья, излучина речки и дом, светлый и прохладный, словно сотканный из дождевых струй. Чуть слышная мелодия окутывала пространство. Над домом, сотканным из дождевых струй, висело белое полупрозрачное облако. Одно облако на всем небе.

— Кто поселился в этом доме?

— Кто, вы думаете? Великий математик Ок. Он работает над новой математической теорией. Ему нужна тихая музыка, облако в небе и плеск речных волн. И вот мы создали и дом, и ландшафт, и погоду. Он был очень доволен музыкой, нашел ее романтичной, но через полчаса забыл и о погоде, и об облаке, и об излучине реки, весь погрузился в работу. Уже приехали его помощники и ученики и привезли вычислительные машины.

— Опять ты зря старался,— сказала с досадой Зэа.— Ты так долго вынашивал проект, искал нужную мелодию. И все зря.

— Я не думал, что он сразу уйдет в работу. Я надеялся... Но ведь новая математическая теория важнее моего проекта, она нужна обществу, экономике, науке. Нужна всем.

— Я узнаю тебя, Прир,— сказала Дуона.— Ты всегда думаешь о других и почти никогда — о себе. В твоем характере не меньше музыки, чем в этом ландшафте и даже в новой математической теории, над которой трудится Ок.

— Но я все же думаю, что у него сохранится первое впечатление. Хорошее впечатление.

Прир выключил оптический аппарат, далекий ландшафт, окутанный тихой мелодией, исчез.

— Расскажи, Дуона, о себе,— сказал Прир.— Мы давно не видели тебя. Расскажи о своей жизни на космической станции.— Он улыбнулся.— Люди моих склонностей там пока еще не нужны.

— Там своя красота, совсем не похожая на красоту нашего мира. Но сейчас я думаю о другом. Вы должны помочь мне разыскать физиолога и кибернетика Рата. В его институте мне сказали, что он уехал обдумывать какую-то новую биотехническую идею, и его сотрудники не знают, где он находится. А может быть, знают, но не хотят сказать.

Прир покачал головой.

— Пожалуй, этого, кроме меня, никто не знает. Еще в начале весны я построил ему временное пристанище для раздумий и лабораторное помещение для экспериментов. Он прямо мне заявил: «Никаких сантиментов и идиллий! Пристанище должно быть отделено от всего, что может мне помешать, внушительной перегородкой. А что касается музыки, лучше обойтись без нее». Мне было нелегко пойти на это. Я ведь не только архитектор, но и музыкант. Да и как можно отделить музыку от архитектуры. Ведь вся современная архитектура пронизана духом музыки... Но я, кажется, нашел именно то, что ему требовалось. Взгляните!

Прир снова включил оптический аппарат.

Пространство очистилось. Возник горный перевал. Блеснула молния. Раздался раскат грома. Огромная грозовая туча висела над обрывом.

— А где же пристанище?— спросила Дуона.— Я что-то не вижу.

— За этой стеной, собранной из грозовых туч,— ответил Прир.

Снова блеснула молния, вновь раздался оглушительный удар грома. Казалось, гремело не там, где синела ограда, собранная из туч, а здесь, в комнате.

Прир выключил аппарат.

Дуона вскочила с места.

— Я должна сейчас отправиться туда. Мне нужно повидаться с Ратом. Он что-то знает о моем муже.

— Это невозможно, Дуона. Он не пустит. И это небезопасно. Там летают шаровые молнии.

— Я поеду.

— Тогда вместе с нами,— сказала Заа.— Достань изо-

ляционные плащи, Прир. И вызови «Быстрее часа». Нет, лучше «Быстрее минуты». Это, кажется, далеко.

— Сейчас вызову. Но следовало бы сначала пообедать. На гостеприимство Рата рассчитывать не следует. А я проголодался.

— Пообедаем где-нибудь на обратном пути.

Они вышли, захватив с собой изоляционные плащи.

Возле крыльца их ожидала машина.

— Почему «Быстрее часа»? — спросила Зэа мужа. — Я же просила тебя, Прир, вызвать «Быстрее минуты». Это же далеко.

— Не так далеко, как это тебе кажется. И, кроме того, там скалы... — Он замялся. — «Быстрее часа» надежнее. Я к этой машине привык.

Они сели. Возникло отчужденное, почти абстрактное ощущение пространства, порожденное скоростью. Все сливалось в одно крутящееся мглистое пятно. Казалось, не было ничего ни позади, ни впереди, ни рядом, — ничего, кроме сжатого до отказа вертящегося круга.

— А нельзя ли там изменить климат? — спросила Зэа Прира.

— Можно, разумеется, но не нам, а самому Рату. Управление погодой находится внутри дома, на кухне. Рату стоит только нажать кнопку, и возле дома будет чудесная погода. Может быть, он уже нажал. Вряд ли он все время прячется за грозовой тучей. Впрочем, через десять минут мы убедимся сами.

Машина замедлила скорость и опустилась на поляне у горного перевала.

Дуона и ее друзья вышли.

— Посмотрите, прекрасная погода! — сказала Зэа. — Солнце! И на небе ни одной тучи!

— Безотказно действует устройство, — повеселел Прир. — А признаться, я немножко опасался, зная характер Рата. Малейшая неисправность, и жди неприятностей.

— Но ты же архитектор и композитор, — перебила его Дуона. — Разве ты отвечаешь и за устройство управления погодой?

— За все отвечаю я. Но смотрите... Солнце! И чистое нежное небо. А он меня уверял, что хорошая погода действует ему на нервы, что он может творить только когда рядом гроза, или снежная пурга, или шторм... Ничего не понимаю!

Они не прошли и двухсот метров по горной тропе, как солнце скрылось и небо снова покрылось тучами.

Раздался раскат грома.

— Наверно, увидел нас,— сказал Прир,— и принял меры. Это на него похоже.

— Я все равно должна идти. Прир и Эза, обождите меня здесь. Нет, нет. Я пойду одна...

И Дуона пошла вверх по тропе, туда, где висела туча.

Было сумрачно на этой горной тропе. Все вдруг затихло, как это бывает перед ударом грома. Наконец тягостная тишина рухнула в раскатах. Молния осветила поляну. Теперь стал виден дом. До него было всего каких-нибудь сто метров, но Дуоне эти сто метров казались бесконечными. Они были как вакуум в космическом пространстве, обрывающийся в ничто. Дуона сделала шаг, и ей показалось, что нога ее проваливается в нечто отсутствующее, не имеющее опоры. Она вскрикнула... Ее крик был услышан.

— Осторожнее,— сказал кто-то из темноты.— Остановитесь! Ждите меня...

Она узнала голос Рата.

— Какая необходимость привела вас сюда? Протяните руку и идите за мной. И не бойтесь! Чувства вас обманывают. Здесь нет вакуума... Это только кажется...

И действительно, под ногами вместо пустоты была тропа, шуршал гравий.

Войдя в дом, Дуона облегченно вздохнула.

Рат пристально посмотрел на нее.

— А, это вы? Жена Путешественника? Снимайте свой изоляционный плащ. Вам ничего не угрожает, кроме опасности услышать правду. Я не из тех, кто прячет свои мысли за оболочкой сладких и льстящих слов. Что привело вас сюда? Откуда вы узнали мой адрес? Признаться, я не испытываю радости от вашего визита.

— Я пришла узнать о своем муже.

— Садитесь. И успокойтесь. Вы озябли? Мне стоит нажать кнопку, и буря утихнет. Но я не из тех, кто любит тишину. Вы пришли узнать о своем муже? Но о нем знает та часть моего «я», которая отправилась вместе с ним. Телепатия, к сожалению, не настолько совершенна... И я не могу знать мысли даже своего двойника на таком огромном расстоянии... Может быть, вы голодны? На столе фрукты. Плоды природы, а не искусственного фотосинтеза.

Я люблю плоды природы, хотя органики и научились создавать искусственные плоды не хуже...

— Вы действительно ничего не знаете о моем муже?

— И знаю что-то. И не знаю почти ничего. Знание, если его можно назвать знанием, находится где-то посредине между «да» и «нет»... Между утверждением и отрицанием.

— Не играйте словами. Я не для того пришла сюда, чтобы слушать софизмы.

— Вам и не следовало приходить. Я здесь работаю. Но уж раз вы пришли... я буду откровенен с вами не ради вас и тем более не ради вашего отсутствующего супруга. А только ради вашего покойного деда — биоэнергетика Э-Лана, гений которого я ценю. У вас есть с ним небольшое, чисто внешнее сходство. Что-то в глазах... Вы знаете, я не был другом вашего мужа. Наоборот... Но нас, если хотите, сближали разногласия, нас сближала диалектика спора. Мы спорили с ним здесь. Муж ваш отправился в неведомое, но, — глаза Рата смеялись, — но спор наш с ним продолжается...

— Продолжается? — перебила его Дуона. — Вы не оговорились? Но как? Где?

— Если бы я знал — где! Но я не знаю. Идеи вашего покойного деда Э-Лана толкнули меня на создание Собеседника. В Собеседника мне удалось вложить частицу своего живого «я». Собеседник отправился вместе с экспедицией вашего мужа. Но мне не удалось его повторить, хотя осталась схема. По-видимому, вмешалась какая-то неповторимая случайность. Все Собеседники, которых я пытался воспроизвести, оказались неполноценными. Опыт удался только однажды. Мне даже нечем подтвердить, что он удался. Я слишком поторопился. Мне не следовало Собеседника посылать в экспедицию. Но желание продолжить спор было сильнее здравого смысла. Вот уже много лет я пытаюсь воспроизвести опыт, но ничего не получается. У вашего деда это получилось бы. Он один мог мне помочь. Он умел и случайность заставить служить науке. Мне не верят, что я преодолел механизм и создал почти личность. Не верят! А опыт, который нельзя воспроизвести, ничего не стоит...

Рат усмехнулся.

— А вы тоже сомневаетесь?

Дуона покачала головой.

— Не то и не другое. Я думаю только о своем муже. Мне хочется знать, жив ли он. И когда я узнаю, что он жив, я смогу спокойно и внимательно слушать о вашей попытке преодолеть механизм машины...

— Вас, кажется, зовут Дуона? Вы действительно очень похожи на своего деда. Лоб. Улыбка. Разрез глаз.— Рат прищурился, разглядывая гостью.— Конечно, сходство оболочек. Чисто внешнее сходство. Гений неповторим. Но даже ради этого внешнего сходства... Я сейчас вам покажу его...

— Кого?

— Вашего мужа, — сказал Рат тихо.

Дуона побледнела и схватилась рукой за ручку кресла. Может быть, ей послышалось?

— Да, вашего мужа, — повторил тихо Рат.— Но этот миг, который мне удалось остановить, относится к сравнительно давнему времени.

Рат подошел к какому-то странному, незнакомому Дуоне аппарату и, по-видимому, включил его. Что-то непостижимое произошло с комнатой, со всеми вещами и с Дуоной, они как бы сдвинулись с места и переместились в другое измерение.

Теперь перед Дуоной была та часть космического корабля, в которой находилась каюта ее мужа. Дверь каюты открылась, и появились Путешественник и два его спутника: астронавигатор Никгд и биолог Цын.

— Твои доводы, — сказал Цын, — все твои доводы не соответствуют фактам. Да, это жизнь, все-таки жизнь, хотя у нее нет ни формы, ни «памяти». Это жизнь, как бы вырванная из времени и посаженная в вакуум. Я везу кусок этого студня в банке со спиртом...

— Э! Бросьте спорить, — вмешался астронавигатор Никгд.— Наши морские животные не менее студенисты... Поговорим о чем-нибудь более веселом и интересном... Вчера...

— Вчера! — перебил его Путешественник.— Сколько еще будет этих вчера, пока наступит завтра...

— Что ты имеешь в виду?

— То, о чем мечтаю, планету, где живут подобные нам, умеющие чувствовать и мыслить...

Глаза Путешественника смотрели грустно и устало.

И снова Дуона почувствовала сдвиг, перемещение пространства и времени. На месте космического корабля снова была комната Рата.

— Вот и все, что я мог сделать, — сказал Рат. — Теперь я должен с вами расстаться. Я уделил вам три дня.

— Три минуты, — поправила Дуона.

— Три дня. Вы забыли о законах теории относительности времени. На космическом корабле время течет иначе, чем у нас.

Дуона вспомнила о своих друзьях, оставшихся у перевала. Неужели прошли три дня?

— Да, три дня, — повторил Рат. — И не спрашивайте меня об остальном. Мне еще задолго до вашего прощания с мужем удалось создать этот аппарат... Но я его совершенствую. Пока он еще меня не удовлетворяет. Я показал вам все, что удалось перенести оттуда сюда... Не спрашивайте. И будьте мне благодарны, я потерял из-за вас столько времени. Я это сделал из уважения к Э-Лану, покойному вашему деду... Теперь разрешите проводить вас. Не беспокойтесь. Гроза давно прошла. Будьте благодарны мне, что я вернул небольшой отрезок бытия вашего мужа.

— Я вам благодарна, — сказала Дуона. Она простилась с Ратом. На небе не было ни одного облака.

Тропа вела к той поляне у перевала, где должны были ждать ее друзья.

2

Бородин просматривал статью аспиранта. «Сможет ли машина думать? — читал он. — Нет, не сможет. Почему не сможет? Да потому, что все, что делает машина, материально, вещественно. А мысль не материальна. Она относится к психическим явлениям».

Бородин подчеркивает эту фразу синим карандашом и пишет на полях рукописи:

«Мысль правильная. Но не слишком ли категорично и сухо она звучит? Это не похоже на вас, дорогой Радик. И ваша правота на этот раз не радует меня».

Бородин усмехается. Он недоволен своей припиской. Надо бы написать строже, требовательнее, без всяких сантиментов. Но уж раз написано, пусть останется. Радик не из тех, кто может зазнаться. Бородин называет аспиранта Богатырева — Богатыревым только когда сердится. Обычно он называет его Радиком.

У Радика обычная внешность. Обычная больше, чем

следует. Лицо простое, грубоватое. Глаза живые, очень умные, насмешливые. Но дело не только в глазах. Мысль у Радика особая, зрячая. От нее ничто не спрячется, как от рентгеновского луча. Радик знает три языка. А недавно стал изучать еще и итальянский, чтобы прочесть все, что написал Леонардо да Винчи. Радик буквально помешан на Леонардо. Он много читал. И задает вопросы, на которые не всегда может ответить даже сам Бородин.

Тогда Бородин отшучивается:

— Надо подумать. Бог знания еще не советовался со мной по этому вопросу, Радик.

А изредка отвечает лаконично:

— Не знаю.

И сердится. Сердится на Радика, на самого себя, а еще больше — на сотрудников своей лаборатории, как будто они виноваты в том, что их шеф чего-то не знает. Радик занял слишком много места в мыслях его шефа. По какому праву? Да, действительно, на каком основании? Почему в свободные часы Бородин должен думать о нем, об этом мальчишке, влюбленном в Леонардо? Мало ли этих молодых людей, знающих иностранные языки, интересующихся физиологией и математикой? Нет, их теперь не так уж мало. Но почти все они вызывают у Бородина раздражение и зевоту — почти все, кроме Радика. Дело в том, что в Радике есть что-то подлинное, он сделан из того же теста, что и его кумир Леонардо. Где природа прячет это тесто? На каких замешивает его дрожжах?

Мысль невольно часто возвращается к Радикю. Подойдет Бородин к стеллажам своей обширной библиотеки, достанет книгу с полки и вдруг спохватится — читал ли эту книгу аспирант Богатырев? Если не читал, надо будет ему посоветовать прочесть.

Едет Бородин в машине по Петроградской стороне или по Васильевскому острову, едет, торопится на лекцию или на экзамен и мысленно видит всех этих юношей и девушек и думает об иных из них: почему же они созданы не из того теста, что Радик Богатырев, почему природа поскунилась на дрожжи?

После экзамена декан говорит Бородину недовольным и уговаривающим полусшепотком:

— Что же это так? Неужели ни один не знал даже на тройку? Срезали всех до одного.

— Мне важно не то, что они знают. Мне важно и ин-

тересно, что и как они думают. Знать будут скоро и машины. Научатся повторять по программе.

— Вы несправедливы.

— Возможно. Но я не народный судья. И не преподаватель в средней школе. Я ученый.

Бородин читает статью Богатырева. Из-за каждой статьи Радика приходится буквально драться с членами редколлегии «Ученых записок». Статьи у Радика дерзкие, со свежими и спорными идеями. А не все любят свежие и оригинальные мысли, особенно когда эти мысли высказывает двадцатипятилетний юнец. Кое-кому это кажется нескромным и преждевременным. Глупое слово — «преждевременно». Может, и теория относительности тоже появилась раньше, чем ей следовало?

Вот и сейчас аспирант Радий Богатырев пытается заглянуть в далекое будущее, ответить на вопросы, на которые еще не удосужилась ответить наука.

«Личность и мышление». Так называется статья. Радик считает, что мышление нельзя себе представить не только в отрыве от общества, но и от личности. И сразу же ставит вопрос — сможет ли кибернетика далекого будущего создать нечто, способное воспроизводить психические явления? Но тут возникает другой вопрос — что же такое мысль? Может ли она быть безличной, не окрашенной чувством и переживанием думающего?

— Так. Так, — одобрительно кивает Бородин, словно аспирант тут рядом за столом. — Так, так, Радик. Спрашивай. Самого себя: Природу. Историю. Спрашивай. Ищи ответа.

3

Из записей С. С. Ветрова

«Я начал эти записи с тайной надеждой, что они не кончатся тем, чем они начались... Сейчас, как и в прошлую зиму, на столе передо мной лежит снимок черепа того, кто сто тысяч лет тому назад прилетел на Землю из неведомого мира. Кто был он? Прошлое не ответило на мой вопрос. Отчего он погиб? Почему не смог вернуться в свой мир? Некого спросить об этом. Я все думаю и думаю о нем, словно моя мысль способна просверлить отверстие в бесконечно

толстой стене. И вот вчера мною овладела слабость, почти отчаяние... Мне вдруг захотелось порвать в клочки этот единственный снимок, взорвать этот тонкий, ненадежный мост, соединяющий нас с представителем неведомого мира...

Я держал снимок в руках, когда в мою комнату вошла мать.

— Сергей, — сказала она своим чеканящим слова голосом. — Ты снова держишь это в руках? Не много ли чести для черепа, кому бы он ни принадлежал? Ведь ты уже пожертвовал всем, Сергей... — В голосе ее почувствовалось что-то вроде угрозы. — С этим пора кончать! Нельзя приносить себя в жертву костям...

— Мама! — оборвал я ее. — Я приношу себя, как ты выражаешься, в жертву, но не костям, а истине. Если мне удастся доказать, что на Землю когда-то прилетал человек из космоса, многое изменится в нашем представлении о мире.

— Ты думаешь? Личность не играет роли в истории, даже если эта личность откуда-нибудь и прилетела. Кстати, тебе надо побриться. Оброс.

Она ушла. Она ушла, даже не подозревая, что спасла ненавистный ей снимок. Мать всегда относилась с подозрением к моим увлечениям археологией. Разгневанная чем-нибудь, она называла меня «гробкопателем». Но я изменил археологии в тот день, когда нашел череп космического гостя. С того дня меня начало страстно интересовать не прошлое, а будущее. Сколько за эти годы возникло новых наук: астробиология, астрогеология, кибернетика! Современный человек устремлен в будущее. Старики говорят: «Прожить бы еще десять лет, узнать, есть ли жизнь на Марсе и на Венере...» Человека всегда интересовало чужое «я». Ведь человеческое общение построено на этом страстном психологическом интересе к внутренней жизни других людей, не всегда похожей на твою собственную внутреннюю жизнь. Но никогда еще люди так не интересовались тем, существуют ли и на других планетах им подобные... Сколько писем получил я за эти годы с просьбой ответить — есть ли высокоразвитые существа в других мирах? Никто на земле не мог бы с большей уверенностью ответить на этот вопрос. «Да, есть!» — отвечал я. Я ведь до сих пор храню доказательство того, что на нашей планете побывало существо из другого мира. Я много думаю об этом.

Почему моих современников так беспокоит вопрос — одни или не одни они в бездонной вселенной? А если и одни, что же в этом страшного? Тысячелетия жили люди, не беспокоясь и даже не задумываясь о том, есть ли у них в космосе соседи. Им хватало соседей на Земле. А сейчас каждый школьник и каждый пенсионер с нетерпением ждут ответа на вопрос: есть ли жизнь на других планетах? Они бесконечно далеко от нас, эти невидимые наши соседи. Но наша мысль спешит преодолеть эту даль.

В 1931 году, когда я был студентом исторического факультета, я купил у букиниста не совсем обычную книгу. На обложке этой книги были удивительные слова: «Межпланетные сообщения...» В предисловии было сказано: «Настоящее сочинение является седьмым, независимым выпуском из серии работ, предпринятых автором под общим заглавием: «Межпланетные сообщения». Шесть выпусков уже вышло в свет». Дальше шло перечисление: «Теория реактивного движения», «Ракеты», «Лучистая энергия», «Теория космического полета», «Астронавигация»...

А заканчивалось предисловие автора такими, несколько старомодными словами:

«Все замечания по поводу вышедших в свет выпусков и требования о высылке их читатели благоволят направлять автору по адресу: Ленинград, Коломенская улица, дом 37, кв. 25, Николаю Алексеевичу Рынину». Больше всего меня поразило это неожиданное соседство фантастического с конкретным. Рядом со словами «межпланетные сообщения» стоял ленинградский адрес с указанием номера дома и квартиры.

Адрес врезался в мою память. Он не давал мне покоя. Он звал меня, словно на Коломенской, в доме № 37, скрывалась какая-то тайна, имевшая отношение к моей судьбе. Я спрятал книгу, чтобы она не попала на глаза моей насмешливой и скептической матери.

А однажды вечером я пошел на Коломенскую улицу. Нашел дом и остановился у ворот. Дворник, таскавший вязанки дров, подозрительно посмотрел на меня. Я стоял возле дома, не решаясь войти в парадную дверь. Сердце колотилось, как в детстве, словно стоял у дверей не трезвый насмешливый студент исторического факультета, а школьник, начитавшийся Жюль Верна. Потом я поднялся по лестнице, нашел квартиру № 25 и позвонил. Мне открыл

пожилой человек, несколько не удивившийся моему приходу. У него было такое выражение лица, словно он меня ждал.

— Николай Алексеевич? — спросил я.

— Да. Проходите.

Сидя в кабинете у Рынина, я долго мямлил, подыскивая слова, чтобы объяснить цель своего прихода. Это было довольно трудно, потому что привело меня сюда смутное желание увидеть нечто необычное. Но Николай Алексеевич сам пришел мне на помощь:

— Интересуетесь межпланетными сообщениями?

— Интересуюсь, — ответил я, не очень, правда, убежденным голосом.

— Вы техник? Математик?

— Нет. Студент исторического факультета. Будущий археолог.

— Археолог? Вот это интересно. А не думали ли вы о том, что в земле хранятся более интересные тайны, тайны, имеющие отношение не к нашей земной истории, а к космосу?

— Нет, не думал.

— А я думал об этом не раз. Не может быть, чтобы на Землю за всю ее долгую историю не прилетали космические корабли из других миров.

На моем лице появилась скептическая улыбка. Рынин заметил ее.

— Сомневаетесь, молодой человек? Это ваше право. Но не делайте из сомнения профессию. Среди профессиональных ученых и специалистов слишком много сомневающихся, и сомневающихся даже в том, в чем не следовало бы сомневаться. Как трудно было работать Константину Эдуардовичу Циолковскому и его ученикам оттого, что в науке еще, к сожалению, много людей, боящихся смелой мечты...

Прошло много, много лет.

Я вспомнил Н. А. Рынина, когда вернулся домой после войны. «Вот кому я расскажу о своей находке, — думал я, — и вот кто поверит мне и поможет советом...»

Но увы: Рынина я не застал. Рынина не было в живых».

Предметы жили, демонстрируя свою вещественность. Каждый предмет словно говорил: «Я неповторим. Я так же велик и прекрасен, как мир».

Рябчиков все еще испытывал острое чувство узнавания. Все, что его окружало, — дома, улицы, деревья, вещи, — все было наполнено особой значительностью, как в раннем детстве.

Падал дождь. Его шум был захватывающе громок. В падающем дожде слышался громкий настойчивый шепот, словно рядом разговаривали влюбленные. Потом темноту раздирала молния. Ответы ее дрожали на ставшей вдруг почему-то лиловой занавеске, на потемневших, мокрых, струящихся стеклах окна.

— Оля! Оленька! — звал во дворе чей-то женский голос. — Беги скорей домой... Оля, Оленька!

А дождь лил.

Однажды Рябчиков принес домой странную покупку. Он принес акварельные краски и несколько кисточек. Объемная, торжествующая, мудрая жизнь вещей не давала ему покоя. Уж не рассчитывал ли он с помощью детской кисточки и этих жалких красок овладеть сутью вещей, раскрыть их смысл?

Вернувшись из школы, где он преподавал биологию, он клал на стол белый лист бумаги и, слегка смочив кисточку водой, прикасался к краске. На лист ложилось красочное пятно. Но вещи ускользали. Они не хотели выдавать тайну своего бытия никому, а тем более Рябчикову, художнику-самоучке.

Рябчиков застенчиво улыбался. Ему было стыдно. Ему казалось, что в его ненасытном желании глядеть на вещи, как бы ощупывать их объем, их плотность есть что-то нехорошее, похожее на жадность. Да и какой он художник? Жена нетерпеливо звала:

— Пойдем, Митя, в кино. Сегодня, говорят, идет интересная картина.

Он неохотно откладывал кисточку, закрывал коробку с красками и шел с женой в кино. Он не любил этот бег предметов, мелькание, поспешность. Его это раздражало. На экране бытие как бы отделялось от вещей. Нарушался самый важный закон реальности, как во время сна. Все

торопилось, стремилось к концу. А затем в зале зажигался свет. И все делалось до безобразия будничным. Он возвращался домой. Уже на улице, выйдя из кино, он снова обретал радость неторопящегося общения с окружающим миром.

Дома он снова брал кисточку и прикасался к краске. На бумагу ложилось красочное пятно. Возникали контуры кувшина, блюда или фарфорового чайника. Но контуры оставались контурами. Бытие вещи, вес ее, непередаваемо прекрасный объем ее — все это оставалось на столе, сопротивляясь руке Рябчикова и его желанию. На бумаге лежал контур и красочное пятно. Это сопротивление вещей одновременно приводило Рябчикова в отчаяние и доставляло ему сильную радость. Он будет пытаться и продолжать еще и еще, до тех пор, пока не раскроется тайна вещей...

В выходной день пришел навестить Рябчикова профессор Тamarцев. Рябчиков рисовал. Тamarцева заинтересовало это.

— Давно увлекаетесь рисованием?

— Нет. Недавно, — ответил Рябчиков смущенно.

Tamarцев взглянул на рисунок, лежавший на столе. На листе бумаги были изображены нехитрые вещи домашнего обихода. И утюг, и медный чайник, и кружка были словно увидены человеком, впервые попавшим на Землю и удивившимся тяжести, объемности и красоте земных вещей.

Чем больше смотрел Tamarцев, тем больше охватывало и его изумление перед красотой, тяжестью и мудростью земных вещей.

5

Зимние каникулы Дуона провела в горном санатории. Это был обычный санаторий, расположенный недалеко от заповедника, где сохранился старинный лес со звериными тропами. Иногда можно было увидеть и самих зверей, таких странных и архаичных, представителей давно минувших эпох, зверей с их дикой живостью движений. Сгустки давно исчезнувшей жизни, они появлялись вдруг, останавливались на поляне или стремительно бежали к водопою, не подозревая, что судьба оказалась милостивой к ним не ради них самих, а ради человеческого любо-

пытства. К легкому, сделанному из пластмассы зданию санатория примыкал темный зал. Это был зал «путешествия в прошлое»...

Наивные, старомодные развлечения! Зал был построен еще в прошлом веке одним художником — энтузиастом модного тогда иллюзионизма. Неестественно веселый, наполненный пошловатой актерской жизнерадостностью мужской голос претентивно зазывал отдыхающих:

— Уважаемые, — говорил он чутьчку фамильярно, — вам предлагают прошлое безвозмездно. Заходите, дорогие. Путешествие начинается...

Перед Дуоной и другими отдыхающими возникали картины прошлого. Вероятно, в минувшем веке они удивляли людей своей технической новизной и исторической убедительностью. Сейчас эти картины прошлого вызывали насмешливую улыбку. Чего стоило средневековье с его слишком натуральным рыцарским турниром. Смесь старинного телевидения, древнего кинематографа и немножко... гипнотического внушения... Дуона едва дождалась перерыва и выскочила из зала под шумящие струи дождя. Она выскочила не одна, с ней вместе выбежали из зала все не слишком пожилые люди. Только старикам, любящим вспоминать юность, могли доставить удовольствие эти устаревшие приемы иллюзионистского искусства.

Дуону окликнул мужской голос. Это был инженер-кибернетик Аль.

— Ах, этот механический затейник! — сказал, смеясь, он. — У меня в ушах до сих пор его старомодные высокопарные благоглупости. «Вам предлагают прошлое...» А эта жалкая попытка гипноза в синтезе с кинематографом... И как еще разрешают врачи этот просветительный дурман. А эти рыцари в их латах — плод провинциального воображения... Я так себе и представил этакую даму-сценаристку с ее слащавой дамской фантазией. Рыцари были проще, грубее. От них пахло не духами, а луком. Под их латами и кольчугами, случалось, ползали маленькие и злые насекомые, о биологических свойствах и особенностях которых ныне дискутируют палеознтомологи. Пройдемтесь, Дуона. На свежем воздухе пропадет этот эстетический дурман.

У Аля был приятный голос. Он чем-то напоминал Дуоне голос того, кого она устала ждать. Но только голос. Аль не был похож на Путешественника,

Воспоминания о муже унесли Дуону далеко от тропы, по которой они ушли с Алем. Когда она прислушалась, Аля уже говорил о другом:

— Вы слышали новость? Вчера скоростижно скончался в своей лаборатории знаменитый кибернетик Рат. Это был выдающийся техник и экспериментатор. Но плохой человек. Очень плохой человек.

— Вы его знали?

— Еще бы. Я у него учился. И пять лет работал в его институте. Я помогал ему создавать экспериментальную новинку, искусственного собеседника... Рат — он никогда не отличался скромностью — утверждал, что почти добился принципиально невозможного и переступил границу, отделяющую человека от машины... Он утверждал, что созданный им искусственный собеседник обладает чертами личности, характером... Разумеется, это было преувеличением. У Рата была странная идея в духе старинных романтических, так называемых черных романов... Он говорил нам, своим ученикам, что он хочет впроецировать свой характер в машину, внедрить в нее свою личность и этим добиться личного бессмертия... Мы, сотрудники его лаборатории, посмеивались. Нам казалось, что характер Рата, недоброжелательный и эгоцентричный, с атавистическими пережитками, вовсе не достоин увековечения. Но мы работали. А больше всех работал сам Рат. Ему нельзя было отказать ни в уме, ни в выдающихся способностях, ни в трудолюбии. Мы создали искусственного собеседника. Ловкого спорщика. И все же этот собеседник остался машиной, не стал личностью. Этот механизм был отправлен в одну космическую экспедицию...

Аля замаялся.

— Я знаю,— сказала Дуона тихо.— В ту экспедицию, которая не вернулась. В числе ее участников был мой муж.

— Может, еще вернется...— В голосе Аля не чувствовалось уверенности.

— Нет. Прошло слишком много времени... Но я все равно жду. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, вопреки всему, я жду его и его товарищей. Каждое утро я просыпаюсь с таким чувством, словно мне надо отправляться на космический вокзал встречать его, что я могу опоздать. Я смотрю на стрелки часов, считаю секунды.

Сердце бьется, как в те минуты, когда космический корабль оторвался от нашей планеты. Я думаю и думаю о нем. Пытаюсь представить себе его в чуждой обстановке, в которой его и его друзей что-то задержало. Не гибель; не смерть; а что-то временное... Я не могу смотреть на часовые стрелки. Когда он был со мной и мы разлучились, я смотрела на часы и считала минуты. Но сейчас... Лучше об этом не говорить. Да, кстати о Рате. Я встретила с ним «Внутри мгновения», когда возвращалась домой с космической станции. Рат сказал мне странные, загадочные слова. Он сказал, что он послал себя вместе с экспедицией моего мужа в космос... Он имел в виду этот аппарат... Потом я еще раз разговаривала с ним в его горной лаборатории. Но он опять повторил мне эти слова...

— Да. Он считал искусственного собеседника своим вторым «я». Но машина не может стать личностью, потому что личность имеет дело с историей, своей собственной историей, и с историей общества, которое породило эту личность... Рат не хотел это понять. Он был атавистически эгоцентричен, эгоцентричен, как наши предки при капитализме... Что с вами, Дуона? Отчего вы так поبلеднели?..

Дуоне казалось, что «Быстрее минуты» на этот раз движется медленнее, чем всегда. Дуона спешила увидеть дядю Э-Лана-младшего, на днях вернувшегося из длительной экспедиции в космос. Она спешила, хотя надеяться было не на что. Экспедиции, возглавляемой Э-Ланом-младшим, ничего не удалось узнать о пропавшем без вести космолете Путешественника. Правда, экспедиция необычайно повезло в другом. Открытие, сделанное Э-Ланом-младшим, было грандиозно. На краю Галактики экспедиция обнаружила неизвестную планету Тиому, населенную высокоразумными существами.

Дядя Э-Лан-младший встретил Дуону в саду, обнял ее и повел в дом.

Дядя мечтательно улыбался. Он хотя и был здесь, рядом с Дуоной, но одновременно он был и там, на далекой, открытой им планете. И «там» было намного реальнее и сильнее, чем «здесь».

— Мы пробывали на Тиоме три месяца и полторы недели,— сказал дядя, словно продолжая давно начатый раз-

говор.— Тиомцы по своему внешнему виду не так уж сильно отличаются от нас. Но их история и цивилизация значительно отличаются от нашей. Еще в верхнем палеолите они проявили необычайные биологические способности. В ту эпоху, когда наши предки с трудом приручили оленя и из дикого злобного волка сделали преданного друга — собаку, тиомцы сумели приручить несколько десятков видов животных, и млекопитающих, и насекомых, и рыб, и несметное множество видов растений сделать домашними. Это обстоятельство открыло особые пути для цивилизации. Тиомцы (а каждый тиомец — это гениальный биолог) развили все теоретические и прикладные области биологии, особенно медицину. Там каждый индивид — дрессировщик, ботаник, зоолог, ихтиолог, энтомолог. Цивилизация Тиомы не знала крайностей техницизма, разрыва в развитии техники и биологии. Науки развивались одновременно.

Дуона слушала рассеянно. Она, как и все жители Анеидау, знала о планете Тиома и об удивительной тиомской цивилизации все, о чем поведал миру дядя, прежде чем поделиться с племянницей.

Все чувства Дуоны были напряжены до отказа. Ей хотелось поскорей услышать от дяди хоть что-нибудь о пропавших без вести... А дядя Э-Лан-младший продолжал рассказывать о Тиоме.

— Удивительный мир, мир, населенный биологами, влюбленными в природу, сумевшими сохранить все ее богатства, сохранить и во много раз умножить... Что с тобой, Дуона?

— Ничего, дядя. Продолжай. То, что ты рассказываешь, необыкновенно, интересно...

Э-Лан-младший внимательно посмотрел на племянницу.

— Извини меня, Дуона. Не с этого я должен был начать разговор с тобой...

Он сделал паузу.

— Тиомцы ничего не слышали о пропавшем без вести космолете. И нам ничего не удалось узнать... Но вскоре отправляется вторая большая экспедиция. И если ты хочешь, Дуона, отправиться вместе с ней...

— Хочу, — сказала Дуона.

У Веры Исаевны был не очень-то покладистый характер. Ее боялись, ее не любили, но ее уважали. За это уважение она платила слишком дорого, но несколько не жалела об этом.

В гимназии на нее не без страха смотрели учителя, дома — родители и родственники. Одноклассницы заискивали перед ней, но это им не помогало. Она не щадила никого — ни первых учениц, ни второгодниц-лентяек, ни умных, ни глупых, ни добрых, ни злых, ни богатых, ни бедных. На всё и на всех она смотрела так, словно пришла в театр, простояв долго в очереди и дорого заплатив за билет, и вдруг обнаружила, что спектакль поставлен халтурщиком, пьеса скучна, а роли исполняют бездарные актеры.

Застенчивому молодому человеку, влюбившемуся в нее и решившемуся наконец с ней объясниться, она сказала громко, так, чтобы могли услышать и прохожие:

— А вы не могли бы облечь ваше так называемое чувство в менее пошлые слова?

Родители думали, что она никогда не выйдет замуж, но она вышла раньше всех своих сверстниц, прожила с мужем пятнадцать лет, и довольно дружно, к большому удивлению всех, кто ее знал. Муж ее, строитель дорог, умер от таежного энцефалита вдали от дома в те годы, когда еще не существовали противоэнцефалитные прививки.

Она вырастила детей сама, зарабатывая на жизнь преподаванием английского и французского языков, занимаясь стенографией и перепечатывая на машинке рукописи графоманов, соблазненных объявлением, опубликованным на четвертой полосе «Вечерней Красной газеты», где, между прочим, упоминалось и о том, что машинистка обладает абсолютной грамотностью и хорошим слогом. Она действительно обладала хорошим слогом и безукоризненным знанием грамматики.

За вдовой пытался ухаживать заведующий гастрономическим магазином. До поры до времени она не отвергала его ухаживаний, ежедневно приходила в магазин — покупать продукты, беседовала с завмагом, когда, с любезной улыбкой на толстом лице, он выбегал к ней из-за прилавка. Но однажды, понюхав колбасу, она потребовала жалоб-

ную книгу и своим четким красивым почерком написала: «Здесь торгуют недоброкачественными продуктами». Затем позвала завмага и сказала, размахивая колбасой:

— Избавьте меня от своих любезностей и домогательств! За ними скрывается нечто такое же недоброкачественное, как эта колбаса.

Шли годы. Она мало менялась и физически и духовно. Седые волосы обрамляли и не по годам молоджавое лицо с острым носом и очень живыми, влажно поблескивающими глазками, смотрящими на людей так, словно эти люди своими равнодушными спинами заслоняют от нее нечто очень интересное и понятное только ей одной.

Своих детей она любила, но не делала для них никаких исключений. Она разговаривала с ними тем же насмешливым тоном, каким разговаривала со всеми. Анастасии, по ее мнению, не хватало характера и ума. У Сергея был ум, и характер, и талант, но у него не было самого главного, в чем нуждаются люди. Ему никогда и ни в чем не сопутствовала удача. Она считала, что в этом виноват только он сам, какой-то был невидимый дефект в его натуре. Человеку должно везти в жизни, а если уж не везет во всем, то, значит, нет контакта между ним и тем, что неумные люди называют судьбой.

Ему ни в чем не сопутствовала удача. Но он не сдавался, много работал, учился, спал в сутки не больше четырех-пяти часов. И все равно ему не везло. Ему повезло только раз в жизни, но удача сразу же превратилась в неудачу.

Ну, а ей, его матери, разве везло? Всю жизнь ей сопутствовали только неудачи. Но она, в сущности, сама была в этом виновата. Разве она согласилась бы хоть на миг играть роль в счастливо-сентиментальной пьеске? Да и какую она могла исполнять роль, кроме той, которая ей подходила?

7

В свое время Бородина очень заинтересовало археологическое открытие Ветрова. Он писал статью о мозге человека будущего для научно-популярного журнала, когда вышла в свет книга Ветрова с таким удивительным и странным названием: «Будущее человека на основании антропологических и археологических данных»,

Бородин поразило совпадение его собственных взглядов с действительностью, которая одновременно оказалась по ту сторону и далекого прошлого и далекого будущего.

Он много раз рассматривал репродукцию фотографического снимка, этот огромный неземной загадочный череп, и ему казалось, что будущее разверзлось специально для того, чтобы подтвердить правоту его взглядов, взглядов Бородина.

Каким будет ум человека через много-много тысячелетий? Какой будет его память? Где искать ответа на эти вопросы? В эволюционной физиологии? В морфологии высших приматов?

Эти вопросы возникали в сознании Бородина в течение многих лет.

Он наслаждался быстрой ездой на своей машине, осенью собирал грибы, летом переплывал огромное Щучье озеро на глазах завистливо смотрящих юношей-спортсменов, выходил из воды, как морской бог, широкогрудый и бородастый. Но где бы он ни был, в воде или в лесной чаще, пахнущей подосиновиками, он думал все о том же: какой будет человеческая память? Но разве он один думал об этом?

Однажды в конце напряженного лабораторного дня к Бородину подошел Радий Богатырев и сказал:

— Я собираюсь писать статью о том, какой будет человеческая память.

Бородин усмехнулся. Только Радик мог взяться за такую трудную задачу. Радик, с его неистощимым энтузиазмом, с его привычкой постоянно заглядывать в будущее.

— Пишите. Это интересно. Но, если не секрет, какие у вас насчет этого соображения?

— В малоизученной истории власти человечества над временем, по-моему, были четыре этапа. Первый этап — это возникновение языка, устной речи. Второй — появление письменности, а затем книги. Третий — кино. Четвертый этап — это изобретение радио и телевидения.

— Ну а пятый, Радик?

— О пятом, еще не существующем этапе я сейчас и думаю. Если что-нибудь удастся — человек получит власть над ускользящим временем.

— Что же это такое, Богатырев? Уж не гетевское ли: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

— Я еще не нашел для своей мысли точного выраже-

ния. Но, если разрешите, на днях я продолжу с вами этот разговор.

И разговор был продолжен.

А затем в течение месяца, пока писалась статья, заведующий лабораторией и ее молодой сотрудник много раз возвращались к этому разговору.

— Первый этап, употребляя ваше выражение, Радий Иванович, — возбужденно говорил Бородин, — неотделим от самого человека. Это язык, вторая сигнальная система. Ведь для того чтобы ее создать, эволюция изменила мозг. Правда, создавая вторую сигнальную систему, природа действовала в соавторстве с обществом. Но все остальные этапы, дорогой Радий, они же отделены от человека. И в наш век человек рождается, как он рождался в нижнем палеолите: без книги в руке и без телевизора. Каким же вам представляется пятый этап и потребуется ли для него изменение мозга?

Богатырев улыбнулся. Так улыбался, наверно, юный Леонардо да Винчи, когда его о чем-нибудь спрашивали.

— Пятый этап — это синтез, это полное овладение прошлым для того, чтобы стало неизмеримо богаче настоящее и будущее. Да, если хотите, это в какой-то мере осуществленная мечта Гёте. Прекрасному мгновению прикажут остановиться. Но ведь и сейчас документальное кино, еще далекое от совершенства, дает нам возможность увидеть и пережить давно утраченное... Но представьте себе нечто бесконечно более совершенное, чем кино, телевидение, радио и книги...

— Нельзя ли конкретнее, товарищ Богатырев? Вы физиолог, математик и техник, а не сказочник.

— Конкретное я оставляю для статьи. Мимо вас она не пройдет.

Дома, у себя в кабинете, Бородин снова раскрывал книгу Ветрова и смотрел на снимок. И череп загадочного существа также смотрел на него со страницы книги черными зияющими впадинами, из которых сто тысяч лет тому назад глядели живые, умные, веселые и грустные глаза.

«Мозг! Удивительное создание эволюции и человеческой истории! — размышлял Бородин. — Инструмент познания, состоящий из десяти миллиардов деталей. Большая сложность человеческого мозга и дала человеку преимущества перед другими существами, населяющими Землю. Но не пошел ли человек по пути адаптационной специали-

зации, которая может завести его в эволюционный тупик? Кажется, Норберт Винер выражал беспокойство, что «человеческий мозг уже продвинулся так же далеко по пути к этой губительной специализации, как большие носовые рога последних титанотериев...» На этот вопрос лучше всего бы мог ответить обладатель вот этого огромного черепа, если бы он прилетел на Землю не сто тысяч лет назад, а сейчас».

8

Мир продолжал дразнить Рябчикова своей тугой, ошеломляющей свежестью и новизной. Она словно поджидала его за каждым углом, за каждым поворотом проспекта, куда вдруг сворачивал автобус или троллейбус.

Радостное и тревожное чувство охватывало Рябчикова, когда он шел по улице, словно улица стала вдруг дорогой, ведущей его в юность. Мир был необъяснимо молод и неожиданно прекрасен. Между двух стен, сложенных из тяжелых каменных плит, висела легкая, как воздух, синь воды. Неважно, как это называлось — Мойкой ли, Фонтанкой, каналом Грибоедова, Пряжкой, но по вечерам в окаменевшей воде удлинялись и играли, качаясь, огни отраженных этажей, а по утрам становилось так тихо, что были слышны шаги девушки, идущей впереди, стук ее каблучков о тротуар. Кто она, своими быстрыми шагами торопящаяся обогнать всех? Кто? Но на улицах тысячи прохожих. Двери квартир манили Рябчикова, словно за каждой дверью жили люди, знающие нечто такое, чего не знал он. Что знали они? Может быть, они знали, почему по ночам так звучны и гулки улицы и площади? Может быть, они знали, почему каждое утро меняют свой цвет и форму квадратные дома и деревья и каждый квартал кажется таким, словно он только что возник из небытия?

Рябчиков шел, и сердце билось. Он шел и прислушивался. Он слышал музыку там, где не слышали ее другие. На скамейке сквера. У будки телефонного автомата. Возле дверей прачечной. В саду... Ему хотелось войти в будку, набрать тут же придуманный номер телефона и, сняв трубку, прислушиваться к гудкам. В невидимой, незнакомой квартире поют телефонные гудки, и чей-то женский голос, нетерпеливый и властный:

— Я слушаю.

А потом тишина. Тишина, полная значения и чего-то неведомого и прекрасного, будто книга жизни раскрылась случайно на самой интересной странице.

Он заходил в магазин и покупал тюбики с краской. Потом дома он выжимал краску из тюбиков. Сердце сжималось, он прикасался к выжатой из тюбика краске кисточкой, и на холсте (теперь уже на холсте) возникала синь воды, застывшей между двух окаменевших берегов, или косо стоящие подстриженные тополя.

А дни звенели и уносили его, как бегущие вагоны. Он просыпался рано, боясь проспать рассвет, и засыпал поздно, и слышал, как били старинные часы.

По вечерам он читал книгу, взятую в библиотеке. Сквозь слова и строчки была слышна дрожь жизни, гудки заводов, топот толпы и звон льдинок в лесном ручье, куда ступило широкое оленьё копыто.

— Митя, — жена дотрагивалась до его плеча своей легкой теплой рукой, — иди к столу. Чай остынет, дорогой.

В дно фарфоровой чашки била горячая струя. От разломанной баранки пахло анисом и густо замешанным тестом.

— Митя, — говорила жена.

— Ты о чем? А? Хочешь, я тебе почитаю, Клава?

— Хочу.

И он читал строчки, которые тут же возникали и складывались, пока он читал:

У каждой вещи есть имя:

Дождь, окно, камень, облака,

Но чудеснее имени звук, который вертится на языке,

Еще не произнесенное слово «лес»,

И вот уже ветви и тропы, и я иду,

А на ветвях впервые поют птицы.



Детский писатель Виктор Марсианин почтительно посмотрел на скелет динозавра. Он попытался представить себе динозавра живым, но не смог. Не хватило воображения. Слишком уж велико это чудовище. Слишком велико.

Марсианин взглянул на ручные часы. Те, что висели

на стене, — стояли. Стояли давно. Казалось, они остановились еще тогда, когда этот динозавр, тяжело дыша, лежал в папоротниковом мезозойском лесу. Марсианин еще раз взглянул на ручные часы. Апугин обещал прийти ровно в час. Уже двадцать минут третьего, а профессора все нет и нет.

«Наверно, пишет статью или задержался на лекции», — подумал Марсианин. Он ошибался. Профессор сидел в Кавказском ресторане, ел пашлык и пил сухое грузинское вино. От пашлыка вкусно пахло дымом и жирной бараниной. Апугин жмурил глаза от удовольствия. И широкие ноздри его большого некрасивого носа шевелились. Ел он не спеша. Он, разумеется, помнил, что его ждет детский писатель. Ну и что? Ждет? И пусть себе ждет.

Виктор Марсианин ждал. Скелеты ему давно уже наскучили. Но что поделаешь? Он ведь выполнял задание редакции. Ему надо было записать беседу с Апугиным, на днях выезжающим не то в палеонтологическую, не то в археологическую экспедицию.

Марсианин ждал и прислушивался. Но вот наконец послышались шаги в тихом, наполненном скелетами зале. Апугин шел, высокий, полный, воплощение самой жизни.

— Проходите ко мне в кабинет, — сказал он посетителю. — Я, кажется, немножко задержался. Обстоятельства!

Детский писатель раскрыл блокнот и почтительно посмотрел на Апугина.

— Скажите, — спросил Апугин строго, — «Марсианин» — это ваша фамилия или псевдоним?

— Псевдоним. А что?

— Собственно, ничего. Я понимаю. Вы, очевидно, воображаете, что на Марсе есть люди. Напрасно вы так думаете. Их там нет.

— Почему?

— А потому, что человеческое воображение шаблонно. Гораздо легче представить себе планету, населенную Марьями Ивановнами, чем мир, где нет ничего живого. Марсиан не существует. И ваш псевдоним дезориентирует ваших читателей, детей среднего возраста. Не могли бы вы его переменить?

Марсианин смутился.

— К сожалению, уже поздно. Меня широко знают.

— Тогда у меня к вам просьба. Мне хотелось бы, чтобы наша беседа появилась без вашей подписи. Я не могу по-

зволить, чтоб под статьей о моих работах стояла подпись: «Марсианин».

— Не просто Марсианин. А Виктор Марсианин. Виктор Карпович.

— Все равно. Я всю жизнь посвятил борьбе с легкомысленными фантазиями, с чепухой и романтикой. Недавно в вашем детском журнале снова появилась статья о Ветрове и черепе, который якобы он нашел. Я опротестовал эту статью. Написал письмо в Министерство просвещения. Детей нельзя воспитывать в духе пренебрежения к трезвым фактам.

— Но у Ветрова есть снимок.

— Этот снимок — подделка. Ветров фальсификатор. И фантазер. У вас, извините, такой неудачный псевдоним. А как ваша фамилия?

— Корнеев.

— Ну вот, видите. Отличная фамилия. А то — Марсианин. А зачем? Чтобы внушать детям иллюзии, которые не принесут им добра. Верить в существование марсиан — это все равно что верить в бога. И то и другое — порождение досужей фантазии. Итак, мы договорились. Свою статью о моих работах вы подпишете «Корнеев». И только без всяких там красивых слов. Я еду в экспедицию не для того, чтобы привезти оттуда кости космического существа или вещи с другой планеты. Чепуха. В земле может храниться только земное. Пожалуйста, запишите это и доведите до сведения ваших читателей — детей... Никаких сказок и вымыслов. Никаких фантазий. Только факты!

— Ну, а если попадется кость или предмет... Ну, как бы это сказать. Ну, предмет, попавший... вернее, прилетевший к нам оттуда... — Виктор Марсианин показал пальцем на потолок. — Ну, из космоса. Вы же не уничтожите его ради своего принципа?

— Товарищ Корнеев!

— Простите. Марсианин. Виктор Марсианин!

— Корнеев. Все-таки Корнеев. Я ведь разговариваю с живым человеком, а не с персонажем из детской книги. Так вот, товарищ Корнеев, если мне попадется сомнительная находка вроде черепа, который якобы нашел Ветров, я не буду кричать об этом, а обращусь к врачу — не обманывают ли меня мои чувства. Запишите, пожалуйста... Я обращусь к невропатологу.

Он думал о том, что теперь ему уже не с кем будет перекинуться словом. Докучливый Собеседник молчал. Он молчал так, как умеют молчать только вещи. Кончилась его программа. И искусственный циник теперь валялся в пыли, как ненужный хлам.

Под конец он стал заговариваться. Он заболел манией величия. Он стал утверждать, что он не механизм, а настоящее живое «я», «я» физиолога Рата, да, самого Рата, умудрившегося каким-то образом опровергнуть логику всего существующего. Рат остался дома и одновременно отправил себя в экспедицию.

Утверждая и настаивая, Собеседник уверял, что он говорит правду. Эта правда, уверял он, самая сложная правда из всех истин. И то, что она не в ладу с логикой, это ничего, тем хуже для логики. И при этом он смеялся то ли над тобой, Путешественник, то ли над истиной, то ли над самим собой, то ли над своим духовным двойником, двойником, сумевшим смастерить его. В складе ума, в манере произносить слова, в неповторимых интонациях голоса чувствовалось что-то очень знакомое. В Собеседнике действительно было много сходства с физиологом Ратом.

Путешественник знал Рата с детства. Они воспитывались в одном интернате. Вместе учились. Рат поражал всех силой и гибкостью своего ума. Но что-то атавистически упрощенное было в этом озлобленном эгоцентрическом уме, напоминавшем о далеких временах, когда эгоцентризм и недоброжелательность не были редкостью. Еще в средней школе Ратом овладела идея репродуцировать свое «я», размножить его, с тем чтобы преодолеть время. Педагоги снисходительно улыбались. Они не видели ничего опасного в затее школьника, мечтавшего о невозможном. Правда, один из учителей однажды сказал Рату, сказал громко, так, чтобы слышали и другие:

— Личность не нуждается в репродукции. Смысл каждой личности — в ее неповторимости. То, что повторимо, — то уже не личность. В вашем желании есть нечто абсурдное. Размноженное «я» будет уже «не-я».

— А физиологическая кибернетика, — спросил Рат, — разве для нее это недостижимо?

— У кибернетики другие задачи, — ответил педагог.

В те годы кибернетика завладела всеми творческими и любознательными умами. Одно грандиозное открытие следовало за другим. Наука набирала скорость. Огромная армия ученых изучала мозг с необычной целью: чтобы, выведая тайны природы, самим создать нечто умеющее мыслить.

Философы выражали свое сомнение. Мозг, утверждали они, это создание истории и общества, а не только природы. Сознание и мысль нельзя механически оторвать от личности и от общества. Личность неповторима. Машина же никогда не станет личностью. Для того чтобы думать, она должна и чувствовать, страдать, радоваться, жить духовной жизнью...

Рат стал физиологом и кибернетиком еще на школьной скамье. Его ученическая статья была опубликована в физиологическом журнале с послесловием великого ученого Шина. Сам Шин, величайший знаток мозга, признал идею юного Рата оригинальной, хотя и несколько наивной.

Рат писал (о, как эти строчки походили на него самого, самовлюбленного человека): «Освободить мысль от эмоций — это главное. Безэмоциональная мысль сможет бескорыстно служить нашим нуждам и желаниям. Человеку всегда мешали его эмоции, настроения, прихотливые впечатления, навязанные жизнью. Думающая машина, свободная от эмоций, будет мыслить не относительно, а абсолютно. Силе ее постижения бытия не будут мешать ни радости, ни страдания...»

Затем Рат отказался от этой идеи. Его стала преследовать другая мысль, высказанная им еще в детстве. Ему хотелось продлить свое «я», сделать себя бессмертным, впроецировать свою личность в искусно созданную машину.

Путешественник был принципиальным противником этой метафизической идеи.

Однажды на диспуте, устроенном клубом научной молодежи, он резко выступил против Рата.

— Желание Рата, по существу, нигилистично, — сказал он.

— Помилуйте, — крикнул Рат, — какой же нигилизм в желании создать нечто сложное, почти такое же сложное, как живая личность?

— И все же в этом желании скрывается нигилизм, отрицание.

— Отрицание чего? — спросил Рат.

— Отрицание всей необычайной сложности и богатства живого, думающего и чувствующего мозга, обеднение, упрощение под видом мнимой глубины.

Спор продолжался долго. И когда он кончился и участники дискуссии стали расходиться, Рат подошел к Путешественнику и сказал своим желчным, слегка хриплым голосом:

— И все-таки я добьюсь своего. И ты об этом когда-нибудь еще вспомнишь.

Путешественник устало закрыл глаза. Реплика Рата преодолела изрядное время и еще более огромное пространство, она как бы прилетела сюда из далекого прошлого. И сейчас об этом полусабытом разговоре напоминал пришедший в негодность аппарат.

Да, теперь не с кем будет спорить и не соглашаться, одушевленный механический отрицатель теперь был не способен произнести даже самое простое из всех слов: «нет».

Он умел владеть словами. Каждая мысль вызывала противодействие в его искусственном мозгу. Отрицание... Он для этого был создан. Ну, а его создатель, физиолог и кибернетик Рат, разве он не был олицетворением отрицания? Ведь, в сущности, он жил для того, чтобы упростить, понизить, выхолостить, оскотить самое сложное и чудесное из того, что существует во Вселенной,— мозг. Своим искусственным мозгом он пытался подменить и отрицать самое естественное из всего естественного — мысль... Мысль гуманистична по своей природе, ее нельзя оторвать от чувства, от всей красоты бытия, которое открывается человеческому сознанию, а машина, как бы она ни была умна, всегда будет бесконечно беднее и примитивнее человека...

Путешественнику было жаль, что робот пришел в негодность. Он все же помогал ему переносить тяготы одиночества — плохо, сердито, докучливо, но помогал. Без него затерявшийся где-то далеко во вселенной дом стал еще дальше.

Иногда Путешественник думал: а что, если судьба их оставила бы здесь вдвоем с физиологом Ратом, его единственным врагом? В сущности, так почти и было. Собеседник был точной копией Рата, но он был не человек, а машина, и на него нельзя было сердиться... Теперь он лежал в пыли. Он слишком неожиданно замолчал незна-

дежным и абсолютным молчанием вещей. И Путешественник так и не узнал того, что хотел узнать. Осталось тайной для него, на каких принципах был построен механизм, способность Собеседника мыслить так легко и свободно... В руководстве, приложенном к автомату, об этом не говорилось. А разобраться сам Путешественник не смог. Он ведь не был техником, а всего только физиологом...

Сколько неразгаданных загадок и тайн останется в мире, когда глаза Путешественника закроются навсегда. Эта мысль приводит его почти в отчаяние. Он так никогда и не узнает, много ли во вселенной планет, населенных разумными существами. Он так никогда и не узнает, что станется со здешними примитивными людьми, сумеют ли они выдержать все ужасы нового наступающего ледникового периода или погибнут, не создав цивилизации.

На его родной планете не было оледенения, мягкий умеренный климат установился давно. Ученые считали, что слишком благоприятные условия задержали темпы развития их человечества. Трудно сказать, были ли они правы... Здешнее, еще не вполне сформировавшееся человечество столкнется с новым обледенением планеты сравнительно скоро... Выдержат ли они шестидесятиградусные морозы тысячелетних зим, не владея ни фотосинтезом, ни ядерной энергией, ни тайнами гравитационных сил; они, эти низколобые, сутулые, неуклюжие мужчины и женщины с их жалкими каменными рубилами? О, как хотелось бы ему помочь им, помочь, пока он еще способен это сделать.

Ему вспомнилась эта девушка. Ее звали И-е. У нее тоже был низкий лоб и толстые губы, и она ходила, согнув колени, и, чтобы посмотреть, что позади ее, она должна была повернуться всем корпусом: у нее не поворачивалась слишком короткая шея. И все же она была прекрасна. В ее зеленых глазах уже просвечивала пытливая мысль. И на ее губах иногда играла улыбка. В ней было много энергии, живости. И даже механический Собеседник, двойник бездушного и недоброжелательного физиолога Рата, почувствовал к ней что-то вроде симпатии. Эта симпатия сделала его на миг человечнее, чем он был задуман своим бесчеловечным создателем, правда, только на один миг. Но и этот короткий миг говорил о силе человечности, которая смогла преобразить даже машину.

И-е сбежала в пещеру к своей орде. Если бы она по-

жила здесь дольше и освоилась, она могла бы стать посредницей между Путешественником и ордой. Но она не захотела жить среди явлений, обогнавших ее первобытный, полуживотный мир на несколько сот тысячелетий. Ей было то странно, то страшно, то смешно. Все виденное ей казалось затянувшимся сном. И она вернулась к себе в пещеру. И-е, смеющееся существо, пристрастное и своевольное. И когда И-е скрылась, Докучливый Собеседник сказал:

— Ты один. Один во всей солнечной системе. Абсолютно один, если не считать меня.

— А орда в пещерах? И-е? Ее родичи? Ты о них забыл? И тогда Собеседник ответил желчным, слегка хриплым голосом, голосом физиолога Рата:

— Пока им не нужна истина. Истина понадобится им через пятьдесят или сто тысяч лет. Они не так давно научились пользоваться огнем. Они дежурят у костра вот уже много-много поколений. Их бытие в чаду, в темноте.

— Ты не прав — истина им нужна. Я постараюсь помочь им. И если это мне не удастся, я запечатаю свои знания. Запечатаю свое время. И когда-нибудь далекие потомки этих примитивных существ найдут и распечатают его.

— Мечтатель. Мечтай. Утепай себя. Но ты забыл о надвигающемся оледенении. У сородичей И-е не будет далеких потомков.

В его недоброжелательном механическом голосе пробились злорадные интонации физиолога Рата. На какую-то часть минуты Путешественнику показалось, что это злорадствует сам Рат из своего затерянного в пространстве далека.

Нет, пусть не злорадствует Рат, Путешественник может этим людям победить надвигающуюся тысячелетнюю зиму. Ведь и на его планете в доисторические времена случилось нечто загадочное и не до конца выясненное историками и археологами. В древности существовали предания о том, что на его планете побывали высокоодаренные существа, прилетевшие из космоса и, прежде чем улететь, поделившиеся своими знаниями с жителями планеты. Может, это и легенда. Но в этой легенде скрыт глубокий смысл. Мир бесконечен, но он един. И единство связывает всех, кому природа и история дали разум.

Единство связывает их, где бы они ни были — здесь или за много парсеков отсюда, сейчас ли они живут или будут жить через миллионы лет после нас.

Тамарцев положил перо на стол. На минуту прервалось его общение с героем, которому он так и не придумал имени, назвав его просто Путешественником.

В кабинет вбежал Гоша.

— Папа,— сказал он в сильном волнении,— сейчас передавали по радио... Еще передают... Иди скорей слушать.

Голос диктора звучал обычно, но удивительны были слова, смысл которых поразил Тамарцева абсолютной неожиданностью:

— Археологом Ветровым были открыты также пролежавшие в земле со времен среднего палеолита киберпетические приборы, устройство которых удалось разгадать профессору Бородину и научному сотруднику Богатыреву. Сейчас, товарищи, с вами будет разговаривать космический путешественник, прилетевший на Землю сто тысяч лет тому назад...



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Мальчик	3
Глиняный папуас	50
Великий актер Джонс	126
Необычайная история	147
Капитан Кук	152
Ольга Нсу	159
Аппарат Аристотеля	178
Докулиный собеседник	189

ГОР ГЕННАДИЙ

Глиняный папуас

Редактор *Г. Малинина*
Художественный редактор *Т. Добровольнова*
Технический редактор *А. Ковалевская*
Корректор *А. А. Пузанова*

Оформление *С. Бычкова*

Сдано в набор 24/I-1966 г. Подписано к печати 10/VI-1966 г. Изд. № 64. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 5,38. Печ. л. 10,75. Усл. печ. л. 18,06. Уч.-изд. л. 18,73. А00695. Цена 70 коп. Тираж 1-го завода 100 000 экз.

Опубликовано тем. план 1966 г. № 7.

Издательство «Знание», Москва, Центр,
Новая пл., д. 3/4.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров
РСФСР, г. Электросталь Московской области,
Школьная, 25, Заказ № 36.



70 NOV 19